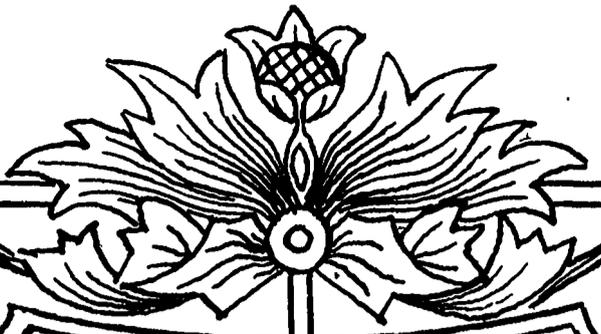




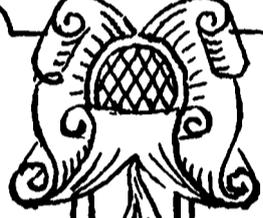
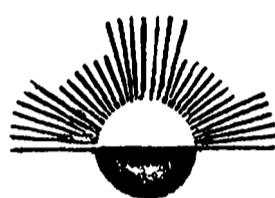
СКАЗКИ  
ДЛЯ  
ВЗРОСЛЫХ







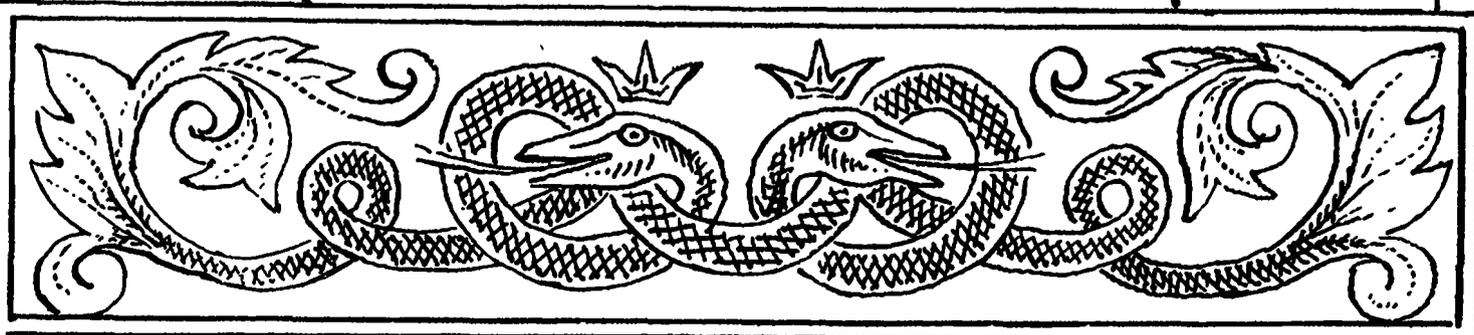
ВЕЛИКИЕ  
СКАЗОЧНИКИ МИРА



СКАЗКИ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Пермь  
1992



Многие считают сказку жанром чисто детской литературы. В том, что это далеко не так, убедится каждый, кто возьмет в руки этот двухтомник.

Афористичные, насыщенные юмором, весельем и мудростью, литературные «жемчужины» отечественных и зарубежных авторов, а также народные сказки, включенные в сборник, рассчитаны как на читателей юношеского, так и зрелого возраста.

Составитель *А. Старовойтов*

Художник *Е. Шелонников*



А. Н. АФАНАСЬЕВ

# ЗАВЕТНЫЕ СКАЗКИ





## СКАЗКА О ТОМ, КАК ПОП ТЕЛЕНКА РОДИЛ <sup>1</sup>



**В**ыл-жил поп да попадья. У них был казак, по имени Ванька; только житье у них казаку было не очень-то хорошее: больно скупа попадья была. Вот однажды поехал поп с казакон по сено, верст за десять. Приехали, наклали воза два. Вдруг пришло к сено стадо коров. Поп схватил хворостину и давай за ними бегать; прогнал коров и воротился к казаку весь в поту. Тотчас вместе докончили работу и поехали домой. Было темно. «Ванька, — сказал поп, — не лучше ли нам ночевать в деревне хоть у Гвоздя: он — мужик добрый, да у него и двор-то крытый». — «Хорошо, батюшко», — отвечал Ванька.

Приехали в деревню, выпросились ночевать у того мужика. Казак вошел в избу, помолился богу, поклонился хозяину и сказал: «Смотри, хозяин, когда станешь садиться ужинать, то скажи: садитесь, все крещеные; а если скажешь попу: садись, отец духовный, то он рассердится на тебя и не сядет ужинать; он не любит, когда его так называют». Поп выпряг лошадей и пришел в избу, тут хозяин велел жене



<sup>1</sup> Сказки из сборника «Русские заветные сказки» и рукописи «Народные русские сказки не для печати».

собрать на стол и, когда все было готово, сказал: «Садитесь, все крещеные, ужинать». Все сели, кроме попа; он сидел на лавочке да подумывал, что его хозяин особенно просить станет, а то и не сбылось. Отужинали. Хозяин и спросил попа: «Что, отец Михаил, не сядил с нами ужинать?» А поп отвечал: «Мне не хочется есть».

Стали ложиться спать. Хозяин отвел попа и его казака в скотницу, потому что в ней было теплее, чем в избе. Поп лег на печь, а казак на полати. Ванька сейчас уснул, а поп все думает, как бы найти что-нибудь поесть. А в скотной ничего не было, кроме квашни с раствором. Поп стал будить казака. «Что, батюшка, надобно?» — «Казак, мне есть хочется». — «Ну, так что не ешь? В квашне тот же хлеб, что и на столе, — сказал Ванька и сам сошел с полатей, наклонил квашню и говорит: — Будет с тебя». Поп начал лакать из квашни, а Ванька как будто невзначай толкнул ее и облил попа раствором. Поп, налакавшись досыта, лег опять и скоро заснул.

В это время отелилась на дворе корова и стала мычать. Хозяйка услышала, вышла на двор, взяла теленка, принесла в скотную и пихнула его на печь к попу; а сама ушла. Поп проснулся ночью, слышит: кто-то лижет его языком; схватил рукою теленка и стал будить казака. «Что опять понадобилось?» — сказал Ванька. А поп: «Ванька! Ведь у меня на печи-то теленок, и не знаю: откуда он явился?» — «Вот еще что выдумал, сам родил теленка, да и говорит: не знаю, откуда взялся». — «Да как же это так могло случиться?» — спрашивает поп. — «А вот как: помнишь, батюшка, как мы сено клали, мало ли ты бегал за коровами! вот теперь и родил теленка!» — «Ванька, как бы сделать, чтобы попадья не узнала?» — «Давай триста рублей, все сделаю, никто не узнает». Поп согласился. «Смотри же, — говорит казак попу, — ступай теперь тихонько домой, да надень вместо сапогов мои лаповики».

Только что ушел поп, казак к хозяину: «Ах вы, ослы! Ведь не знаете того, что теленок попа съел, оставил только одни сапоги. Ступайте посмотрите». Напуганный мужик обещал казаку триста рублей, чтоб обделать дело так, чтоб никто про это не узнал. Ванька все обещался сделать, взял деньги, сел на лошадь и поскакал за попом. Нагнал его и говорит: «Батюшка, теленка-то хозяин хочет привести к попадье, да сказать, что ты его родил». Поп еще больше испугался и набавил Ваньке сотнягу: только обделай все тихонько. «Ступай себе, все сделаю», — сказал казак и поехал опять к мужику: «Ведь попадья сойдет с ума без попа, тебе худо

будет». Этот простофиля дал казаку еще сотнягу: «Только обмани попадью, да никому не сказывай». — «Хорошо, хорошо!» — сказал казак; приехал на погост, содрал с попа денежки, отошел от него, женился и стал себе поживать да добра наживать.

## КАКОВ Я!

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик, такой плутоватый, что боже упаси! Стибрил где-то сотню рублей и убежал из своей деревни. Шел-шел и выпросился переночевать у попа. «Ступай, — говорит поп, — ты у нас места не пролежишь». Пришел мужик, разделся и лег на лавке. Вздумалось ему пересчитать деньги, вынул и давай считать. Поп увидал, что мужик считает деньги — а на это они чутки — и думает: «Ишь, ходит оборванцем; а денег какая пропасть. Дай-ко напою его пьяным да и оберу». Вот поп немного погодя подошел к мужику и говорит: «Пойдем, свет, к нам ужинать». Мужик обрадовался: «Спасибо, батюшка!» Сели ужинать; поп поставил вина и давай его наливать: так поштует — просто отдыха не дает. Мужик напился пьян и свалился на пол, поп сейчас вытащил у него из кармана деньги, припрятал к себе, а мужика уложил на лавку.

Наутро проспался мужик, глядь, а в кармане пусто; смекнул, в чем дело, да что возьмешь: коли просить на попа — так станут спрашивать: откуда деньги взял и сам откуль пришел; еще беды наживешь. Так мужик и ушел, таскался кое-где месяц, другой и третий, а там и думает себе: «Чай поп теперь меня позабыл; оденусь-ка так, чтобы не признал меня, да пойду к нему за старое отплатить». Пришел к попу в избу; а попа на ту пору дома не случилось, одна попадья сидела. «Пусти, матушка, переночевать к себе». — «Пожалуй, иди». Он вошел в избу и уселся на лавке. «Как зовут, свет? Откуда идешь?» — «Какофием, матушка, иду издалеча на богомолье».

На столе у попа лежала книга. Вот мужик взял, переворачивает листы да губами бормочет, будто читает, а потом как заплачет. Попадья и спрашивает: «О чем, свет, плачешь?» — «Как мне не плакать? В Святом-то писании писано, что кому за какие грехи будет, а мы грешные столько творим нечестивого, что не ведаю, матушка, как еще бог грехам-то терпит?» — «А ты, свет, научен грамоте?» — «Как

же, матушка, насчет этого дела я не обижен от бога». — «А петь по-дьячковски умеешь?» — «Умею, матушка, умею. С малых лет учился: весь церковный устав знаю». — «А у нас, свет, дьячка нету; уехал отца хоронить; не сможешь ли батьке завтра обедню отслужить?» — «Хорошо, матушка! Отчего не помочь?»

Приехал поп, попадья ему все рассказала. Поп тому и рад, угостил мужика как можно лучше. Наутро пришел с мужиком в церковь и начал служить обедню. Только мужик стоит на крылосе и молчит себе. Поп закричал на него: «Что же ты стоишь молча, а не поешь?» А мужик ему: «Пожалуй, я и сяду, коли стоять не велишь». И сел... Поп опять кричит: «Что же ты сидишь, а не поешь?» — «Пожалуй, я и лягу». И развалился на полу. Поп подошел и выкурил его из церкви, а сам остался обедню доканчивать. Мужик пришел к попу на двор. Попадья спрашивает: «Что, отслужили обедню?» — «Отслужили, матушка!» — «А где же батька?» — «Он в церкви остался: надо хоронить покойника. А меня послал к тебе взять новый тулуп, сукном крытый, да бобровую шапку, идти далеко, дак он хочет потеплей одеться». Попадья пошла за тулупом и шапкою. А мужик зашел в избу, снял свою шапку, ... в нее и положил на лавку, а сам взял поповский тулуп с бобровою шапкою и драла.

Поп отслужил обедню и приходит домой. Попадья увидела, что он в старом тулупе, и спрашивает: «Где ж новый тулуп-то?» — «Какой?» Ну тут рассказали друг дружке про мужика и узнали, что мужик-то их обманул. Поп сгоряча схватил шапку, надел на голову и побежал по деревне искать мужика, а из шапки так и плывет по роже: весь обгадился. Подбежал к одной избе и спрашивает хозяина: «Не видал ли Какофья?» — «Вижу, батюшка, каков ты! Хорош!» Кого ни спросит — все ему одно отвечают. «Какие дураки, — говорит поп, — им одно толкуешь, а они тебе другое!» Бегал, бегал, всю деревню обегал, а толку не добился. «Ну, думает, что с воза упало, то пропало»... Тем сказка и кончилась.

## СУД О КОРОВАХ

В одной деревне жил-был поп да мужик; у попа было семь коров, у мужика была только одна, да хорошая. Только поповы глаза завистливы; задумал поп, как бы ухитриться, да отжилить у мужика и последнюю корову: «Тогда было бы у меня восемь!» Случился как-то праздник, пришли люди к обедне, пришел и тот мужик. Поп вышел из алтаря, вынес

книгу, развернул и стал читать середь церкви: «Послушайте, миряне! А еще кто подарит своему духовному пастырю одну корову — тому бог воздаст по своей великой милости: та одна корова приведет за собой семеро!»

Мужик услышал эти слова и думает: «Что уж нам в одной корове? На всю семью и молока не хватает. Сделаю-ка я по Писанию, отведу корову к попу. Может, и впрямь бог смиляется». Как только отошла обедня, мужик пришел домой, зацепил корову за рога веревкою и повел со двора к попу. Привел к попу: «Здравствуй, батюшка!» — «Здорово, свет, что хорошего скажешь?» — «Был я сегодня в церкви, слышал, что сказано в Писании: кто отдаст своему духовному отцу одну корову, тому она приведет семеро. Вот я, батюшка, и привел к вашей милости в подарок корову». — «Это хорошо, свет, что ты помнишь слово божие! Бог тебе воздаст за то седьмерицей. Отведи-ка, свет, корову в сарай и пусти к моим коровам». Мужик свел свою корову в сарай и воротился домой. Жена ну его ругать: «Зачем, подлец, отдал попу буренку? С голоду что ли нам пропадать, как собакам?» — «Эка ты дура, — говорит мужик, — разве ты не слыхала, что поп в церкви читал? Дождемся, наша корова приведет за собой еще семь: тады похлебаем молочка досыта!»

Целую зиму прожил мужик без коровы. Дождались весны. Стали люди выгонять в поле коров, выгнал и поп своих. Вечером погнал пастух стадо в деревню; пошли все коровы по своим дворам, а корова, что мужик попу подарил, по старой памяти побежала на двор к своему прежнему хозяину; семеро поповых коров так к ней привыкли, что и они следом за буренкою очутились на мужицком дворе. Мужик увидел в свое окошко и говорит своей бабе: «Смотри-кась, ведь наша корова привела за собой целых семь. Правду читал поп: божие слово завсегда сбывается. А ты еще ругалась. Будет у нас теперича и молоко и говядинка». Тотчас побежал, загнал всех коров в хлев и накрепко запер.

Вот поп видит: уж темно стало, а коров нету, и пошел искать по деревне. Пришел к этому мужику и говорит: «Зачем ты, свет, загнал к себе чужих коров?» — «Поди ты с богом! у меня чужих нет, а есть свои, что мне бог дал: это моя коровушка привела за собой ко мне семеро, как помнишь, батюшка, сам ты читал на празднике в церкви». — «Врешь ты, сукин сын! это мои коровы». — «Нет, мои». Спорили-спорили. Поп и говорит мужику: «Ну, черт с тобой. Возьми свою корову назад; отдай хоть моих-то». — «Не хошь ли кляпа собачьего?»

Делать нечего, давай поп с мужиком судиться. Дошло дело до архиерея. Поп подарил его деньгами, а мужик холстом, архиерей и не знает, как их рассудить. «Вас, — говорит им, — так не рассудишь. А вот что я придумал: теперь ступайте домой, а завтра из вас кто придет раньше утром ко мне, тому коровы достанутся». Поп пришел домой и говорит своей матке-попадье: «Ты, смотри, пораньше меня разбуди завтра утром». А мужик не будь дурак, как-то ухитрился, домой-то не пошел, а забрался к архиерею под кровать. «Здесь, — думает себе, — пролежу целую ночь и спать не стану, а завтра рано подымусь — так попу коров-то и не видать».

Лежит мужик под кроватью и слышит: кто-то в дверь стучится. Архиерей сейчас вскочил, отпер дверь и спрашивает: «Кто такой?» — «Я, игуменья, отче!» *(Лежа под кроватью, мужик слышит разговор архиерея с игуменьей; на другой день, опасаясь разоблачений мужика, архиерей присуждает ему коров.)* Так поп и остался ни при чем, а мужик зажил себе припеваючи.

## ЖАДНЫЙ ПОП

Жил-был поп, имел большой приход, а был такой жадный, что великим постом за исповедь меньше гривенника ни с кого не брал; если кто не принесет гривенника, того и на исповедь не пустит, а зачнет страмить: «Экая ты рогатая скотина! За целый год не мог набрать гривенника, чтоб духовному отцу за исповедь дать, ведь он за вас, окаянных, богу молится».

Вот один раз пришел к этому попу на исповедь солдат и кладет ему на столик всего медный пятак. Поп просто взбесился. «Послушай, проклятый, — говорит ему, — откуда ты это выдумал принести духовному отцу медный пятак? Смеешься, что ли?» — «Помилуй, батюшка, где я больше возьму? что есть, то и даю!» — «По б.... да по кабакам носить, небось, есть деньги, а духовному отцу одни грехи тащишь! ты про этакий случай хоть украдь что да продай, а священнику принеси, что подобает; заодно уж перед ним покаешься и в том, что своровал; так он все тебе грехи отпустит». И прогнал от себя поп этого солдата без исповеди. «И не приходи ко мне без гривенника».

Солдат пошел прочь и думает: что мне с попом делать? Глядит, а около крылоса стоит поповская палка, а на палке

висит бобровая шапка. «Дай-ка, — говорит сам себе, — попробую эту шапку утащить». Унес шапку и потихоньку вышел из церкви да прямо в кабак; тут солдат продал ее за двадцать рублей, припрятал деньги в карман, а гривенник отложил для попа. Воротился в церковь и опять к попу. «Ну, что, принес гривенник?» — спросил поп. — «Принес, батюшка». — «А где взял, свет?» — «Грешен, батюшка, украл шапку да продал за гривенник». Поп взял этот гривенник и говорит: «Ну, бог тебя простит, и я тебе прощаю и разрешаю».

Солдат ушел, а поп, покончивши исповедывать своих прихожан, стал служить вечерню; отслужил и стал домой собираться. Бросился к крылосу взять свою шапку, а шапки-то нету: так простоволосый и домой пришел. Пришел и сейчас послал за солдатом. Солдат спрашивает: «Что угодно, батюшка?» — «Ну, скажи, свет, по правде, ты мою шапку украл?» — «Не знаю, батюшка, вашу ли украл я шапку, а только такие шапки одни попы носят, больше никто не носит». — «А из которого места ты ее стащил?» — «Да в вашей церкви висела она на поповской палке у самого крылоса». — «Ах ты, сукин сын, такой-сякой! Как смел ты уворовать шапку у своего духовного отца? Ведь это смертный грех!» — «Да вы, батюшка, сами меня от этого греха разрешили и простили».

## ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ

Пришел великий пост: надо мужику идтить на исповедь к попу. Завернул он в кулек березовое полено, обвязал его веревкой и пошел к попу. «Ну, говори, свет, в чем согрешил? А это у тебя что такое?» — «Это, батюшка, белая рыбица, тебе на поклон принес!» — «Ну, это дело хорошее! Чай замерзла?» — «Замерзла, все на погребке лежала». — «Ну, когда-нибудь растает!» — «Я пришел, батюшка, покаяться: раз стоял за обеднею да...» — «Что это за грех! Я и сам один раз в алтаре... Это ничего, свет! Ступай с богом».

Тут начал поп развязывать кулек, смотрит, а там березовое полено: «Ах, ты... проклятый! Где же белорыбицато?!»

## АРХИЕРЕЙ ОТЧИТЫВАЕТ

Был у барина продувной слуга Ванька. Убежал от него и принялся воровать да плутовать. Идет он по рынку, видит: мужик свинью продает. «Что, продаешь свинью?» — «Продаю». — «А сколько просишь?» — «Пять карбованцев». — «Ну, вези за мной на архиерейский двор: нам архиерей не приказывал торговаться». Приехали на архиерейский двор.

А Ванька знал, что архиерей нечистых из людей выгоняет, отчитывает. Сейчас бросился к нему: «Святой владыко! Беда случилась: в моего батюшко нечистый вселился; нельзя ли отчитать?» — «Веди его сюда». Ванька воротился к мужику. «Ступай, — говорит, — к преосвященному за деньгами, да как придешь — нагни голову пониже; он наперед молитву прочитает». Старик прошел в горницу и нагнул голову, а владыко взял книгу и давай отчитывать.

Тем временем Ванька сел на телегу и уехал подобру, поздорову, и лошадь украл, и свинью увез. Мужик стоял-стоял, согнувшись, инда тошно стало — шея заболела, а архиерей знай себе читает. Надоело старику. «Буде, владыко, пора деньги за свинью платить!» — «Ах, окаянный, и впрямь в тебе бес сидит, — говорит архиерей, — вишь, про свинью поминает». — «Что ты, владыко, али деньги зажить хочешь? Коли так, я лучше свинью назад повезу».

Бросился на двор — ни повозки, ни свиньи. Ванька уж давно все это спустил, куда надобно, и идет себе как ни в чем не бывало. Шел, шел да в лошадиное дерьмо и попал. Слегка ногою коп — выскочил поп. «Ты откуда, долгогривый, взялся? Как сюда попал?» Ванька еще покопал, на два дьякона напал; взял палочку да тычком — выскочил пономарь с дьячком.

## ПОП У БАБЫ И БАТРАК

Жил мужик (хохол) да баба; у них был работник — хитрый, молодой. И повадился к той бабе поп ходить; как только услышит, что мужа дома нет, сейчас и прибежит к ней. Работник это заметил. Вот дело было в самый сенокос — собрался мужик вечером ехать к морю за песком, запряг лошадей и выехал на улицу. «Послушай, хозяин, —

говорит работник, — не ездн нонче за песком, воротись потихоньку назад, — увидишь, как твоя жена с попом гуляет». — «Как же мне это сделать?» — «А вот как». Взял работник лошадей, поворотил назад в сарай и говорит хозяину: «Вот тебе нож и мешок; садись в мешок, я тебя завяжу, а вот как хозяйка пошлет меня за щепками — я тебя и принесу в избу. Тогда сам узнаешь, как твоя жена с попом прохлаждаются. Станут они пить, гулять и меня с собой посадят, а после заставят петь песни. Ты хорошенько слушай, что я запою — так ты и делай».

Завязал мужика в мешок и пошел в избу. «Что, проводил хозяина?» — спрашивает работника баба. — «Проводил». — «Ну, ступай скорей — позови попа». Работник сбегал за попом; сели они за стол, стали угощаться. «Ну, работник, садись с нами; ведь ты, чай, совсем управился». — «Совсем, хозяйюшка! только вот щепок надо принести — завтра печь топить поутру». — «Ну, ступай, — принеси». Работник побежал в сарай, притащил в избу мешок и положил под печку. Принялись они пить, гулять, песни затягивать. Поп порядком-таки подкутил и говорит работнику: «Спой-ка, свет, ты нам песенку». — «Нет, пускай прежде хозяйюшка споет». Хозяйка затянула: «Ой, поихав мой Григорий! Да поихав вин до моря! Ой, бог знае — ой, бог висть, чи буде вин дома!» Потом запел работник: «Да чи чуешь ты, Григорий, што твоя жена говорит? Возьми нож, мех порежь; бери швидче макогон, давай жинки перегон — жинку раз, попа два... трантата-трантата». — «Славная песня, — говорит поп, — вот тебе за нее стакан водки! Спой-ка еще разок».

Работник запел в другой раз; мужик разрезал мешок, выскочил из-под печки, ухватил макогон и давай лупить бабу — раз, попа — два. Поп насилу выбрался; в окно улизнул.

## ПОП РЖЕТ КАК ЖЕРЕБЕЦ

В некотором селе жил-был поп, великий охотник до молодых баб: как только увидит, бывало, в окне, что мимо двора его идет молодка — сейчас высунет голову и заржет по-жеребьячи. На том же селе жил один мужик, у которого жена была очень хороша собой. И ходила она каждый день за водою мимо поповского двора; а поп только усмотрит ее — сейчас высунет голову в окно и заржет. Вот баба пришла домой и спрашивает у мужика: «Муженек, скажи, пожалуй, отчего это: иду я за водой мимо попова двора, — а поп на всю улицу ржет по-жеребьячи». — «Эх, дура баба!

Это он тебя любить хочет. А ты смотри, как пойдешь за водой и станет поп ржать по-жеребьячи: иго-го! — ты ему и сама заржи тонким голосом: иги-ги! Он к тебе сейчас выскочит и попросится ночевать с тобой; ты его и замани; вот мы попа-то и обработаем: пусть не ржет по-жеребьячи».

Взяла баба ведра и пошла за водой. Поп увидел ее из окошка и заржал на всю улицу: «иго-го! иго-го!». А баба в ответ ему заржала: «иги-ги, иги-ги». Поп выскочил, надел подрясник, выбежал из избы к бабе: «Что, Марьюшка, нельзя ли того...» — «Можно, батюшка! вот муж собирается в город на ярманку; только лошадей нигде не добудет». — «Ты давно бы сказала! присылай его ко мне — я дам свою пару лошадей и с повозкой: пусть себе едет». Воротилась баба домой и говорит мужу: так и так, бери у попа лошадей.

Мужик сейчас собрался и прямо к попу, а поп давно его ждет. «Сделайте милость, батюшка, дайте пару лошадей на ярманку съездить». — «Изволь, изволь, свет!» Запряг мужик поповых лошадей в повозку, приехал домой и говорит жене: «Ну, хозяйка, я выеду за деревню, постою немножко, да и назад. Пусть поп приходит к тебе гулять, а как я ворочусь, да застучу в ворота, он испугается и станет спрашивать: где бы спрятаться? Ты и спрячь его в этот сундук, что с голанской сажеей стоит; слышишь?» — «Ладно!»

Сел мужик в повозку и поехал за деревню. Поп увидел и сейчас бросился к бабе: «Здравствуй, Марьюшка!» — «Здравствуй, батюшка, теперь нам своя воля — погуляем! Садись-ка за стол да выпей водочки». Поп выпил рюмку и не терпится ему: поскидал с себя рясу и сапоги... Вдруг как застучат у ворот. Поп испугался и спрашивает: «Кто это, Марьюшка, стучится?» — «Ах, батюшка, ведь это мой муж домой приехал, кажись, что-то позабыл». — «Куда ж мне-то, свет, спрятаться?» — «А вон порожний сундук стоит в углу, полезай туда».

Поп полез в сундук и прямо попал в сажу; улегся там, еле дышит; баба сейчас закрыла его крышкой и заперла на замок.

Вошел мужик в избу. Жена и спрашивает: «Что воротился?» — «Да позабыл захватить сундук с сажеею; авось на ярманке-то купят. Пособи-ка на повозку снести». Подняли они вдвоем сундук с попом и потащили из избы. «Отчего он такой тяжелый, — говорит хозяин, — кажись совсем порожний, а тяжел?» А сам тащит-тащит, да нарочно об стенку или об дверь стукнет. Поп катается в сундуке и думает: «Ну, попал в добрый капкан». Втащили на повозку; мужик сел на

сундук и поехал на поповых лошадях в город; выехал на дорогу, как стал кнутом помахивать да коней подстегивать, помчались они во весь дух.

Вот едет ему навстречу барин и говорит лакею: «Поди, останови этого мужика, да спроси — куда так шибко гонит?» Лакей побежал и кричит: «Эй, мужичок, постой, постой!» Мужик остановился. «Барин велел спросить, что так шибко гонишь?» — «Да чертей ловлю, оттого шибко и гоню». — «Что же, мужичок, поймал хоть одного?» — «Одного-то поймал, а за другим гнался, а вот ты помешал. Теперь за ним не угонишься». Лакей рассказал про то барину; так и так, одного черта мужик поймал. Барин сейчас к мужику: «Покажи, братец, мне черта; я сроду их не видывал». — «Дашь, барин, сто рублей — покажу». — «Хорошо», — сказал барин.

Взял мужик с барина сто рублей, открыл сундук и показывает, а в сундуке сидит поп весь избитый да вымазанный сажею, с растрепанными патлами. «Ах, какой страшный, — сказал барин, — как есть черт! Волосы длинные, рожа черная, глазища так и вылупил». Потом мужик запер своего черта и опять поскакал в город. Приехал на площадь, где была ярманка, и остановился. «Что, мужик, продаешь?» — спрашивают его. «Черта», — отвечает он. — «А что просишь?» — «Тысячу рублей». — «А меньше как?» — «Ничего меньше. Одно слово тысячу рублей». Тут собралось около мужика столько народу, что яблочку упасть негде. Пришли двое богатых купцов, протолкались кое-как к повозке. «Мужик, продай черта!» — «Купите». — «Ну что цена будет?» — «Тысяча рублей, да и то за одного черта без сундука, сундук-то мне нужен: коли еще поймаю черта, чтоб было куда посадить».

Купцы сложились и дали ему тысячу. «Извольте получить!» — говорит мужик; открыл сундук. Поп как выскочит — да бежать! Прямо в толпу бросился, а народ как шархнется от него в разные стороны... Так поп и убежал. «Экой черт! К эдакому коли попадешься, совсем пропадешь!» — говорят купцы промеж себя. А мужик воротился домой, отвел к попу лошадей. «Спасибо, — говорит, — батюшка, за повозку; славно торговал, тысячу рубликов зашиб!»

После того баба его пошла за водой мимо попова двора, увидала попа, и ну ржать: иги-иги-иги! «Ну, — сказал поп, — муж твой славно меня угигикал!» С тех пор перестал поп ржать по-жеребьячи.

## МУЖ ДА ЖЕНА

Жил мужик да баба; она была больно востра, не любила мужика, полюбила попа; сама не работала, да и мужу не давала, все больной прикидывалась, да посылала в разные места за лекарствами: хочется как-нибудь да извести мужа. Вот посылает его раз в Ревель за лекарем. Муж пошел, повстречался с мужиком. Тот спрашивает: «Куда идешь?» — «Да жена больна, иду приискать лекаря». — «Давай, я вылечу». — «Пойдем, батюшка! Помоги Христа ради, замучилась бедная».

Вот вернулись, стали подходить к избе; лекарь и говорит: «Погоди-тко на дворе, дай я наперед посмотрю, что с ней делается?» Заглянул в окно — она с попом гуляет, харчей, вина и браги — всего вдоволь. Он и просится: «Хозяюшка, пусти ночевать». Она было не хотела, да поп говорит: «Пусти, ведь он не знает: ни кто ты, ни кто я».

Пустила его в избу и накормила-напоила, мужик говорит: «Хозяюшка, мне бы соломки надобно». — «Пойди в пелевню, возьми сколько надобно». Он пошел, завернул хозяина в солому и принес в избу. После ужина баба с попом заплясала. «Мужичок, — говорит, — спой песенку». — «Прежде ты спой, а потом я спою». Она пляшет и поет: «Пошел мужик до Ревеля, пошел мужик до лекаря; ему дома не бывать, жены не видать». А мужик запел: «Слышишь ли, солома, что делается дома? Кнут висит на стене, быть ему на спине». Мужик выскочил из соломы и ну дуть попа да хозяйку. Важно отдул. Перестала хворать.

## ХИТРАЯ ЖЕНА

Жил-был бедняк чеботарь, ничего за душой не было, и пошел он на выдумки; попросил товарищей придти с утра на свой пустырь с лопатами да носилками и обещал им за то выставить на последние деньги ведро водки, и начали они на улице рвы копать. Увидал то богатый купец и стал спрашивать бедного: «Что он делает?» А парень в ответ: «Хочу дом каменный ставить, так вот рвы копаю».

Купец поверил. На другой день посватался парень за купеческую дочь. Купец обрадовался: «У него, вить, — думает, — деньги есть». И выдал за него свою Машу. А Маша была куда хитра. Видит, что у мужа нет ничего, и вздумала поправиться; оделась в цветные платья и пошла гулять по

городу; подходит к монастырю, видит — стоит у ворот монах. Она к нему под благословение. Монах благословил, да и позарился на бабу. «Зачем, — говорит, — милая, сюда зашла?» — «Да что от вас, отец святой, утаишь, а от бога-то нет; по правде сказать, погулять хочется...» — «Ну, это ничего. Хочешь ли со мной познакомиться?» — Маша ответила, что не прочь с ним знакомство свести, коли даст за то сто рублей, объявила ему свою квартиру и велела приходить вечером. Воротившись домой, рассказала про все мужу, села под окошечко и дожидается гостя.

Как только стемнело, а монах уж тут. «Ах, это вы, душенька! — встречает его Маша. — Пожалуйста сюда!» Впустила его в комнату. Монах снял свой клобук и рясу, взял Машу, посадил к себе на колени. — «Постойте, — говорит Марья Гавриловна, — отдайте наперед, ваше преподобие, рядные деньги». Монах вынул деньги и отдал сто рублей. Хозяйка взяла, а муж подошел тут к двери и давай кричать сердито: «Эй, шкура! Отпирай двери!» Монах испугался: «Что такое?» — «Ах, милушка, ведь это мой хозяин пришел, да никак еще пьяный». — «Ох, куда ж я-то деваюсь?» — А у чеботаря стояла большая кадка, в которой мочил он кожи. Марья Гавриловна посадила туда монаха и закрыла крышкую; потом отперла дверь ипустила мужа. Он вошел и закричал: «Что, курва, намочила ль кожи?» — «Намочила, голубчик!» — «Врешь». — «Да хоть сам посмотри». Он поднял крышку, заглянул в кадку и заревел. «Это что за черт сидит?» — Ухватил монаха за волосы, вытащил из кадки и ударил об пол, да таково крепко, что из него и дух вон. Что тут делать? Взял мертвое тело и положил пока в подполье.

На другой день Маша нарядилась и пошла опять прогуляться, дошла до монастыря, встретила иного монаха и того к себе на ночь подговорила. Пришел святой отец в гости и только было хотел разговеться, как муж в дверь застучал. Монах с испугу под печь схоронился, где лежали старые колодки. Вошел муж в избу: «Ну, что, шкура, нашла мои колодки?» — «А я тебе что за слуга! Ищи сам, коли надо». Он взял свечку, заглянул под печку, увидел монашьи ноги: «Это что за ноги?» Ухватил монаха, вытащил, ударил об пол и убил до смерти, а убивши, спрятал в подполье. На те деньги, что жена взяла с гостя, купили они вина и закусок и пировали себе, как ни в чем не бывало.

На третий день Марья Гавриловна подговорила третьего монаха, взяла с него сто рублей и запрятала в печь. Муж вошел в избу и просит у жены поесть. А она говорит: «Что

есть в печи, то и на стол мечи!» Чеботарь открыл заслонку и закричал: «Это что за гусь в печи?» Вытянул монаха за длинные космы, ударил об пол, убил до смерти и бросил в подполье. После того думает он себе: «Куда ж я их деваю?» Взял три рубля денег и пошел в кабаk, а там на ту пору пьяница Тимошка Кавардак. Стали они вместе пить да гулять; выпили целый штоф. Тимошка просит приятеля: «Возьми еще полштофа». — «Как же? За что тебя поить-то?» — «Всем заслужу! Только прикажи». Чеботарь купил ему полштофа, вывел его в сени и говорит: «Надо-де снести мертвого монаха; залез ко мне в голбец, да там и окочурился». — «Ишь его леший занес куда! Да ладно, — говорит, — все сделаю».

Пошли они домой; ночью взвалил Тима монаха на плечи и понес в воду; прилучилось ему идти мимо монастыря; около ворот стоит придверник и окликает: «Кто идет?» — «Черт», — отвечает Тима. «Кого несет?» — «Монаха!» — «Ахти, какая беда! Да куда ж он несет?» — «В воду». Придверник побежал к настоятелю с докладом: «Ваше преподобие, черт-де монаха унес!» Настоятель оградил себя крестным знаменем: «Что ты, дурак, бредишь!» — и прогнал его вон. Тима успел уже бросить одного мертвеца в воду и воротился к чеботарю. «Ну, — говорит, — обработал дело, снес монаха». — «А это что?» — отвечает ему чеботарь и показывает на другого монаха; он вытащил его из подполья. Тима давай пихать мертвеца ногами: «Ах ты, дьявол длинногривый, прежде меня успел назад прибежать!»

Схватил его за плечи и потащил опять тою же дорогою. Монастырский привратник опять спросил Тимошку, получил прежние ответы и побежал снова с докладом к его преподобию. Настоятель диву давался и велел пересчитать монахов. Пересчитали — трех как есть недостает. Настоятель крепко смутился, взял крест в руки, велел монахам поднять иконы и обходить монастырь крестным ходом. Надо же отстаивать себя от нечистой силы. Пока все это готовилось, Тиме пришлось стащить в воду третьего мертвеца: «Ишь, — говорит Тима, — ты все из воды бегаешь? Так я же ухитрюсь, свяжу тебя веревкою по рукам и по ногам, авось в омуте останешься».

Спутал мертвецу руки и ноги, стянул крепко-накрепко, выпил стакан-другой вина и понес к реке. Идет мимо монастыря, а навстречу ему сам настоятель и иноки, с крестами, образами и хоругвиями, тянутся вереницею и поют псалмы. «Кто идет?» — спрашивает опять привратник. —

«Черт!» — «Что несет?» — «Монаха!» — «Куда?» — «В омут!» Монахи испугались, побросали кресты и образа и пустились — кто куда попало. А Тима им вдогонку: «Вот я до вас доберусь! Лови их! Держи их!» Тем дело и кончилось.

## НИКОЛА ДУПЛЯНСКИЙ

Жил-был старик, у него была жена молодая. Повадился к ней в гости ходить парень, Тереха Гладкий. Оpoznал про то старик и говорит жене: «Хозяйка, я был в лесу, Миколу Дуплянского нашел: о чем его ни попросишь — то и дает тебе». А сам наутро побежал в лес, нашел старую сосну и залез к ней в дупло.

Вот баба его напекла пирогов, колобов да масляных блинков и пошла в лес молиться Миколу Дуплянскому. Пришла к сосне, увидела старика и думает: «Вот он, батюшка, Микола Дуплянский-то!» Давай ему молиться: «Ослепи, батюшка Микола, моего старика». А старик отвечает: «Ступай, женка, домой, и будет твой старик слеп; а зобенку с пирогами оставь здесь». Баба оставила зобенку с пирогами у сосны и воротилась домой.

Старик сейчас вылез из дупла, наелся пирогов, колобов и блинков, высек себе дубинку и пошел домой. Идет ощупью, будто слепой. «Что ты, старичок, — спрашивает его жена, — так тихо ползешь? Разве не видишь?» — «Ох, женушка, беда моя пришла, ничего-таки не вижу». Жена подхватила его под руки, привела в избу и уложила на печку. В вечеру того ж дня пришел к ней дружок, Тереха Гладкий. «Ты теперича ничего не бойся, — говорит ему баба, — ходи ко мне в гости, когда хочешь. Я нынче ходила в лес, молилась Миколу Дуплянскому, чтобы мой старик ослеп; вот он воротился намедни домой и уж ничего не видит».

Напекла баба блинов, поставила на стол, а Тереха принялся их уписывать за обе щеки. «Смотри, Тереха, — говорит хозяйка, не подавись блинами, я схожу, масла принесу». Только вышла она из избы по масло, старик взял самострел, зарядил и выстрелил в Тереху Гладкого; так и убил его на смерть. Тут соскочил старик с печки, свернул блин комом,

будто он сам подавился; сделал так и влез на печь. Пришла жена с маслом, смотрит: сидит Тереха мертвый. «Говорила тебе, не ешь без масла, а то подавишься, так не послушал: вот теперь и помер».

Взяла его, сволокла под мост и легла одна спать.

Не спится ей одной-то, и ну звать к себе старика; а старик говорит: «Мне и здесь хорошо». Полежал-полежал старик и закричал ровно во сне: «Жена, вставай! У нас под мостом Тереха лежит мертвый» — «Что ты, старик? Тебе во сне привиделось». Старик слез с печки, вытащил Тереху Гладкого и поволок к богатому мужику, увидал у него бадью с медом, поставил около бадьи Тереху и дал ему в руки лопаточку, будто мед колукает. Смотрит мужик, кто-то мед ворует, подбежал, да как ударит Тереху по голове, тот на землю и повалился, аки мертв. А старик выскочил из-за угла, схватил мужика за ворот: «За что ты парня убил?» — «Возьми сто рублей, только никому не сказывай», — говорит мужик. — «Давай пятьсот, а то в суд поволоку». Дал мужик пятьсот рублей. Старик подхватил мертвеца и поволок на погост; вывел из поповой конюшни жеребца, посадил на него Тереху, привязал вожжи к рукам и пустил по погосту. Поп выбежал, ругает Тереху и хочет его изловить; жеребец от попа да прямо в конюшню, да как ударит Тереху Гладкого об перекладину, он упал и покатился наземь. А старик выскочил из-за угла и ухватил попа за бороду: «За что убил парня? Пойдем-ка в суд». Делать нечего, дал ему поп триста рублей, только отпусти да никому не сказывай, а Тереху похоронил.

## МОНАХ И ИГУМЕНЬЯ

В одном городе было два монастыря, вот хоть бы так, как у нас в Питере: Невский да Смольный. В одном монахи, в другом монашенки. Вот хорошо. Повадился один молодой монах ходить к монашенке, а чтоб не узнали, всегда наряжался в женское платье. Бороды у него еще не было, а волосы у попов да у монахов все такие ж по-бабьему положению. Видят все, что к монашенке часто гостья жалует, ну да что за беда! А она уж брюхата стала. Дали знать про то игуменье. Игуменья дает приказ: «Коли кто придет к той монашенке, тотчас доложить».

Вот на другой день приходит монах к своей любовнице. Увидели его келейницы и побежали к матушке-игуменье.

«Пришла-де какая-то женщина в гости». Игуменья приказала вытопить баню и всем, кто только есть в монастыре, идтить париться. Нечего делать, собрались все монашенки. Повели и гостью с собой. Пришли в баню и стали раздеваться. Монах разделся и поскорее на полок, забился в уголке и не знает, как ему быть? У него на шее висел крест на тесемке. Отвязал... (крестом, который ниже пояса повесил, «стыд» прикрыл). Вот игуменья надела очки, взяла в руки свечку и стала обходить всех монашек да осматривать, нет ли кого между ними... Стала игуменья к монаху приглядываться, подошла поближе, нагнулась... (тут тесемка и оборвалась, крест нательный отлетел в сторону да прямо игуменье в левый глаз попал). — «Ай господи! С нами пресвятая богородица!» — закричала игуменья и схватилась за левый глаз. А глаза как не бывало — совсем-таки вышиб! Пока что — монах уже выскочил из бани и убежал голый. Игуменья осталась кривою.

Прошло время — монашенка родила. Я и на крестинах был, только не разобрал: кого бог дал — мальчика или девочку?

## СОЛДАТ-СКРИПАЧ И ЧЕРТ

Солдат идет в отпуск, садится около ручья на отдых и играет на скрипке. Приходит черт, зовет его к себе в гости. Солдат проводит три года, как три дня, и боится вернуться в полк. Черт делает его попом. Поп служит в праздник обедню. Черт приходит и заставляет его играть на скрипке. Поп играет. Его берут и сажают в острог. Черт его освобождает из темницы. «Что ты обробел, — говорит нечистый, — я тебя теперь архиереем сделаю».

Приводит солдата в иное государство и выдает его за архиерея. Король взял его к себе и дал место в своем столичном городе. А у этого короля были три прекрасные дочери. Настал великий пост, и вздумали они говеть. Пришло время — надо исповедоваться. Вот пошла старшая королевна к архиерею на исповедь, покаялась в своих грехах. И дает ей архиерей крест целовать. Вдруг является к нему нечистый и на ухо шепчет: «Что, она совсем исповедалась?» — «Совсем!» — «Ну, теперь возьми ее, поцелуй». — «Как можно, — я за это могу пострадать!» — «Ничего не бойся, — целуй смело». Архиерей взял да и поцеловал ее. Она по-

шла от него и думает: «Видно так по закону следует».

Приходит на исповедь середняя королева. Покаялась. Дает ей архиерей крест целовать. В ту же минуту опять шепчет ему на ухо нечистый: «Совсем ли исповедовалась?» — «Совсем!» — «Ну, возьми ее... за груди». — «Ах, что ты! Король меня за это смерти предаст». — «Ничего, хватай смело за груди». Он взял... потрогал и отпустил от себя. Королева пошла, думает, что так по закону и следует.

Наконец приходит меньшая королевская дочь. Отисповедовал ее архиерей и дает крест целовать. Вдруг является нечистый и опять шепчет: — «Что, кончил исповедь?» — «Кончил!» — «Ну теперь сотвори с ней грех». — «Нет, ни за что не сделаю. Король меня непременно на казнь отдаст». — «Делай, что говорю, — все равно тебе пропадать. Если не сотворишь с нею греха, я всем объявлю, что ты беглый солдат, а не архиерей». Архиерей — делать нечего, ... (послушался нечистого). И эта королева пошла и думает: «Видно так по закону велено!» С того самого часу младшая королева забрюхатела.

Прошло несколько месяцев. Отец заметил... и стал ее спрашивать: «Что это с тобой? Отчего?..» — «Оттого, батюшка, что как ходила я к архиерею на исповедь...» Король приказал архиерея посадить в крепость и нарядил над ним суд. На том суду приговорили его повесить.

Сидит архиерей один с кручиною в темнице и смотрит в окно. А перед окном уже релю ставят. «Что вы строите?» — спрашивает он у рабочих. «Что, ан, не знаешь? Ни для кого другого — для тебя трудимся. Это, брат, виселица!» Еще больше задумался бедный солдат: «Связался я на свою беду с чертом!» В ту же минуту явился к нему нечистый. — «Не кручинься, — говорит, — я тебя выручу...»

Вот повели архиерея на виселицу. Народу собралось великое множество. Надели на него петлю... Подняли его на виселицу, а черт невидимо подбросил ему под ноги свою голову. Все думают, что он мертвый, а он как ни в чем — живехонек! Народ разошелся и разъехался в разные стороны, а дьявол оборвал веревку, освободил солдата от смерти и пошел с ним в другой город. — «Что, хочешь быть опять архиереем?» — спрашивает нечистый. — «Нет, спасибо, и так страху набрался».

Черт делает солдата купцом, а сам уходит в тридесятое царство — мучить царевну. Солдат пробирается туда же, выдает себя за лекаря. Заказывает кривые клещи и садится во дворце перед царевниной спальней. Приходит дьявол, поздоровался с ним, спрашивает: «Что это за штука?» —

«Это клещи, кривые пальцы выпрямлять, чтобы лучше на скрипке играть». — «Выправь мне». Солдат сжимает его руки в тиски, бьет, освобождает царевну и делает затем уговор с чертом, чтоб ему не подходить к царевнинному дворцу за сто верст, а солдату не выходить из дворца дальше тридцати верст. Если выйдет дальше, да попадется нечистому — тот его задушит!

Женился солдат на царевне, сделался сам царем, позабыл уговор и поехал в загородный сад. Тут попался он черту. Черт позволил ему напоследок только с женой проститься. «Ну жена! — говорит царь. — Принимай стыд ради меня... Разденься и ложись на траву». А нечистый подошел... увидел... Вдруг как закричит: «Ах ты проклятый! Опять клещи привез!» — и бросился от него бежать сколько сил было.

Так беглый солдат избавился от черта и остался царствовать в своем государстве.

## СОЛДАТ-СКРИПАЧ И НЕЧИСТЫЙ

В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, где мы живем, жил-был царь. У того царя поселился во дворцовой палате черт — не дает никому отдыху! Вот царь и пообещал отдать свою дочь за того замуж, кто переночует ночь в этой палате и жив останется. Много находилось охотников, только все наутро помирали — поминай, как звали! Уж и охотников больше не стало. Тут приходит к царю отставной солдат. «Здравствуй, служба! Что скажешь?» — «Хочу, ваше величество, с чертом померяться». — «Ну что ж, ночуй себе во дворце — мне все едино за кого ни выдать дочь — только б молодец был».

Вот солдат взял скрипку, два штофа водки, топор, бритву да железную палицу и пошел в палату, где черт поселился. Сел за стол и попивает себе водочку да орехами закусывает. Вдруг выскочил нечистый. «Что ты, русский солдат, здесь делаешь?» — «Водку пью». — «Дай и мне!» — «Изволь».

Нечистый взял штоф, да весь сполна и осушил. И порядком его поразобрало. Подгулял дьявол, хоть и плясать — так готов! А солдат тотчас за скрипочку и давай комаринскую отжаривать. Нечистый плясал, плясал, уморился и говорит: «Важно, русский солдат, ты играешь! Поучи-ка меня». — «Хорошо, кому ж и играть, коли не тебе, добру молодцу».

Взял топор, расколол одну перекладину и забил в нее здоровенный клин. «Ну, — говорит нечистому, — лезь на стул да клади в щель лапы». — «А зачем?» — «Затем, что такова наука».

Нечистый просунул в щель свои лапы, взял скрипку и смычок, а солдат в ту же минуту и клин вытащил, и стул принял — так и приплюснуло дьявольские лапы, и сам-то черт так и повис на перекладине! Солдат тотчас за бритву, поднял нечистому хвост, обрил ему... Потом ухватил железную палицу и давай угощать по голой... Бьет да все приговаривает: «Живей смычком води! Чаше пальцами перебирай!» — «Отпусти, русский солдат, — кричит нечистый. — Не хочу на скрипке учиться!» — «Нет, брат, врешь. Кому и музыканту быть, коли не тебе, добру молодцу». А сам знай лупит по бритой... Только к утру его отпустил. Черт вырвался да бежать.

Видит царь, что солдат справил свое дело, и выдал за него дочь свою, царевну. Женился солдат, взял свою молодую жену и поехал домой. А черт давно его стережет. «Отплачу, — думает, — за обиду — задушу русского солдата». Как только поехал солдат с женою в путь-дорогу, он и пустился догонять его. Видит солдат: дело нехорошее! Снял царевну с повозки... и давай ее тело брить. Черт как увидел это, сейчас назад. Прибежал в пекло, словно в лихорадке трясется. «Что ж ты, задавил русского солдата?» — «Да по-ди-ка, задави его! Он царевну учит на скрипочке играть, уж... бреет».

## СОЛДАТ И ЧАСЫ

Был на свете царь, у него была любимая дочь Анна-царевна, на возрасте, красоты неописанной, и сидела она в белокаменных палатах, в высоких теремах за двенадцатью дверями; и у каждой дверей стояла на карауле стража великая, никого кроме царя да придворных нянюшек-матушек к ней не пускала. Не токмо человек, муха туды не пролетит.

Случилось в некое время стоять во дворце на часах одному бравому солдату, стоит он и вслух сам с собой разговаривает: «Если б у меня было столько денег, сколько у нашего царя, я бы и сам не глупей его был». Услыхал эти речи царь, осерчал и говорит: «Слушай ты, умная голова, коли ты не хвастаешь, то вот тебе сроку три месяца, бери себе денег сколько надобно, гуляй сколько хочешь, только

ухитрись — сотвори грех с моей дочерью. Если это не сделаешь, велю тебя за твою похвальбу словно пса повесить!»

Вот солдат месяц гуляет, и другой гуляет: а как сотворить грех с царевною — не ведает, даже к теремам ее подойти боится. Уж и третий месяц на исходе, пошел он в кабак, спросил штоф водки, пьет, а сам слезно плачет: «Пропадай, — говорит, — моя жизнь молодецкая!» Подошел к нему горький пьяница, ярыга кабацкая: «О чем, брат, плачешь?» — «Эх, лучше не спрашивай. Пропадаю за свою похвальбу!» — «Поднеси мне стакан, я твое горе рассужу». Солдат поднес ему стакан водки и рассказал, как было дело. «Это еще не беда, — говорит горький пьяница, — есть у тебя деньги?» — «Еще бы не быть: мне царская казна не заказана, сколько хошь — бери». — «Ну, пойдём на взморье; там приехали чужестранные купцы, привезли с собой штуки разные, затейливые».

Побежали на взморье; зашли на купеческий корабль. Стали разные товары высматривать и выбрали славные стенные часы, в большой футляр вделаны; с музыкой, с барабанами и всякими немецкими хитростями. Тотчас солдат сторговался, заплатил за те часы чистым золотом; сам в футляр залез и приказывает: «Ну, купцы-торговцы, отнесите часы во дворец да бейте царю челом, чтоб на двор принял». Купцы принесли часы во дворец и били челом государю; царь принял подарок, как увидел он, что часы-то с музыкой и с барабанами, тотчас велел иноземным гостям торговать безданно-беспошлинно, а часы поставить в спальню к царевне, пускай-де тешится.

Ну, солдату того и надобно. Царевна сильно возрадовалась, заставила часы играть, а сама в танцы пустилась; весь день проплясала. Приходит ночь. Легла она усталая и крепко-крепко уснула. *(Солдат приходит ночью к царевне, называет себя ангелом с небес и получает от нее перстень.)* Солдат взял перстень, спрятался опять в футляр и нарочно испортил музыку. Наутро стала царевна заводить часы — нет, не играют, испорчены. Как тут быть? Сейчас послала за иноземными купцами, приказали взять часы и исправить музыку. Купцы увезли часы в починку, отворили футляр и выпустили солдата. А уж срок совсем вышел; царские слуги бегают да ищут того солдата, увидели и повели: «Пойдем, — говорят, — Варвара, на расправу!» Вот привели его к царю. «Здравия желаю, ваше величество». — «Здорово, умная голова! Ну, что, сделал свое дело?» — «Сделал, ваше величество!» — «Врешь ты, каналья?» — «Извольте сами спросить у царевны: прилетал ли к ней

ангел и что она пожаловала ему на память?» — «Позвать царевну!» — закричал царь.

Позвали. «Говори, дочка, кто у тебя был сегодняшнюю ночь?» (*Царевна говорит, что прилетел ангел с небес, и она ему именной перстень пожаловала.*) Солдат вынул царевнин перстень и подал государю. «Ну, хитер же ты, служивый, — сказал царь, — ступай домой с богом, денег сколько знаешь возьми, только помни, никому не хвались, что с моей дочерью сделал, не то прикажу казнить». С той поры стал солдат при деньгах. Живет себе да служит, ни о чем не тужит.

## БЕГЛЫЙ СОЛДАТ

Беглый солдат залез ночью к одному мужику в ригу и залег на сене спать. Только стал засыпать, слышит — кто-то идет. Солдат испугался и залез под самую крышу. Вот пришла туда девка, а за нею парень, принесли с собой вина, разных закусок, поставили в угол, разделись... и давай целоваться да любоваться... Девка говорит: «Ах, милый друг, коли бог даст, да рожу я ребенка — кто за ним присмотрит, кто его выходит?» А парень отвечает: «Тот, кто над нами!»

Как услышал эти речи солдат, не вытерпел и закричал: «Ах вы, подлые!.. Я за вас отвечать буду?!» Парень тотчас вскочил да бежать. Девка тоже — давай бог ноги! А солдат слез наземь, забрал их одежду, вино и закуски и пошел своей дорогой.

## СОЛДАТ, МУЖИК И БАБА

Стояли в деревне солдаты, и бабы были к ним очень привычны. Дело-то, знаешь, было не без греха: хозяин на заработку, а хозяйка... с солдатом! Вот у одного мужика была жена больно гульливая: много раз заставлял он ее и с мужиками-то, и с солдатами, а все она права оставалась. В одно время застал ее мужик с парнем в сарае: «Ну, ... что теперь станешь говорить?» А она... как встала да прибежала в избу — сейчас бросилась к свекрови и давай плакать. Пришел муж и говорит: «Ну, матушка! Я людям не верил, а теперь сам застал жену с парнем в сарае». А баба со

слезами: «Видишь, матушка, какую терплю я напраслину!» — «Ах ты.., проклятая! Вить я сейчас поднял тебя!..» — «Врешь, подлец! Ну-ка скажи, куда я головой лежала?» Мужик задумался и сказал: «А черт тебя знает, куда ты головой лежала!» — «Вот вишь, матушка, как он врет-то на меня!» Мать накинулась на сына и давай его ругать. «Хорошо, — говорит мужик, — я тебя, голубушку, опять скоро поймаю!»

Прошло несколько времени, связалась та баба с солдатом, и пошли они вместе в сарай... Хозяин-то и подметь, пришел в сарай и захватил солдата... «Их, брат служивый! Это нехорошо». — «Черт вас разберет! — отвечает солдат. — Она говорит — хорошо, а ты нехорошо. На вас не угодишь!» — «Я, брат служивый, пойду на тебя просить!» — «Ну, ты ступай, еще проси, а я уж выпросил».

## В О Р

Живал-бывал Микулка вор. Услыхал про него барин, что Микулка хоть что — так украдет; призывает его и говорит: «Укради из-под меня с барыней пуховик; кдди украдешь — сто рублей, не украдешь — сто плетей». — «Идет!» — отвечает Микулка. — «Когда ж воровать придешь?» — «Нынче ночью». — «Ладно!»

Барин лег спать с барыней, а Микулка еще спозаранок забрался к нему под кровать, выждал, когда все уснули, да и напакостил промеж барина с барыней. Барин с барыней проснулись, стали друг на друга сваливать, подняли шум, никто не переспорит. Встали оба, ухватились за перину, да никак не стащут; принялись звать человека.

Тут откуда ни взялся Микулка и потащил перину на двор. Барин думает, что это ихний слуга. «Смотри же, — приказывает, — хорошенько вытряси, чтоб чисто было». Микулка унес перину к себе. А барин с барыней ждали — так и не дождались; кого ни спрашивали, никто ничего не знает. Утром приехал Микулка на барский двор и перину привез: «Принимай, барин, да плати сто рублей!» — «Возьми хоть двести, только никому не сказывай, что мы с барыней опакотились».

Через неделю зовет барин Микулку: «Украдь, — говорит, — у меня жену; украдешь — сто рублей, не украдешь — сто плетей». — «Изволь, барин!» Воротился Микулка домой и велел купить водки и закусок разных, а сам пошел попа в

гости звать. Поп тому и рад. Известное дело, у попа глаза завистные, рад на чужой счет нажраться, напиться. До тех пор поп тянул водку, пока с ног свалился.

Микулка раздел его чуть не до грешного тела, нарядился в поповскую рясу и пошел на барский двор; смотрит: кругом стоят сторожа с дубинами, все барыню берегут. Вошел Микулка в хоромы: «Здравствуйте, батюшка!» — говорит барин. «А я мимо вашего двора шел, — сказывает облыжный поп, — смотрю — стоят везде сторожа с дубиною; дай, думаю себе, зайду да разузнаю, что такое?» — «Знаете ли вы, батюшка, Микулку вора?» — «Как не знать? Такой плут, каких еще не бывало, давно бы повесить пора». — «Вот он самый и похвалялся украсть нынешнею ночью мою барыню». — «Не ладно дело. От него, хоть втрое больше поставь сторожей, все не убережешься». — «Да что же мне делать-то?» — «А вот что: отошлите-ка свою барыню (да потихоньку, чтоб никто не знал) к моей попадье, пусть вместе ночь проведут. Хоть Микулка и придет воровать, так барыни не найдет». — «И то правда. Спасибо вам, батюшка, что надоумили». — «Я, пожалуй, сам и провожу барыню».

Повел Микулка барыню, только не к попу на двор, а прямо к себе. Наутро посылает барин к нему (попу) за женой, а тот еще спит с похмелья. Попадья и говорит: «Никакой барыни у нас не было, да и муж с самого вечера, как притащили пьяного от Микулки, никуда не выходил из дому, лежит словно убитый — и не ворохнется». Нечего делать, пришлось барину выручать свою жену от Микулки. Заплатил ему сто рублей, взял барыню и пошел домой, только в затылке почесывается.

Случилось попу быть у барина в гостях; зашла речь про Микулку, что вор-де вор — такой хитрый: с живого штаны сымет. А поп говорит: «Кому как, а мне Микулка не страшен: я и сам хитер». — «Ну, батька, не хвались, прежде богу помолись». И приказывает барин своим холопьям позвать Микулку: «Поп-де не верит твоей удали, так покажи ему». — «Отчего не показать? Рад стараться». «А ну, — говорит поп, — украдь у меня сто рублей!» — «Украду». — «Да как же ты украдешь, когда я их повешу на шею себе?» — «Про то мне знать».

Поп как приехал домой от барина, сейчас вынул из сундука сто рублей, завернул в лоскутье и повесил на шею. Уж на дворе давно темно. Поп все не спит, боится, как бы вор не явился да не отобрал денежек. Микулка подвязал себе крылья, взял большой кошель, собрался и полез к попу в окно. Поп видит, крылатый человек у окна, и принялся

читать заклятие: «Сгинь, пропади, дьявольское наваждение». — «Я не бес, — говорит Микулка, — я — ангел с небес». — «Почто ты ко мне прилетел?» — «Господь велел взять тебя на небо, садись в кошель».

Поп сел в кошель. Микулка поднял его и понес на колокольню; начал было подниматься по лестнице, остановился и говорит: «Отче, или согрешил или при тебе есть что мирское, больно тяжело тебя нести. Покайся наперед в грехе и сбрось с себя все мирское». Поп вспомнил, что у него на шее сто рублей привешено, снял их и отдал вору. Микулка втащил его на самый верх, привязал к перекладине и давай отзванивать во все колокола. Стал народ просыпаться, что за звон такой? Побежали все на колокольню — нет никого (Микулка уж успел улизнуть с поповскими деньгами), только мешок на перекладине болтается. Сняли мешок, распутали, а в нем поп сидит.

## ЧУДЕСНАЯ ДУДКА

В некотором царстве, в некотором государстве жил барин, да еще был мужик, такой бедный, что и сказать нельзя! Призвал его барин и говорит: «Послушай, мужичок! Долгу своего ты не платишь и взять с тебя нечего. Ступай ко мне и живи за долг три года».

Прожил у него мужик год и другой и третий. Барин видит, что мужику скоро срок отходит, и думает: какую бы сыскать вину, чтоб еще оставить мужика при себе на три года. Позвал его барин и стал говорить: «Послушай, мужичок! Вот тебе десять зайцев, гони их пастись в поле, да смотри, чтобы все были целы! А то опять оставлю при себе на три года». Только погнал мужик зайцев в поле — они все у него разбежались в разные стороны. — «Что делать, — думает он, — теперь пропал я!» Сел и плачет. Откудова ни возьмись — явился старик и спрашивает: «О чем, мужичок, плачешь?» — «Как мне, старик, не плакать! Дал мне барин пасти зайцев, они все и разбежались. Теперь беда мне неминуемая!» Старик дал ему дудочку и говорит: «На тебе дудочку. Когда заиграешь в нее, они все к тебе прибегут».

Мужик сказал спасибо, взял дудочку и только заиграл в нее — как тотчас все зайцы к нему прибежали. Он погнал их домой. Барин пересчитал зайцев и говорит: «Все целы!» — «Ну что нам делать? — сказал барин своей барыне. — Какую вину на мужике сыскать?» — «А вот что, душенька:

когда он завтра погонит зайцев, я переоденусь в другое платье, пойду к нему и куплю одного зайца». — «Ну, хорошо!»

Наутро погнал мужик зайцев в поле и только подошел к лесу — они тотчас все разбежались в разные стороны. А мужик сел на траву и начал плести лапти. Вдруг едет барыня. Остановилась — подошла к нему и спрашивает: «Что, мужичок, здесь делаешь?» — «Скотину пасу». — «Какую скотину?» Мужик взял дудочку и заиграл — все зайцы сбежались к нему. «А, мужичок! — сказала барыня, — продай мне одного зайчика». — «Никак нельзя, ведь это господские зайцы, а барин у меня очень строг. Он, пожалуй, меня совсем заест!» Барыня стала к нему приставать: «Пожалуйста, продай!» Мужик видит, что ей очень хочется зайчика, и говорит: «У меня, барыня, завет положен». — «Какой завет?» — «Кто даст... что потребую, тому и зайца уступлю». — «Возьми лучше деньгами, мужичок!» — «Нет, мне больше ничего не надо!» Барыня — делать нечего — согласилась... Подал ей зайца: «Только, барыня, держи его потихоньку, а то раздавишь».

Она взяла зайца, села в коляску и поехала. А мужик как заиграл в свою дудочку — этот заяц услышал, выпрыгнул из рук барыни и ушел назад к мужику. Приехала барыня домой. «Ну что, купила зайца?» — «Купила-то купила, только как мужик заиграл в свою дудочку, заяц выпрыгнул от меня и ушел».

На другой день опять поехала барыня к мужику. Подходит к нему и спрашивает: «Что делаешь, мужичок?» — «Лапти плету да господскую скотину пасу». — «Где ж твоя скотина?» Мужик заиграл в дудочку, и сейчас сбежались к нему все зайцы. Барыня стала торговать зайца. «У меня положен завет». — «Какой?» — «Дай...» Барыня опять согласилась... и получила за то зайца. А как мужик заиграл — заяц выскочил и ушел от нее.

На третий день переоделся и поехал сам барин. «Что, мужичок, делаешь?» — «Скотину пасу». — «Да где ж твоя скотина?» Заиграл мужик в дудочку — сбежались к нему зайцы. «Продай мне одного!» — «За деньги не продам. У меня положен завет». — «Какой завет?» — «Кто захочет на кобылу влезть... тому и зайца отдам». Барин влез на кобылу... Мужик подал ему зайца и говорит: «Держи его, барин, потихоньку, а то задавишь». Барин взял зайца и поехал домой, а мужик заиграл в дудочку — заяц услышал и ушел от него к мужику. Видит барин, что ничего не возьмешь, и отпустил мужика жить на волю.

## ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ЖЕНА И КУПЕЧЕСКИЙ СЫН

Жил-был богатый купец, у него был молодой приказчик. Купец нагрузил корабль дорогими товарами, дал приказчику много золота и серебра и отправил торговать в иные города. Вот приказчик приплыл в чужестранное государство, в столичный город. Зашел в трактир пообедать и услышал, что в этом городе была у генерала жена такая красавица, каких во всем свете мало рождается, и задумал, как бы ее увидеть. Только генерал держал свою жену взаперти, никуда не выпускал и к себе никого не принимал: на такую красавицу кто не позарится.

Приказчик насыпал блюдо серебра и золота и пошел к генералу в дом. «Что тебе надобно?» — спрашивает слуга. «Хочу генералу поклониться». Слуга доложил генералу, а он был куда на деньги падок. «Коли с деньгами пришел, так пусти его». Приказчик вошел в комнату, блюдо с серебром и золотом на стол поставил. Спрашивает генерал: «Какая у тебя нужда?» — «Ах, ваше превосходительство! Во всех городах только и молвы, что про красоту вашей жены. Нельзя ли посмотреть ее?» Генерал подумал и согласился. Тотчас подошел к дверям и крикнул: «Эй, жена, подай нам водки!» Генеральша вынесла на подносе графин с водкою и две рюмки, поставила перед мужем и ушла в свою комнату.

Приказчик как увидел такую красавицу, тотчас и влюбился в нее; чуть ли с ума не сходит. На другой день насыпал он другое блюдо серебра и золота и опять понес к генералу; поклонился ему, поставил блюдо на стол и говорит: «Позвольте, ваше превосходительство, еще разок взглянуть на вашу супругу!» — «Эй, жена, подай нам водки!» — закричал генерал. Приказчик увидал ее в другой раз и еще больше прельстился. С того времени почал каждый день ходить к генералу, все деньги, товары и самый корабль, все спустил, и сделался чист молодец. Сидит в трактире и не знает, что ему делать.

В это время прибыл в тот город какой-то купеческий сын с тремя кораблями, зашел в трактир и заказал себе хороший обед. Подали ему водки и разных кушаньев; только было принялся он есть, вдруг подходит к нему оборванный и общипанный приказчик, не спрося, выпил водки и стал закусывать. Закусил и не думает за чужую хлеб-соль благодарствовать. «Это что за теребень? Вишь какой обдерганный!» — говорит купеческий сын. Отвечает ему теребень: «Коли узнаешь, так сам таков будешь». Взяло купе-

ческого сына любопытство, стал к нему приставать: «Расскажи, пожалуйста». Тот ему рассказал: «Вот, — говорит, — теперь и остался ни при чем; хожу обдерганный».

Захотелось и купеческому сыну посмотреть на генеральшу. «Слушайся меня, — сказал ему теребень, — мы сыграем с генералом такую шуточку, что долго не забудет. Рядом с генеральской квартирой отдается внаймы другая; найми ее и сделай тайный ход к нему в спальню». Купеческий сын так и сделал.

Вот генерал уехал в свое время к государю с докладом, а жену в спальне запер; купеческий сын напустил смелость и тотчас тайным ходом к его жене. Генеральша увидела, что больно хорош собою... А после и говорит: «Ах, купеческий сын, освободи меня от мужа: мне эта каторжная жизнь наскучила». — «Хорошо, — говорит, — можно». Взял у нее мужнину трость и поехал на площадь, где государь развод делал. Ходит да тросточкой помахивает; генерал увидал свою трость, подскочил к нему: «Эта трость моя!» — «Помилуйте, ваше превосходительство, что вы на честного человека клеплете! А я на вас пойду в суд с жалобой».

Генерал сел в дрожки и поспешил домой, а купеческий сын еще скорей его приехал домой и через тайный ход отдал трость генеральше. Генерал отпер жену и спрашивает: «Где моя трость?» — «А вон в углу стоит». — «Ах, ведь я понапрасну поклепал купеческого сына». На другой день купеческий сын взял у генеральши кольцо, генерал опять пристал к нему и точно так же должен был признаться, что напрасно его поклепал. На третий день просит купеческий сын генерала: «Посватайте за меня невесту — рядом с вашей квартирой живет». Генерал рад ему услужить, чтобы только на него за напрасные поклепы не жаловался; собрался и пошел в соседнюю квартиру. А там уже все готово: сидит какая-то старуха. Генерал посватал купеческого сына за ее дочь. Старуха говорит: «Хорошо, я согласна, надо у дочери спросить». Зовет дочь — выходит к ней генеральша и сказывает: «Я, маменька, согласна». Генерал глаза вылупил: точь-в-точь моя жена. Да побоялся в третий раз вклепаться. Вернулся домой — жена его дома. «Ну, — думает, — хорошо, что остерегся».

Наутро обвенчался купеческий сын на генеральше; сам генерал их посватал и от венца домой проводил да спать уложил. После того приходит он домой — хватился — жены-то нет. Туда-сюда — нет да и только. Куда делась — никто не знает. Утром бросился к купеческому сыну: «У меня, — говорит, — жена пропала». — «Да, ведь вы, ваше

превосходительство, выдали ее за меня замуж!» Генерал рассердился, поскакал к царю; царь разобрал это дело, посмеялся и сказал: «Ну, брат, ты сам ее отдал, так пенять не на кого, оставайся-ка без жены».

## ПОДЗЕМНЫЙ ХОД

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король. У этого короля был сын Иван-королевич. Понравилась королю (королевичу) одна из придворных фрейлин — очень собою хороша была! Спознался он с нею и дал ей свой именной перстень. Ни много, ни мало прошло времени, — родила эта фрейлина сына. Король тотчас узнал про все ихнее дело. Приказал ее вместе с ребенком посадить в бочку и пустить в море. Бочка плавала-плавала, остановилась у одного острова и развалилась. Мать с сыном вышла на берег и осталась тут жить.

Вот сын ее рос-рос, да и вырос. В одно время говорит он: «Любезная государыня матушка! Дай мне свое благословение, я поеду службы искать». — «Поезжай с богом». Вот он приехал в тот город, где отец его Иван-королевич царствовал (король-то старый давно помер). Идет по улице и повстречал одного купца. «Господин купец! Возьми меня к себе в приказчики». — «Да ты чей?» — «Я сирота — нет у меня ни отца, ни матери». А собой он был писанный красавец и тотчас же полюбился купцу. «Ну, — говорит, — коли ты сирота, ступай ко мне в приемыши торговать в лавках», и пошло дело словно по маслу. Старые приказчики только дивуются, — откуда у него такая сметка: барыши сами к нему в карман так и просятся.

В ту самую пору Иван-королевич задумал жениться на одной купеческой дочери — такая красавица была, что люди по десять тысяч за один посмотр давали. Стала купеческая дочь готовиться к свадьбе и послала свою служанку закупать в лавках разных материй. Служанка входит в лавку к купеческому приемышу, а он сидит да игрою на гусях забавляется. И как хорошо играет! Век бы слушать — не наслушался. Служанка слушала, слушала и забыла, что ей невеста наказывала. Воротилась домой и говорит купеческой дочери: «Простите, сударыня! Так и так, позабыла, зачем меня посылали».

Захотелось купеческой дочери самой послушать этой чудесной музыки. Оделась и поехала в лавку. А приказчик

сидит себе да на гусях поигрывает. Только что вошла она в лавку, как усмотрела молодца, — тотчас по уши в него влюбилась. А он бросил свои гусли, встал и спрашивает: «Чего вам, сударыня, угодно?» Тут она набрала всяких товаров на несколько тысяч и говорит приказчику: «Со мной теперь денег нет, а ты приходи ко мне вечером попозднее — я тебе дома заплачу». — «Хорошо, приду».

Вечером приказчик запер лавку и пошел к купеческой дочери. Она тотчас повела его в свою комнату, положила на стол острую саблю и говорит ему: «Коли хочешь жить, — полюби меня, а не станешь любить — сниму с плеч твою буйну голову!» А он и сам не прочь с нею знаться. Скоро они поладили и переспали ночь вместе. «Ну, милый, — говорит ему купеческая дочь, — сделай ты теперьча от своей лавки к моим покоям подземный ход, освети его фонарями и ходи ко мне каждую ночь, чтобы тебя никто из людей не видал. А то, коли королевич узнает, беда нам!»

Приказчик простился с нею, пришел домой и, долго не думая, нанял сейчас работников и вырыл подземный ход от лавки до покоев купеческой дочери. С той поры и начал он к ней похаживать да в свайку поигрывать.

Меж тем Иван-королевич говорит отцу своей невесты: «Батюшка! Пора нам свадьбу играть». — «Да я готов хоть сейчас. Вот что дочка скажет?» А дочка притворилась больной и просит обождать до ее выздоровления. Ждали месяц, и другой, и третий — она все кажет себя больною. Запало королевичу сомнение: «Уж нет ли у нее кого другого, что за меня выходить не хочет». Поставил он везде часовых, чтобы строго смотрели: не ходит ли кто к его названной невесте. Но куда часовым усмотреть, когда ход такой устроен?

Видит королевич, что дело-то неладно. Нарядился в солдатскую шинель и пошел поздним вечером по городу: не проведает ли чего сам? Шел-шел и усмотрел — в лавке огонь светится. «Зачем бы в такое время в лавке огню быть?» Постучался в дверь. «Чего тебе, служба, надобно?» — спрашивает купеческий приемыш. — «Пусти, добрый человек, ночь переночевать. Даром нигде не пускают, а денег нет. Я пришел издалеча». Жалко его стало приказчику. «Ну, говорит, иди!» Ровно в двенадцать часов собрался он к купеческой дочери в гости. Встал потихоньку и пошел подземным ходом. А королевич не спит — все видит. Поднялся, да вслед за ним. Вот таким-то случаем и узнал он, что к его невесте ходит подземным ходом купеческий приемыш, что каждую ночь они пьют-гуляют и спят на одной постели...

На другой день солдат простился с приказчиком и ушел. Приказчик ничего не ведает. А тут вдруг нагрянула стража и королевский указ принесла: велено его взять и в тот же день повесить на торгу на виселице. Народу сбежалось видимо-невидимо. Сам королевич приехал. Только повели купеческого приемыша вешать, а он просит последнее слово сказать: «Есть-де у меня именной перстень, от моего батюшки достался, возьмите его и перешлите на такой-то остров к моей родной матери». Королевич взглянул на перстень и тут же спознал, что этот приемыш его сын. Тотчас велел остановить казнь, обнял его крепко и стал расспрашивать, как и что с ним делалось. После того королевич обвенчал этого молодца на купеческой дочери, а сам женился на его матери.

## С Н Ы

Жил-был бедный мужик, с женой и детьми; в одну ночь приснился ему такой сон: будто под печкою в ихней избе лежит большой медведь. Поутру стал рассказывать свой сон жене; она говорит: «Ах, хозяин, ведь и мне такой же сон был». Дети говорят: «Ах, батюшка, ведь и мы то же самое во сне видели». Задумался мужик: «Недаром всем одно приснилось — сон вещий, да что он пророчит: к беде али к счастью?» Думал, думал и решил ехать к колдуну Асону, который один на все царство сны судит.

Едет он деревнею, навстречу ему мальчик: «Дяденька, покатай меня». — «Проваливай! не до тебя!» — «Дяденька, покатай, я тебе доброе слово скажу. Ведь я знаю, куда ты едешь. Ты едешь к Асону посудить сон». Мужик удивился: «Вишь, — говорит, — какой хитрый народился. Садись на телегу!» Посадил мальчика на телегу, прокатил его по деревне, выехал за околицу и спустил наземь. «Спасибо, дядюшка! — сказывает мальчик. — Смотри же: будет у тебя Асон торговать твой сон, не продавай ему дешево: бери сто тысяч. А спросит: кто тебя научил — ты молчи, на меня не показывай».

Вот приехал мужик к Асону: «Так и этак, — говорит, — приснилось мне ночью, будто под печкою лежит большущий медведь, рассуди, что этот сон значит?» Колдун бросился смотреть по своим книжкам, посмотрел и затрясся от радости: «Послушай, мужичок, продай мне этот сон!» — «Пожалуй, отчего не продать?» — «Что тебе дать за него?» — «Давай сто тысяч». — «Ах ты, сукин сын, —

закричал на мужика Асон и ногами затопал, — что мне в твоём сне — много ли корысти? Хочу пособить тебе при бедности; а он, дуралей, вишь какую цену заломил!» — «Как знаешь, а меньше ни единой копейки не возьму».

Спорили-спорили, ругались-ругались; нечего делать, видит колдун, что мужика не переспоришь, да и цена-то средняя: хоть и сто тысяч заплатить, все другое сто в барышах останется. Насыпал мужику два больших воза деньгами; а наутро приехал к нему на деревню с четырьмя возами. Разломал печь, а там серебра да золота видимо-невидимо. Еле-еле на четырех подводах уложил. Стал в путь собираться и говорит хозяевам: «Послушай, мужичок, скажи, кто тебя научил запросить за твой сон так дорого? Ведь сам ты ни за что б не догадался?» — «Нет, брат, этого не скажу». — «Скажи, вот тебе пять тысяч на прибавку». Мужик тотчас польстился на деньгу и выдал мальчика. После попрощались; колдун домой поехал, а мужик разбогател и зажил себе припеваючи — по-купечески.

На другой день Асон нарядился словно барин, запряг заводских лошадей, сел в коляску и катит прямо на двор к родителям того мальчика, что мужика научил. Приезжает и говорит: «Нельзя ли отдохнуть маленько?» — «Отчего нельзя, отдыхай». Вошел в избу, пошли те, другие разговоры. «Это чей мальчик спит?» — «Мой сын», — говорит старик. «Послушай, старик, мне твой сынок полюбился. Вижу я — ты живешь при бедности, а у меня и золота, и всякого имения, чего только душа просит — всего вдоволь. Только детей бог не дал. Отдай мне мальчика, я ему вместо отца буду, в люди выведу, и тебя со старухой награжу деньгами и хлебом». Старик со старухой помялись, помялись и согласились, продали сына за десять тысяч.

Асон взял его сонного, положил в повозку и повез к себе. Приехал домой; мальчик проснулся, смотрит, где это он очутился? «Что глаза-то вылупил? Чай, знаешь, зачем привез тебя...» — «Как не знать, — отвечает мальчик, — затем, чтобы с молодой женой твоей спать». — «Вот, брат, не угадал!» — сказал колдун, зло улыбнулся и крикнул: «Позвать ко мне повара». Повар пришел; он и говорит ему на ухо: «Возьми этого мальчишку, нарежь, вынь из него сердце, изжарь и принеси ко мне». Повар привел мальчика на кухню, достал широкий нож и принялся точить на камне. «Эх, дядя, — говорит мальчик, — ведь я знаю, для чего ты нож точишь». — «А для чего?» — «Да хочешь меня зарезать». — «Правда твоя!» — «Послушай, дядя, пожалей меня — отпусти на волю: тебя бог наградит». — «Я б отпустил

тебя, да ведь хозяин у меня хитер; сейчас узнает». — «Не бойся, не узнает. Есть у вас на дворе супоросая свинья, поди-ка, спроси у хозяина, сколько она поросят принесет? Он и этого не разгадает».

Повар пошел к Асону, спросил про свинью, воротился и говорит: «Хозяин сказывает, что двенадцать поросят будет». — «Вот и не узнал: ваша свинья уже опоросилась — принесла тринадцать». Повар побежал, справился: как раз тринадцать. «Правда твоя», — говорит мальчику. «Ну, так отпусти ж меня на вольный свет, а тринадцатого поросенка зарежь, вынь из него сердце, зажарь и снеси хозяину». Повар так и сделал. Понес поросячье сердце, только переступил порог — и уронил блюдо. Кобель подхватил и съел сердце. «Ну, пес его бери!» — сказал колдун.

А мальчик вышел на большую дорогу и, долго ли, коротко ли, пришел в столичный город. Остановился у гостинных рядов да на знатные заморские товары любуется. Увидал его купец и взял к себе за приказчика. С того самого времени пошла у купца торговля широкая, покупатели так и валят в лавку, просто отбою нет. Успевай только деньги брать. Время идет, мальчик растет да растет, вырос и сделался таким молодцем да красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером написать.

В один день поехала молодая Асонова жена в гостинные ряды за покупками; зашла в самую богатую лавку, увидела этого приказчика и сразу влюбилась в него. Набрала целый ворох всяких товаров и говорит: «Послушай, добрый молодец. Со мной денег не случилось; потрудись сегодня вечером ко мне в дом побывать, я там-то живу». — «Извольте, сударыня». Вечером приехал к ней за деньгами; она тотчас ухватила его за белые руки, повела в свою спальню, стала целовать-миловать, нежно к сердцу прижимать; уложила его на мягкую постель вместе с собой. «Ну, — говорит, — придвинься ко мне плотней, будет нам теплей!» Тут они и слюбились, и стали часто друг к другу наезжать, вместе ночи коротать.

Прошло с год времени, приснился царю этой земли такой сон: будто стоит в его палатах драгоценная золотая чарка, а в той чарке один край выломился. Встал царь поутру и думает: что бы этот сон значил? Сейчас посылает он за колдуном Асоном. «Ну-ка, Асон, рассуди мой сон!» Колдун бросился смотреть по своим книгам, искал-искал — нет, не может разгадать царского сна. Царь рассердился и назначил ему три дня сроку: «Коли не разгадаешь, прикажу тебя казнить». Три дня прошло, повели Асона на площадь и повесили на виселице.

После того разослал царь указы по всей земле: «Коли кто разгадает этот сон, тому пожалуем половину своего царства». Услыхал про то молодой приказчик, явился к царю поздним вечером и говорит: «Ваше величество! я могу ваш сон разгадать». — «Ну, разгадай. Скажешь правду — половину царства пожалую, а соврешь — то мой меч, твоя голова с плеч». — «Есть, — говорит, — у вашего величества три дочери; скажите, которую царевну вы больше любите, больше жалуете?» — «Все три, — отвечает царь, — мне дороги, а больше всех люблю и жалую меньшую царевну: нет ее на свете дороже». — «Ну, так пойдете к ней в спальню — там будет разгадка». Пришли к царской спальне, смотрят, дверь заперта. Царь постучался: «Отопри-ка, дочка». — «Ах, батюшка! Я уж спать легла». — «Ничего, отопри». — «Да я не одета». — «Отопри, не то велю дверь выломать!»

Царевна отперлася: входит царь с приказчиком в спальню. Приказчик тотчас подбежал к мамке. Оказывается мамка — мужчина. Царь отдал этому приказчику половину своего царства, царевну наказал, мамку казнил, а о том, что было, велел в тайне хранить, лишнего никому не говорить. Приказчик сделался сам царем, женился на Асоновой вдове, разбогател и стал жить-поживать, добра наживать, лиха избывать.

## КУПЕЧЕСКАЯ ЖЕНА И ПРИКАЗЧИК

Жил-был купец, старый хрыч, женился на молодой бабенке, а у него было много приказчиков. Старшего из приказчиков звали Потапом; детина он был видный, зачал к хозяйке подбираться, так у них дело и сладилось. Стали люди примечать, стали купцу сказывать. Вот купец и говорит своей жене: «Послушай, душенька, что люди-то говорят, будто ты с приказчиком Потапом живешь». — «Что ты, бог с тобой, соглашусь ли я. Не верь людям; верь своим глазам». — «Говорят, он к тебе давно подбирался. Нельзя ли как-нибудь испытать его?» — «Ну что ж, — говорит жена, — послушай меня, нарядись в мое платье и пойдешь к нему в сад — знаешь, где он спит, да потихоньку шепотом и скажи: я-де к тебе от мужа пришла. Вот и посмотришь тогда, каков он есть». — «Ладно», — сказал купец.

А купчиха улучила время и научила приказчика: как придет муж, хорошенько его поколоти, чтобы он, подлец, долго помнил. Дождлся купец ночи, нарядился в женино платье с ног до головы и пошел в сад к приказчику: «Кто

это?» — спрашивает приказчик. Купец отвечает шепотом: «Я, душенька!» — «Зачем?» — «От мужа ушла, да к тебе пришла». — «Ах ты, подлая! И то про меня говорят, что я к тебе хожу. А ты хочешь, чтоб я совсем опостылел хозяину». И давай колотить купца по шее, по спине, да в поволочку: «Не ходи, мерзавка, не срами меня! Я ни за что не соглашусь на такие пакости». Кое-как купец вырвался, прибежал к жене и говорит: «Нет, милая, теперь никому в свете не поверю, что ты живешь с приказчиком. Как принялся он меня ругать, страмить да бить — насилу ушел». — «Вот видишь, а ты всякому веришь!» — сказала купчиха и с того времени стала жить с приказчиком без всякого страха.

### «НЕТ!»

Жил-был старый барин, а у него была жена и молода, и собой хороша. Случилось этому барину куда-то уехать далеко. Он боится, как бы жена его не стала с кем... и говорит: «Послушай, милая! Теперь я уезжаю надолго от тебя, так ты никаких господ не примамай к себе, чтоб они тебя не смутили, а лучше вот что: кто бы тебе и что бы тебе ни сказывал — отвечай все: «Нет!» да «Нет!» Уехал муж, а барыня пошла гулять в сад. Ходит по саду. А мимо на ту пору проезжал офицер. Увидел барыню такую славную и стал ее спрашивать: «Скажите, пожалуйста, какая это деревня?» Она ему отвечает: «Нет!»

«Что бы это значило, — думает офицер, — о чем ее ни спросишь, она все: нет да нет!» Только офицер не будь промах: «Ежели, — говорит, — я слезу с лошади да привяжу ее к забору — ничего за это не будет?» А барыня: «Нет!» — «А если взойду к вам в сад, вы не рассердитесь?» — «Нет!» Он вошел в сад. «А если я с вами стану гулять, вы не прогневаются?» — «Нет!» Он пошел рядом с нею. «А если возьму вас за ручку, — не будет вам досадно?» — «Нет!» Он взял ее за руку. «А если поведу вас в беседку — и это ничего?» — «Нет!» Он привел ее в беседку. — «А если.., вы не станете противиться?» — «Нет!»... Потом он опять спрашивает: «Вы теперь довольны?» — «Нет!» — «Ну когда нет...» Еще раз спрашивает: «А теперь довольны?» — «Нет!» Он плюнул и уехал. А барыня встала и пошла в хоромы.

Вот воротился домой барин и говорит жене: — «Ну что, все ли у тебя благополучно?» — «Нет!» — «Да что же?..» — «Нет!» Что ни спросит, она все: нет да нет. Барин и сам не рад, что научил ее.

## ЖЕНА СЛЕПОГО

Жил-был барин с барыней. Вот барин ослеп, а барыня загуляла с одним подьячим. Стал барин подумывать... и шагу не даст ей без себя сделать. Что делать? Раз пошла она с мужем в сад, и подьячий туда же пришел... Вот муж-то слепой у яблони сидит, а жена... с подьячим. А сосед ихний смотрит из своего дома, из окна в сад, увидал, что там строится... и сказывает своей жене: «Посмотри-ка, душенька, что у яблони-то делается. Ну что как теперя откроет бог слепому глаза да увидит он — что тогда будет? Ведь он ее до смерти убьет». — «И, душенька! Вить и нашей сестре бог увертку дает!» — «А какая тут увертка?» — «Тогда узнаешь».

На тот грех и открыл господь слепому барину глаза: увидел он... — «Ах ты!.. Что ты делаешь, проклятая!» — А барыня: «Ах, как я рада, милый мой! Ведь сегодня ночью приснилось мне: сделай грех с таким-то подьячим, и господь за то откроет твоему мужу глаза. Вот оно и есть правда: за мои труды бог дал тебе очи».

## ДВЕ ЖЕНЫ

Жили-были два купца, оба женатые, и жили они промеж себя дружно и любовно. Вот один купец говорит другому: «Послушай, брат! Давай сделаем пробу, чья жена лучше мужа любит». — «Давай. Да как пробу-то сделать?» — «А вот как: соберемся-ка да поедем на Макарьевскую ярмарку, и которая жена пуще станет плакать, та больше и мужа любит». Вот собрались в путь, стали их провожать жены. Одна плачет, так и разливается, а другая прощается и сама смеется.

Поехали купцы на ярмарку, отъехали эдак верст пятьдесят и разговорились между собой. «Ишь как тебя жена любит, — говорит один, — как она плакала на прощанье, а моя стала прощаться, а сама смеется!» А другой говорит: «Вот что, брат! Теперя жены нас проводили, воротимся-ка назад, таким образом да посмотрим, что наши жены без нас делают». — «Хорошо!»

Воротились к ночи и вошли в город пешие. Подходят наперед к избе того купца, у которого жена на прощанье горько плакала. Смотрят в окошко. Она сидит с любовником и гуляет. Любовник наливает стакан водки, сам выпивает и ей подносит: «На, милая, выпей!» Она выпила и говорит: «Друг ты мой любезный! Теперя я твоя». — «Вот какие пустяки: вся моя! Что-нибудь есть и мужнино!» Она

оборотилась к нему задом и говорит: «Вот ему... — один зад!» Потом пошли купцы к той жене, которая не плакала, а смеялась. Пришли под окошко и смотрят: перед иконами горит лампадка, а она стоит на коленях, усердно молится да приговаривает: «Подаждь, господи, моему сожителю в пути всякого возвращения!» «Ну вот, — говорит один купец другому, — теперь поедем торговать».

Поехали на ярмарку и торговали очень хорошо: такая задача в торговле была, какой никогда не бывало! Пора уж домой. Стали собираться и вздумали купить своим женам по гостинцу. Один купец, у которого жена богу молилась, купил ей славной парчи на шубку, а другой купил жене парчи только на ее зад: «Вить мой только зад! Так мне только пол-аршина и надобно — я свою жену не хочу паскудить!» Приехали и отдали женам гостинцы. «Что же ты купил эдакой лоскут?» — говорит жена с сердцем. — «А ты вспомни.., как сидела ты с любовником и говорила, что мой у тебя только зад, — ну, я свою часть и снарядил. Нашей парчу на него, да и носи».

## ЖЕНА ХИМКА

Жил муж Филя, у него жена была Хима — беспечная, сонливая, нерадивая. Раз в летний день пошла она рожь жать: жать не жала, легла в поле и заснула. Приходит Филя, взял ей остриг голову, обмазал тестом, обсыпал пухом и ушел домой. Вот Хима проснулась, схватилась за голову и говорит: «Что б это значило? По уму-то я Хима, а по голове, кажется, нет. Пстой, пойду в деревню; узнаю ли свой двор?»

Идет она по деревне, считает дворы, подходит к своему двору и говорит: «Вот наш двор!» Спрашивает хозяина: «Филя, а Филя! Дома ли твоя Хима?» — «Дома». Вот она и пошла прочь от окна. «Пстой, — думает, — суну-ка я в подворотню голову; если узнает меня собака, так я Хима, а не узнает — значит не Хима». Сунула голову в подворотню; собака залаяла.

Тут бедная баба совсем поверила, что она не Хима, и пошла к вечеру на большую дорогу. Попадаются ей навстречу воры. Она и просит: «Возьмите меня с собой; я знаю богатого мужика, обворуем его». — «Пойдем». Пошли воровать. Проломали в клетки крышу и опустили туда Химу: «Подавай, а мы брать станем». Она набрала себе орехов, а им подала мешок с золою. Воры осерчали: «Черт с ней, — говорят, — бросим ее, пусть сидит там!» Хима услышала это,

навязалась сама на веревку и кричит им: «Тащите, вот добро, так добро». Воры ее и вытащили.

Пошли искать иного места; идут мимо кладбища. «Ну, Химушка, ты посиди пока тут, а мы пойдем к дьякону баранов красть». Воры ушли, а Хима села на могиле, сидит да орехи щелкает. Вышел дьякон помочиться и видит на могиле эдакое чудище. Побежал к попу: «Вставай, батюшка, покойник из могилы вылез, зубами щелкает!» Поп был нездоров, позвал еще дьячка и велел нести себя на носилках: «Пойду, — говорит, — мертвеца отчитывать». Вот дьякон с дьячком несут попа, а Хима думает, что то воры и закричала: «Что, несете?» Дьякон говорит: «Несем!» — «Жирного?» — «Жирного!» — «Ну, скорей давайте, я есть хочу». Дьякон думает: «Что ж, я-то жирнее попа, пожалуй, за меня хватится!» Испугался, бросил попа наземь, да бежать: дьячок за ним, а поп так головой о могильный камень пришелся, что еле-еле к рассвету опомнился. Поутру шел народ на работу, увидел Химу и отвел к мужу.

## ФОМКА-ДУРАК И ЕГО ЖЕНА

Жил мужик с бабою; звали его Фомкою, был он большой дурак и трус. Только смеркается, то и на двор побоится выйти. А баба — известное дело, как при таком муже не завести любовника — и таки завела. Один раз Фомка пришел домой пьяный да веселый; еще никогда таким не бывал. Поужинал, снял портки и лег с женой спать. А ночь была темная-темная, дождь как из ведра поливает.

На ту пору постучался к бабе любовник, собака и залаяла. Фомка услышал, что собака на дворе лает, и давай тюкать: «Тю-тю, тю-тю». — «Молчи, — говорит жена, — а то волки по деревне ходят, овец режут, пожалуй, к нам зайдут». — «Неужли ты боишься?» — «А ты разве не боишься?» — «Я-то? Да ты знаешь, какой я смельчак? Хочешь: сейчас окно отворю да начну тюкать?» — «А ну, Фомушка, отвори да потюкай». Фомка отворил окно и кричит спяна: «Тю-тю». — «Ах, Фомушка, затвори окно, не то волки в избу залезут да нас поедят», — «Я ничего не боюсь». — «Экой ты смелый!» — «Э, ты еще меня не знаешь! Хочешь, я выйду в сени да в сенях начну тюкать?» — «А ну, выйди да потюкай в сенях», — говорит жена, а сама на уме держит, как бы поскорей его на двор выпихнуть.

Фомка вышел в сени и опять: «Тю-тю, тю-тю!» Баба идет сзади да подхваливает: «Ох, Фомушка, какой ты небояз-

ливый! А я думала, что ты побоишься». — «Э, дура, разве не знаешь, какой я хватюга? Я еще отворю двери на двор да еще громче начну тюкать!» — «А ну, попробуй, попробуй, Фомушка!» Фомка отворил двери, высунул на двор голову и снова кричит: «Тю-тю!» Тут баба как толкнет его в шею, выпихнула на двор и заперла двери засовом, а любовника в окно впустила и легла с ним на постель.

Фомка ходит без порток вокруг избы, намок весь, стучится в окно да просится со слезами в избу. «Какой леший там стучится?» — спрашивает хозяйка. — «Это я», — говорит Фомка. — «А ты кто?» — «Фома!» — «Какой Фома? Ты — Мора, а не Фома. Мой Фома со мной на постели лежит». А сама шепчет любовнику: «Откликнись ему». Любовник и закричал: «Кой черт там около избы бродит? Вот только выйду на двор, так дам себя знать: так шею накостиляю, что долго не забудешь!»

Бедный Фомка не знает, что и делать. «Видно, — думает, — я пьяный к чужой избе подошел». И начал себя проверять — считает избы. «Вот эта — кумова изба, а эта — братова, а эта — Кондратова, а четвертая моя». Постучал опять в окно; а его все не пускают, беда да и только. Пошел к куму, постучался. «Кто там?» — «Это я, кум». — «Чего тебе?» — «Да видишь, кум, я немножко выпивши, не могу до своей избы дойти; проводи меня, пожалуйста». Кум оделся, вышел, смотрит — Фомка без порток в одной рубахе стоит, перезяб, трясется. Провел его до двора и стучится: «Кумушка, ты спишь?» — «Нет, кум, еще не сплю, а что там?» — «Да вот возьми своего Фому, он совсем пьяный». — «Какой там Фома? Это Мора — всю ночь около избы таскается, не дает нам покою; мой муж давно дома». На ее речи и любовник отозвался. «Что ты, кум, я давно дома; это у тебя Мора. Брось ее к черту!»

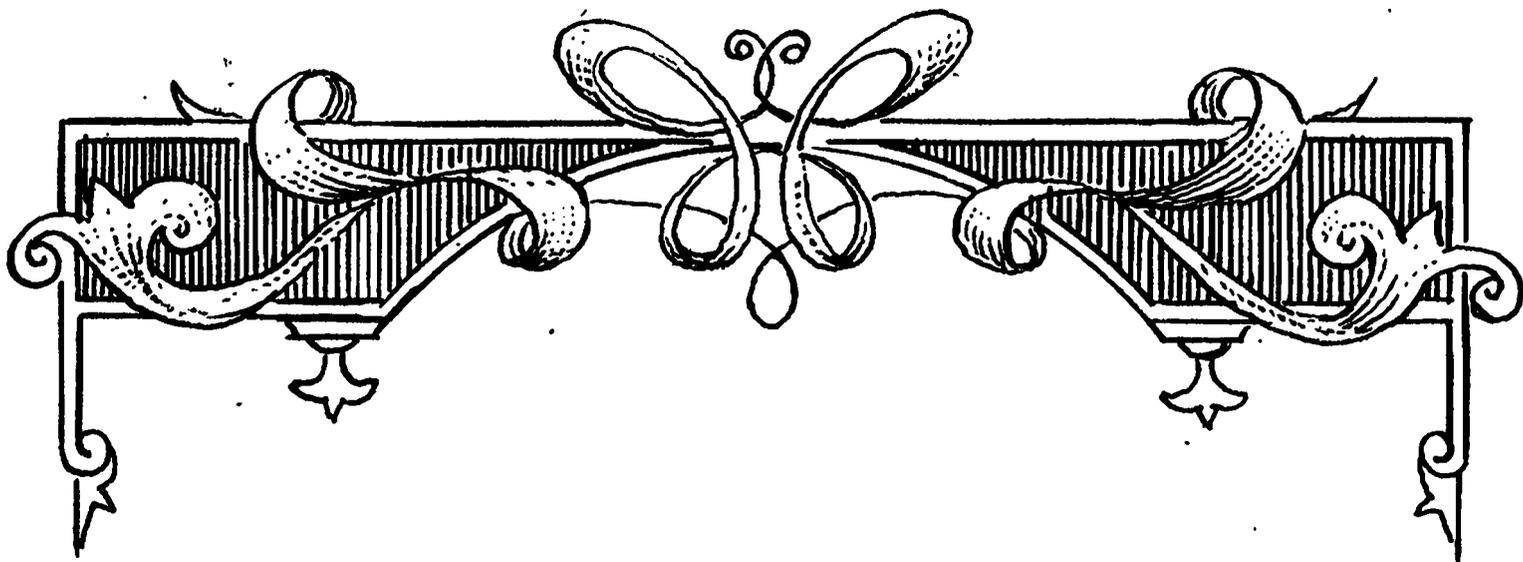
Кум испугался, бросил Фому и убежал домой. Что делать Фомке? На дворе холодно, а в избу не попадешь. Принужден был забраться к свиньям в хлев, там и переночевал до утра. На другой день приносит баба свиньям корм, увидала мужа и говорит: «Это ты, Фомушка? Каким манером сюда попал? А я тебя всю ночь проискала». — «Молчи, жена, я и сам себя с похмелья не помню. Видно, меня пьяного черти таскали». — «То-то, Фомушка, говорю тебе, не напивайся».



А. С. ПУШКИН

# ЦАРЬ НИКИТА И СОРОК ЕГО ДОЧЕРЕЙ





## ЦАРЬ НИКИТА И СОРОК ЕГО ДОЧЕРЕЙ



Царь Никита жил когда-то  
Праздно, весело, богато,  
Не творил добра; ни зла,  
И земля его цвела.  
Царь трудился понемногу,  
Кушал, пил, молился богу  
И от разных матерей  
Прижил сорок дочерей,  
Сорок девушек прелестных,  
Сорок ангелов небесных,  
Милых сердцем и душой.  
Что за ножка — боже мой,  
А головка, темный волос,  
Чудо — глазки, чудо — голос,  
Ум — с ума свести бы мог.  
Словом, с головы до ног  
Душу, сердце всё пленяло;  
Одного недоставало.  
Да чего же одного?  
Так, безделки, ничего.  
Ничего иль очень мало,  
Все равно — недоставало.

Как бы это изъяснить,  
Чтоб совсем не рассердить  
Богомольной важной дуры,  
Слишком чопорной цензуры?  
Как быть?.. Помогите мне, бог!  
У царевен между ног...  
Нет, уж это слишком ясно  
И для скромности опасно, —  
Так иначе как-нибудь:  
Я люблю в Венере грудь,  
Губки, ножку особливо,  
Но любовное огниво,  
Цель желанья моего...  
Что такое?.. Ничего!..  
Ничего иль очень мало...  
И того-то не бывало  
У царевен молодых,  
Шаловливых и живых.  
Их чудесное рожденье  
Привело в недоуменье  
Все придворные сердца.  
Грустно было для отца  
И для матерей печальных.  
А от бабок повивальных  
Как узнал о том народ —  
Всякий тут разинул рот,  
Ахал, охал, дивовался,  
А иной хоть и смеялся,  
Да тихонько, чтобы в путь  
До Нерчинска не махнуть.  
Царь созвал своих придворных,  
Нянек, мамушек покорных —  
Им держал такой приказ:  
«Если кто-нибудь из вас  
Дочерей греху научит,  
Или мыслить их приучит,  
Или только намекнет,

Что́ у них недостает,  
Иль двусмысленное скажет,  
Или кукиш им покажет, —  
То — шутить я не привык —  
Бабам вырежу язык,  
А мужчинам нечто хуже,  
Что порой бывает туже».  
Царь был строг, но справедлив,  
А приказ красноречив;  
Всяк со страхом поклонился,  
Остеречься всяк решился,  
Ухо всяк держал остро  
И хранил свое добро.  
Жены бедные боялись,  
Чтоб мужья не проболтались;  
Втайне думали мужья:  
«Провинись, жена моя!»  
(Видно, сердцем были гневны.)  
Подросли мои царевны.  
Жаль их стало. Царь — в совет;  
Изложил там свой предмет:  
Так и так — довольно ясно,  
Тихо, шепотом, негласно,  
Осторожнее от слуг.  
Призадумались бояры,  
Как лечить такой недуг.  
Вот один советник старый  
Поклонился всем — и вдруг  
В лысый лоб рукою брякнул  
И царю он так вавакнул:  
«О, премудрый государь!  
Не взыщи мою ты дерзость,  
Если про плотскую мерзость  
Расскажу, что было встарь.  
Мне была знакома сводня  
(Где она? и чем сегодня?  
Верно, тем же, чем была.)

Баба ведьмою слыла,  
Всем недугам пособляла,  
Немощь членов исцеляла.  
Вот ее бы разыскать;  
Ведьма дело всё поправит:  
А что надо — то и вставит».  
— «Так за ней сейчас послать! —  
Восклицает царь Никита,  
Брови сдвинувши сердито:  
— Тотчас ведьму отыскать!  
Если ж нас она обманет,  
Чего надо не достанет,  
На бобах нас проведет  
Или с умыслом солжет, —  
Будь не царь я, а бездельник,  
Если в чистый понедельник  
Сжечь колдунью не велю:  
И тем небо умолю».

Вот секретно, осторожно,  
По курьерской подорожной  
И во все земли концы  
Были посланы гонцы.  
Они скачут, всюду рыщут  
И царю колдунью ищут.  
Год проходит и другой —  
Нету вести никакой.  
Наконец один ретивый  
Вдруг напал на след счастливый.  
Он заехал в темный лес  
(Видно, вел его сам бес),  
Видит он: в лесу избушка,  
Ведьма в ней живет, старушка.  
Как он был царев посол,  
То к ней прямо и вошел,  
Поклонился ведьме смело,  
Изложил цареве дело:

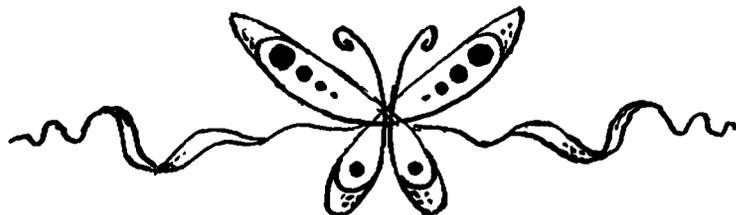
Как царевны рождены  
И чего все лишены.  
Ведьма мигом всё смекнула...  
В дверь гонца она толкнула,  
Так примолвив: «Уходи  
Поскорей и без оглядки,  
Не то — бойся лихорадки...  
Через три дня приходи  
За посылкой и ответом,  
Только помни — чуть с рассветом».  
После ведьма заперлась,  
Уголечком запаслась,  
Трое суток ворожила,  
Так что беса приманила.  
Чтоб отправить во дворец,  
Сам принес он ей ларец,  
Полный грешными вещами,  
Обожаемыми нами.  
Там их было всех сортов,  
Всех размеров, всех цветов,  
Все отборные, с кудрями...  
Ведьма все перебрала,  
Сорок лучших оточла,  
Их в салфетку завернула  
И на ключ в ларец замкнула,  
С ним отправила гонца,  
Дав на путь серебреца.  
Едет он. Заря зарделась...  
Отдых сделать захотелось,  
Захотелось закусить,  
Жажду водкой утолить:  
Он был малый аккуратный,  
Всем запасся в путь обратный.  
Вот коня он разнуздал  
И покойно кушать стал.  
Конь пасется. Он мечтает,  
Как его царь вознесет,

Графом, князем назовет.  
Что же ларчик заключает?  
Что царю в нем ведьма шлет?  
В щелку смотрит: нет, не видно —  
Заперт плотно. Как обидно!  
Любопытство страх берет  
И всего его тревожит.  
Ухо он к замку приложит —  
Ничего не чует слух;  
Нюхает — знакомый дух...  
Тьфу ты пропасть! что за чудо?  
Посмотреть ей-ей не худо.  
И не вытерпел гонец...  
Но лишь отпер он ларец,  
Птички — порх и улетели,  
И кругом на сучья сели  
И хвостами завертели.  
Наш гонец давай их звать,  
Сухарями их прельщать:  
Крошки сыплет — всё напрасно  
(Видно, кормятся не тем):  
На сучках им петь прекрасно,  
А в ларце сидеть зачем?  
Вот тащится вдоль дороги,  
Вся согнувшись дугой,  
Баба старая с клюкой.  
Наш гонец ей бухнул в ноги:  
«Пропаду я с головой!  
Помоги, будь мать родная!  
Посмотри, беда какая:  
Не могу их изловить!  
Как же горю пособить?»  
Вверх старуха посмотрела,  
Плюнула и прошипела:  
«Поступил ты хоть и скверно,  
Но не плачься, не тужи...  
Ты им только покажи —

Сами все слетят наверно».  
«Ну, спасибо!» — он сказал...  
И лишь только показал —  
Птички вмиг к нему слетели  
И квартирой овладели.  
Чтоб беды не знать другой,  
Он без дальних отговорок  
Тотчас их под ключ все сорок  
И отправился домой.  
Как княжны их получили,  
Прямо в клетки посадили.  
Царь на радости такой  
Задал тотчас пир горой:  
Семь дней сряду пировали,  
Целый месяц отдыхали;  
Царь совет весь наградил,  
Да и ведьму не забыл:  
Из кунсткамеры в подарок  
Ей послал в спирту огарок  
(Тот, который всех дивил),  
Две ехидны, два скелета  
Из того же кабинета...  
Награжден был и гонец.  
Вот и сказочки конец.

\*

Многие меня поносят  
И теперь, пожалуй, спросят:  
Глупо так зачем шучу?  
Что за дело им? Хочу.





М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

СКАЗКА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ





## СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1



мчался век эпических поэм,  
И повести в стихах пришли в упадок;  
Поэты в том виновны не совсем  
(Хотя у многих стих не вовсе  
гладок);  
И публика неправа между тем.  
Кто виноват, кто прав — уж я не  
знаю,  
А сам стихов давно я не читаю —  
Не потому, чтоб не любил стихов,  
А так: смешно ж терять для звучных  
строф  
Златое время... в нашем веке  
зрелом,  
Известно вам, все заняты мы делом.

2

Стихов я не читаю — но люблю  
Марать шутя бумаги лист летучий;  
Свой стих за хвост отважно я ловлю;  
Я без ума от тройственных созвучий  
И влажных рифм — как например на  
Ю.

Вот почему пишу я эту сказку.  
Ее волшеббно-темную завязку  
Не стану я подробно объяснять,

Чтоб кой-каких допросов избежать;  
Зато конец не будет без морали,  
Чтобы ее хоть дети прочитали.

3

Герой известен, и не нов предмет;  
Тем лучше: устарело всё, что ново!  
Кипя огнем и силой юных лет,  
Я прежде пел про демона иного:  
То был безумный, страстный, детский бред.  
Бог знает где заветная тетрадка?  
Касается ль душистая перчатка  
Ее листов — и слышно: *c'est joli?*..  
Иль мышь над ней старается в пыли?..  
Но этот черт совсем иного сорта —  
Аристократ и не похож на черта.

4

Перенестись теперь прошу сейчас  
За мною в спальню: розовые шторы  
Опущены, с трудом лишь может глаз  
Следить ковра восточные узоры.  
Приятный трепет вдруг объемлет вас,  
И, девственным дыханьем напоенный,  
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный;  
Вот ручка, вот плечо, и возле них  
На кисее подушек кружевных  
Рисуется молодой, но строгий профиль...  
И на него взирает Мефистофель.

5

То был ли сам великий Сатана  
Иль мелкий бес из самых нечиновных,  
Которых дружба людям так нужна  
Для тайных дел, семейных и любовных?  
Не знаю! Если б им была дана  
Земная форма, по рогам и платью  
Я мог бы сволоочь различить со знатью;  
Но дух — известно, что такое дух!  
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух —  
И мысль — без тела — часто в видах разных;  
(Бесов вообще рисуют безобразных.)

## 6

Но я не так всегда воображал  
 Врага святых и чистых побуждений.  
 Мой юный ум, бывало, возмущал  
 Могучий образ; меж иных видений,  
 Как царь, немой и гордый, он сиял  
 Такой волшеббно-сладкой красотой,  
 Что было страшно... и душа тоскою  
 Сжималася — и этот дикий бред  
 Преследовал мой разум много лет.  
 Но я, расставшись с прочими мечтами,  
 И от него отделался — стихами!

## 7

Оружие отличное: врагам  
 Кидаете в лицо вы эпиграммой...  
 Вам насолить захочется ль друзьям?  
 Пустите в них поэмой или драмой!  
 Но полно, к делу. Я сказал уж вам,  
 Что в спальне той таился хитрый демон.  
 Невинным сном был тронут не совсем он.  
 Не мудрено: кипела в нем не кровь,  
 И понимал иначе он любовь;  
 И речь его коварных искушений  
 Была полна: ведь он недаром гений!

## 8

Не знаешь ты, кто я — но уж давно  
 Читаю я в душе твоей; незримо,  
 Неслышно говорю с тобою, — но  
 Слова мои, как тень, проходят мимо  
 Ребяческого сердца, — и оно  
 Дивится им спокойно и в молчанье, —  
 Пускай! Зачем тебе мое названье?  
 Ты с ужасом отвергнула б мою  
 Безумную любовь, — но я люблю.  
 По-свободному... терпеть и ждать могу я,  
 Не надо мне ни ласк, ни поцелуя.

## 9

Когда ты спишь, о ангел мой земной,  
 И шибко бьется девственной кровью

Младая грудь под грезой ночной,  
Знай, это я, склонившись к изголовью,  
Любуюся — и говорю с тобой;  
И в тишине, наставник твой случайный,  
Чудесные рассказываю тайны...  
А много было взору моему  
Доступно и понятно, потому  
Что узами земными я не связан,  
И вечностью и знанием наказан...

## 10

Тому назад еще немного лет  
Я пролетал над сонною столицей.  
Кидала ночь свой странный полусвет,  
Румяный запад с новою денницей  
На севере сливались, как привет  
Свидания с молением разлуки;  
Над городом таинственные звуки,  
Как грешных снов нескромные слова,  
Неясно раздавались — и Нева,  
Меж кораблей сверкая на просторе,  
Журча, с волной их уносила в море.

## 11

Задумчиво столбы дворцов немых  
По берегам теснились, как тени,  
И в пене вод гранитных крылец их  
Купались широкие ступени;  
Минувших лет событий роковых  
Волна следы смывала роковые,  
И улыбались звезды голубые,  
Глядя с высот на гордый прах земли,  
Как будто мир достоин их любви,  
Как будто им земля небес дороже...  
И я тогда... я улыбнулся тоже.

## 12

И я кругом глубокий кинул взгляд  
И увидел с невольною отрадой  
Преступный сон под сению палат.  
Корыстный труд пред тощею лампадой.  
И страшных тайн везде печальный ряд;

Я стал ловить блуждающие звуки.  
Веселый смех и крик последней муки:  
То ликовал иль мучился порок!  
В молитвах я подслушивал упрек,  
В бреду любви — бесстыдное желанье;  
Везде — обман, безумство иль страданье!

### 13

Но близ Невы один старинный дом  
Казался полн священной тишиною.  
Всё важностью наследственной в нем  
И роскошью дышало вековою;  
Украшен был он княжеским гербом;  
Из мрамора волнистого колонны  
Кругом теснились чинно; и балконы  
Чугунные воздушною семьей  
Меж них гордились дивною резьбой;  
И окон ряд, всегда прозрачно-темных,  
Манил, пугая взор очей нескромных.

### 14

Пора была, боярская пора!  
Теснилась знать в роскошные покои —  
Былая знать минувшего двора,  
Забытых дел померкшие герои!  
Музыкой тут гремели вечера,  
В Неве дробился блеск высоких окон,  
Напудренный мелькал и вился локон;  
И часто ножка с красным каблучком  
Давала знак условный под столом;  
И старики в звездах и бриллиантах  
Судили резко о тогдашних франтах.

### 15

Тот век прошел, и люди те прошли.  
Сменили их другие; род старинный  
Перевелся; в готической пыли  
Портреты гордых бар, краса гостиной,  
Забытые, тускнели; поросли  
Дворы травой, и блеск сменив бывалый.  
Сырая мгла и сумрак длинной залой  
Спокойно завладели... Тихий дом

Казался пуст; но жил хозяин в нем,  
Старик худой и с виду величавый,  
Озлобленный на новый век и нравы.

## 16

Он ростом был двенадцати вершков,  
С домашними был строг неумолимо;  
Всегда молчал; ходил до двух часов,  
Обедал, спал... да иногда, томимый  
Бессонницей, собранье острых слов  
Перебирал или читал Вольтера.  
Как быть? Сильна к преданьям в людях вера!..  
Имел он дочь четырнадцати лет;  
Но с ней видался редко; за обед  
Она являлась в фартучке, с мадамой;  
Сидела чинно и держалась прямо.

## 17

Всегда одна, запугана отцом  
И англичанки строгостью небрежной,  
Она росла, как ландыш за стеклом  
Или скорей как бледный цвет подснежный.  
Она была стройна, но с каждым днем  
С ее лица сбегали жизни краски,  
Задумчивей большие стали глазки;  
Покинув книжку скучную, она  
Охотнее садилась у окна,  
И вдалеке мечты ее блуждали,  
Пока ее играть не посылали.

## 18

Тогда она сходила в длинный зал,  
Но бегать в нем ей как-то страшно было  
И как-то странно детский шаг звучал  
Между колонн; разрытою могилой  
Над юной жизнью воздух там дышал.  
И в зеркалах являлись предметы  
Длиннее и бесцветнее, одеты  
Какой-то мертвой дымкою; и вдруг  
Неясный шорох слышался вокруг:  
То загремит, то снова тише, тише...  
(То были тени предков — или мыши!)

## 19

И что ж! — она привыкла толковать  
По-своему развалин говор странный,  
И стала мысль горячая летать  
Над бледною головкой и туманный,  
Воздушный рой видений навевать.  
Я с ней не разлучался. Детский лепет  
Подслушивать, невинной груди трепет  
Следить, ее дыханием с немой,  
Мучительной и жадною тоской,  
Как жизнью, упиваться... это было  
Смешно! — но мне так ново и так мило!

## 20

Влюбился я. И точно хороша  
Была не в шутку маленькая Нина.  
Нет, никогда свинец карандаша  
Рафаэля иль кисти Перуджина  
Не начертали, пламенем дыша,  
Подобный профиль. Все ее движенья  
Особого казались выраженья  
Исполнены. Но с самых детских дней  
Ее глаза не изменяли ей,  
Тая равно надежду, радость, горе;  
И было темно в них, как в синем море.

## 21

Я понял, что душа ее была  
Из тех, которым рано всё понятно.  
Для мук и счастья, для добра и зла  
В них пищи много; — только невозвратно  
Они идут, куда их повела  
Случайность, без раскаянья, упреков  
И жалобы. Им в жизни нет уроков;  
Их чувствам повторяться не дано...  
Такие души я любил давно  
Отыскивать по свету на свободе:  
Я сам ведь был немножко в этом роде!

## 22

Ее смущали странные мечты.  
Порой она среди пустого зала

Сиянье, роскошь, музыку, цветы,  
Толпу гостей и шум воображала;  
Кипела кровь от душной тесноты;  
На платьице чудесные узоры  
Виднелись ей, — и вот гремели шпоры,  
К ней кавалер незримый подходил  
И в мнимый вальс с собою уносил;  
И вот она кружилась в вихре бала  
И утомясь на кресло упадала...

## 23

И тут она, склонив лукавый взор  
И выставив едва приметно ножку,  
Двусмысленный и темный разговор  
С ним завести старалась понемножку;  
Сначала был он весел и остёр,  
А иногда и чересчур небрежен;  
Но под конец зато как мил и нежен!  
Что делать ей? — притворно строгий взгляд  
Его, как гром, отталкивал назад,  
А сердце билось в ней так шибко, шибко,  
И по устам змеилась улыбка.

## 24

Пред зеркалом, бывало, целый час  
То волосы пригладит, то красивый  
Цветок пришпилит к ним; движенью глаз,  
Головке наклоненной вид ленивый  
Придав, стоит... и учится; не раз  
Хотелось мне совет ей дать лукавый;  
Но ум ее и сметливый и здравый  
Отгадывал всё мигом сам собой;  
Так годы шли безмолвной чередой;  
И вот настал тот возраст, о котором  
Так полны ваши книги всяким вздором.

## 25

То был великий день: семнадцать лет!  
Всё, что досель таилось за решеткой,  
Теперь надменно явится на свет!  
Старик-отец послал за старой теткой,  
И съехались родные на совет.

Их затруднял удачный выбор бала.  
Что? будет двор иль нет? — Иных пугала  
Застенчивость дикарки молодой;  
Но очень тонко замечал другой,  
Что это вид ей даст оригинальный;  
Потом наряд осматривали бальный.

26

Но вот настал и вечер роковой.  
Она с утра была как в лихорадке;  
Поплакала немножко, золотой  
Браслет сломала, в суетах перчатки  
Разорвала... со страхом и тоской  
Она в карету села и дорогой  
Была полна мучительной тревогой;  
И выходя споткнулась на крыльце.  
И с бледностью печальной на лице  
Вступила в залу... Станный шепот встретил  
Ее явленье: свет ее заметил.

27

Кипел, сиял уж в полном свете бал.  
Тут было всё, что называют *светом*...  
Не я ему названье это дал,  
Хоть смысл глубокий есть в названье этом.  
Своих друзей я тут бы не узнал;  
Улыбки, лица лгали так искусно,  
Что даже мне чуть-чуть не стало грустно.  
Прислушаться хотел я, — но едва  
Ловил мой слух летучие слова,  
Отрывки безыменных чувств и мнений —  
Эпиграфы неведомых творений!..





Н. С. ЛЕСКОВ



# ЛЕВША





*(Сказ о тульском косом левше  
и о стальной блохе)*

### *Глава первая*



Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, — и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, — Платов сказал себе:

«Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам».

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

## *Глава вторая*

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные громадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит, — только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот, — говорят, — какая у нас производительность, — и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канде-лабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах, — говорит, — как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски обращается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку подталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Пойдем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов. — Совсем того не понимаю», — и в таком рассуждении он два

раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

### *Глава третья*

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане все государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво?

А англичане и не знают, что это такое молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот, — говорят, — извольте видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик поплюнуть и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это, — отвечают, — не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет, — отвечают, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же, — государь говорит, — я его не вижу?

— Потому, — отвечают, — что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте, — говорят, — взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать и наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, — хотят серебряными пяточками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а

футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит: — Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, — говорит, — всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуйста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай. — И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, — говорит, — принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота<sup>1</sup>. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — все могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у



<sup>1</sup> «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов -Чеховской, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (Прим. автора.)

аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты, — говорит, — к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную кушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

## *Глава четвертая*

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, — а вернувшись в Петербург, передала эту диковинку со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, — но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, — никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он, как услышал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и все доволен, а я, — говорит, — пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это, — говорит, — так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, — и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это, — говорит, — ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или Сестербеке, — тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, — не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русским не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю проверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою, на свою досадную укушетку больше не ложись, а

поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

## Глава пятая

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, — говорят, — надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, — остановись и спылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть, — говорит, — будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, — я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, — тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

— Тонкой работы, — говорят, — мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе *что-нибудь* государеву великолепию достойное представить.

*А что именно, этого так-таки и не сказали.*

## Глава шестая

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косою левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветоваться там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда прибывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую

табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

## *Глава седьмая*

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петъ с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большому служению и пойдет в монастырь, то таковые слывут лучшими монастырскими экономками, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и пристрашного» — святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одет в сребропозлащенной одежде, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощью» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего неизвестно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, — не выскочат ли в перепуге и не объявятся ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда, — и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

## *Глава восьмая*

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов сам его из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возвратятся.

Так они и в Тулу прикатили, — тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которому блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан по-

срамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время требовалось в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

## *Глава девятая*

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще такую спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

## *Глава десятая*

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Все, — отвечают, — готово.

— Подай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и фореитор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, — видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду, — и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же, — отвечают. — Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые, ловил, ловил, — никак не мог ухватить ни блохи, ни

ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете, — мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, — мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врите же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косога левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди, — говорит, — здесь до самого Петербурга вроде пубеля, — ты мне за всех ответишь. А вы, — говорит свистовым, — теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит: «Гайда, ребята!»

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косога левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

## *Глава одиннадцатая*

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и по-

ставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответить, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велел спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без срока посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория, — говорит, — ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не смогли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

## *Глава двенадцатая*

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, — а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, а блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне так сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собою захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то, — говорит Платов, — что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе, — говорит, — такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят, — потому они его терпеть не могли за храбрость.

## *Глава тринадцатая*

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. — И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком — словом сказать, на все

стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить, — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали. — И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Эдак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь спросил:

— А как же надо?

— Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подроб-

ности под весь мелкоскоп подвести и отдельно посмотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко!

— А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Смотрите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

## *Глава четырнадцатая*

Стали подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы, — говорит, — был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, — говорит, — увидеть, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет, — отвечает левша, — моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому, — говорит, — что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, — там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отдрал.

Левша отвечает:

— Бог простит, — это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился, и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть, — говорит, — над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

## *Глава пятнадцатая*

Ехали курьер с левшой очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: *«Ай люли — се тре жули»*.

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, а и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал служающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглички спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, — он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера, — говорят, — мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как равного себе — за руки. «Камрад, — говорят, — камрад — хороший мастер, — разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, может быть, отравить с досады хотите.

— Нет, — говорит, — это не порядок: и в Польше нет хозяина больше, — сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукой крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня об-

ходились, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежившись, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это, — спрашивают, — за книга в России «Полусонник»?

— Это, — говорит, — книга, к тому относящаяся, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а тут вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом, — говорит, — спору нет, мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня, — говорит, — дома родители есть.

Англичане назвали, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы, — говорит, — к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы, — говорят, — обикнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого, — ответил левша, — никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие сохраним.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому, — отвечает, — есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие, — говорит, — что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают. — Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем, — говорит, — напрасно девушек морочить. — И отнекался. — Грандеву, — говорит, — это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане любопытствовали:

— А если, — говорят, — без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша объяснил наше положение.

— У нас, — говорит, — когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я се-го к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы, — говорят, — только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия, — отвечает левша, — нет, а только опасаясь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же, — говорят, — ваш фасон лучше?

— Наш фасон, — отвечает, — в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не смогли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом, — говорят, — мы его на своем корабле привезем и живого в Петербург доставим.

На это он согласился.

## Глава шестнадцатая

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, — и пошли они левшу водить и все ему показывать.

Он смотрел все их производство: и металлические фабрики и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые шиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, — на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит, что на цифирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимания обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет, — засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли, — говорит, — я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно-быть, глядели.

— А как, — говорит, — они были: в перчатках или без перчатки?

— Ваши генералы, — говорят, — парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его больше удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр, — говорят, — смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно, — отвечает, — где умереть, — все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет, — отвечает, — мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка делается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец, — говорит, — рус! Выпьем!  
Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так, — отвечал полшкипер, — так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, — скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо, — говорит, — идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это, — говорит, — не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

## *Глава семнадцатая*

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать, — а горячего студингу с огнем им не

подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, а пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

## *Глава восемнадцатая*

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откуда, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправивать.

Повел городской левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал; потом поймал городской извозчика, только без теплой лисы, потому они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухирвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и как в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подле-

карь сказал городовому везти его в простонародную Обуховскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадили.

А англицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.  
Оделся и побежал.

## *Глава девятнадцатая*

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы, — говорит, — два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клеймихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человеческина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человеческину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают, — а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать

могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этой верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, — тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», — так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя, — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

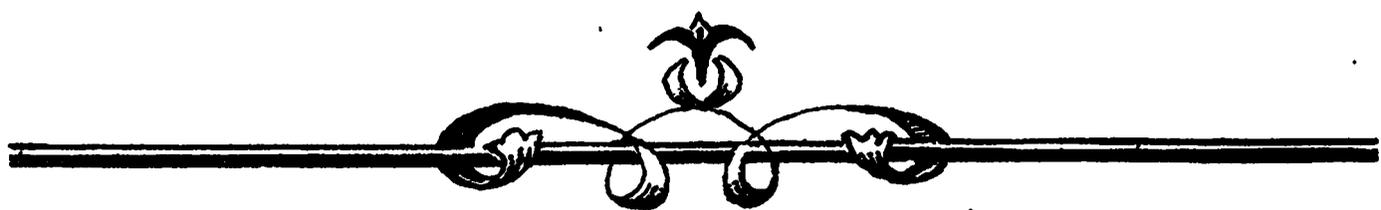
## *Глава двадцатая*

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народной фантазией миф он интересен, а его происхождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство

талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душой».

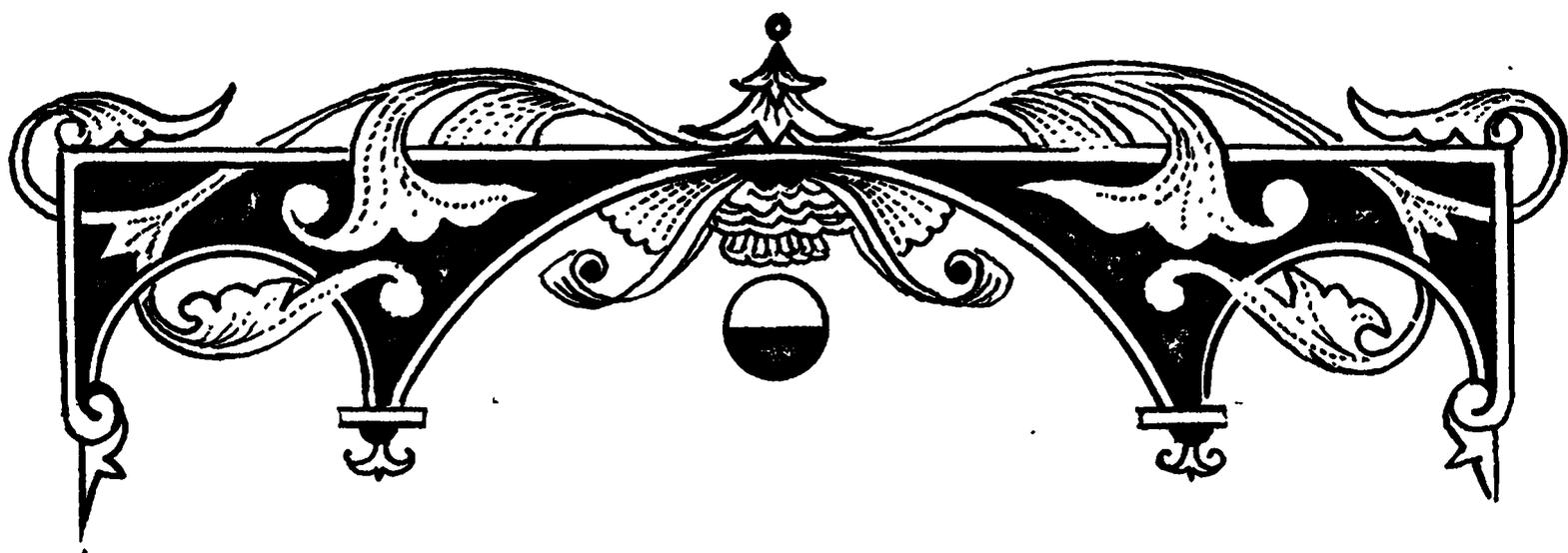




М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

МЕДВЕДЬ  
НА  
ВОЕВОДСТВЕ





## МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ



*Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными, и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.*

### І. Топтыгин 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать, следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он все на одно поворачивал: кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор, — говорили они: — засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый михайлов день, и сейчас же решил: быть на завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику. Особенный это был чижик, умный: и ведерко таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: увидите, что наш чижик со временем поноску носить будет! Даже до Льва об его уме слух дошел; и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): хоть одним бы ухом послушал, как чижик у меня в когтях петь будет!

Но как ни умен был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: беспрременно это должен быть внутренний супостат!

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он наконец.

Улететь бы чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел; сгреб грубияна в лапу да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин: — меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: делай знатные дела, от бездельных же стерегись! а я с первого же шага чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!

Он — за вороной, ан из-за куста зайчика выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижика съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— *Risum teneatis, amici!*<sup>1</sup> Чижика съел!

Лягушка в болоте квакнула:

— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить — и все мимо. И что больше старается, то у него глупее



<sup>1</sup> Воздержитесь от смеха, друзья!

выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор чижику съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он натко что сделал! И куда ни направит Михайло Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: дурень ты, дурень! чижику съел!

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впилась, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако, все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: дурак! чижику съел!

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умалывается. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его насмех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица чижику, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию на век изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходилось сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети! Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: дурак! чижику съел! Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... чижику! скажите на милость! чижику! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и даль-

ние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение что значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло: — а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин при упоминании об ней задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Осла слышал, что даже Лев ее боится: нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть! История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он для начала стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал — ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел — и первым делом чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык — все будут говорить: майора Топтыгина послали супостата покорить, а он вместо того чижика съел! Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напередки проходу им школяры не дадут, будут кричать: чижика съел! чижика съел! Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «дурак! чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему ка-

дочку с медом в презент при рапорте отослал): непременно вам нужно особое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иваныч и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малинике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать да кстати целый лес основ выворотил. Наконец, забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись. Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на оловом докладе сбоку нацарапал: «не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Топтыгин, который маво любимова Чижика сие!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографией начал, — быть бы ему теперь генералом.

## II. Топтыгин 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однакож, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и при-

поминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставаяючи, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («*similia similibus curantur*»<sup>1</sup>), но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, помер.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, — сказал он себе: — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой, — говорит: — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пушу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провалилась. Повис майор на воздухе; видит, что неминуемое дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи



<sup>1</sup> «Подобное подобным излечивается».

крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А нутко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли на болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодеяния могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодеяния срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодеяний на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодеяниям, каковы бы ни были их размеры, присвоится наименование «срамных».

По докладу о сем Осла Лев собственноручно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

### III. Топтыгин 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва: — мало напакостишь — поднимут насмех; много напакостишь — на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» — но Осел ответил уклончиво: «все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем на все его дальнейшие доуки и настояния Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й: — чин на тебя большой накладывают, а злодеяниями его подтвердить, — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: полно, ехать ли? и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно истор-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминая, а на сердце у него жутко: чувствует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос — вот какие твои права! У *них* — права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! *Они* друг друга поедом едят, а он задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы кто ему разрешил?» — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы дости-

гать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и не благополучный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодеяния устраивать, а довольствоваться злодеяниями «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок», — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодеяний недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем, и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодеяниях, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе Осел говорил:

— Об каких это вы все злодеяниях допрашиваете? Главное в нашем ремесле — это: *laissez passer, laissez faire!*<sup>1</sup> Или, по-русски выражаясь: дурак на дураке сидит и дураком погоняет! Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодеяние само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них... — слиберальничал было майор, но, вспомнив о



<sup>1</sup> Предоставить свободу действий!

присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решил выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу, как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

## ОБМАНЩИК-ГАЗЕТЧИК И ЛЕГКОВЕРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Жил-был газетчик и жил-был читатель. Газетчик был обманщик — все обманывал, а читатель был легковерный — всему верил. Так уж исстари повелось на свете: обманщики обманывают, а легковерные верят. *Suum cuique*<sup>1</sup>.

Сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает. «Берегитесь! говорит: дифтерит обывателей косит!» «Дождей, говорит, с самого начала весны нет — того гляди, без хлеба останемся!» «Пожары деревни и города истребляют!» «Добро казенное и общественное врозь тащат!»

А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. «Такая, говорит, уж у нас свобода книгопечатания: куда ни взгляни — везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай...»

Дальше — больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись, — начал еще пуще поддавать.



<sup>1</sup> Всякому свое.

«Никакой, говорит, у нас обеспеченности нет! не выходи, говорит, читатель, на улицу: как раз в кутузку попадешь!» А легковёрный читатель идет гоголём по улице и приговаривает: «ах, как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился!» Мало того: другого легковёрного читателя встретит и того спросит: «а читали вы, как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» — «Как не читать! ответит другой легковёрный читатель: бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам ходить — сейчас в кутузку попадешь!»

И все свободой книгопечатания не нахвалятся. «Не знали мы, что у нас везде дифтерит, хором поют легковёрные читатели: — ан оно вон что!» И так им от этой уверенности на душе легко стало, что скажи теперь этот самый газетчик, что дифтерит был, да весь вышел, пожалуй, и газетину его перестали бы читать.

А газетчик этому рад, потому для него обман — прямая выгода. Истина-то не всякому достается — поди, добивайся! — пожалуй, за нее и десятью копеечками со строчки не отбояришься! То ли дело обман! Знай пиши да обманывай. Пять копеек со строчки — целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут!

И такая у газетчика с читателем дружба завелась, что и водой их не разольешь. Что больше обманывает газетчик, то больше богатеет (а обманщику чего же другого и нужно!); а читатель, что больше его обманывают, то больше пятаков газетчику несет. И распивочно, и на вынос — всяко газетчик копейку зашибает!

«Штанов не было! — говорят про него завистники: — а теперь, смотрите, как козыряет! «льстеца» себе нанял! рассказчика из народного быта завел! Блаженствует!»

Пробовали было другие газетчики истиной его подкузьмить — авось, дескать, и на нашу приваду подписчик побегит, — так куда тебе! Не хочет ничего знать читатель, только одно и твердит:

*Тьмы низких истин мне дороже  
нас возвышающий обман...*

Долго ли, коротко ли так дело шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалели легковёрного читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорят ему: будет с тебя, бесстыжий и неверный человек! До сих пор ты торговал обманом, а отныне — торгуй истиной!

Да, кстати, и читатели стали понемножку отрезвляться, стали цыдулки газетчику посылать. Гулял, дескать, я сегодня

ня с дочерью по Невскому, думал на Съезжей ночевать (дочка даже бутербродами на случай запаслась, — говорила: ах, как весело!), а вместо того благополучно оба воротились домой... Так как же, мол, такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей необеспеченности согласовать?

Натурально, газетчик, с своей стороны, только того и ждал. Признаться сказать, ему и самому надоело обманывать. Сердце-то у него давно уже к истине склонялось, да что же поделаешь, коли читатель только на обман клюет! Плачешь да обманываешь. Теперь же, когда к нему со всех сторон с ножом к горлу пристают, чтоб он истину говорил, — что ж, он готов! Истина, так истина, чорт побери! Обманом два каменных дома нажил, а остальные два каменные дома приходится истиной наживать!

И начал он каждый день читателя истиной донимать! Нет дифтерита, да и шабаш! И кутузок нет, и пожаров нет; если же и выгорел Конотоп, так после пожара он еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившим теплым дождям, оказался такой, что и сами ели-ели, да, наконец, и немцам стали под стол бросать: подавись!

Но что всего замечательнее — печатает газетчик только истину, а за строку всё пять копеек платит. И истина в цене упала с тех пор, как стали ею распивочно торговать. Выходит, что истина, что обман — все равно, цена грош. А газетные столбцы не только не сделались оттого скучнее, но еще больше оживились. Потому что ведь ежели благо-растворение воздушных в плотную разделявать начать — это такая картина выйдет, что отдай всё да и мало!

Наконец, читатель окончательно отрезвился и прозрел. И прежде ему недурно жилось, когда он обман за истину принимал, а теперь уж и совсем от сердца отлегло. В булочную зайдет — там ему говорят: надо быть, со временем хлеб дешев будет! в курятную лавку заглянет — там ему говорят: надо быть, со временем рябчики нипочем будут!

— Ну, а покудова как?

— Покудова рубль двадцать копеечек за пару!

Вот какой, с божьею помощью, поворот!

И вот, однажды, вышел легковёрный читатель франтом на улицу. Идет, «в надежде славы и добра», и тросточкой помахивает: знайте, мол, что отныне, я вполне обеспечен!

Но на этот раз, как на грех, произошло следующее.

Не успел он несколько шагов сделать, как случилась юридическая ошибка, и его посадили в кутузку.

Там он целый день просидел, не евши. Потому что хоть его и потчевали, но он посмотрел-посмотрел, да только молвил: вот они, урожаи-то наши, каковы!

Там же он схватил дифтерит.

Разумеется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки (неровен случай, и опять понадобится). Он возвратился домой и умер.

А газетчик-обманщик и сейчас жив. Четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает: чем ему напередки легковерного читателя ловчее обманывать: обманом или истиною?

## БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ

*Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.*

*Б р э м.*

Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» — история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других — для сала, третьих — ради теплых овчин, четвертых — ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месятки, предлагаемых ему в пищу.

Однако, грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну ме-

святку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось; но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа...

— Овца! а овца! что я такое во сне видел? — спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

— Спи, выдумщик! — сердито отвечала овца: — не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение *умных* баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил: смотрите!

И вдруг этот сон... Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блеёт:

— Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозо́фом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шленской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде с триумфом в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава — и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднотлюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеёт, а они, овцы, между тем ходят яловы!

— Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует! — жаловались овцы овчару Никите: — как бы нам за него, за фофана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

— Успокойтесь, милые! — обнадежил их Никита: — завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем — шелковый будет!

Однако, расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дремá уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье делается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: не на скотном дворе этому барану место — ему бы бурмистром следовало быть!

Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы, и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то сдуру искал, а чего именно — сам себе объяснить не мог... Баран, да еще меланхолик — что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?!

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу — и не может дать ответ на вопрос: что такое свет, простор, свобода...

По мере учащения снов волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому:

— Коли ты в бараньем сословии уродился, — говорил он солидно: — в ем, значит и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее с течением времени тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран, — очевидно, с предвзятым намерением, — с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность...

В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел и, наконец, сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того, как

неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели об нем. Все знали, что он честный и бодрый баран и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье, вовсе баранам не свойственное, но в то же время, — как многие инстинктивно догадывались, — делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле — нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

— Плакали мои денежки, — говорил он: — но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!

И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне все спало. Овцы, понутив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее блянье вырвалось из его груди...

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушел в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов...

Еще минута — и он дрогнул в последний раз. За сим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.

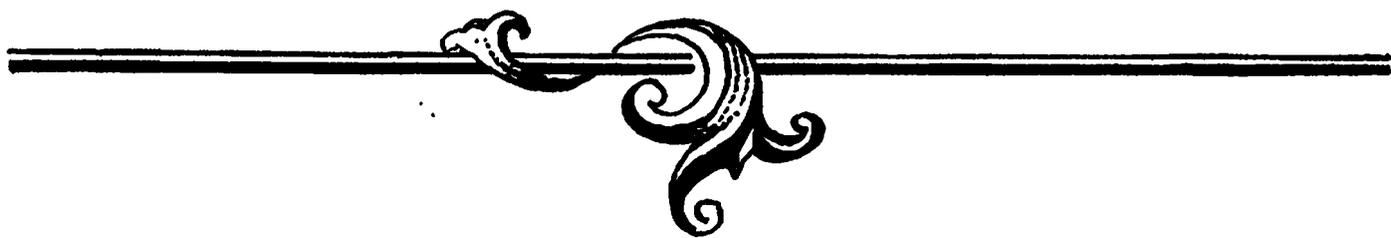
— И что за причина такая? — сетовал он вслух: — все был баран как баран, и вдруг словно его осенило... Никита! ты пятьдесят лет в овчарах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

— Стало быть, «вольного барана» во сне увидел, — ответил Никита: — увидеть-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает...

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

— Сие да послужит нам уроком! — похвалил он Никиту: — в другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месячки. И овцы к тебе будут ласковы... Так ли, Никита?

— Это так точно, Иван Созонтыч! — отозвался Никита.



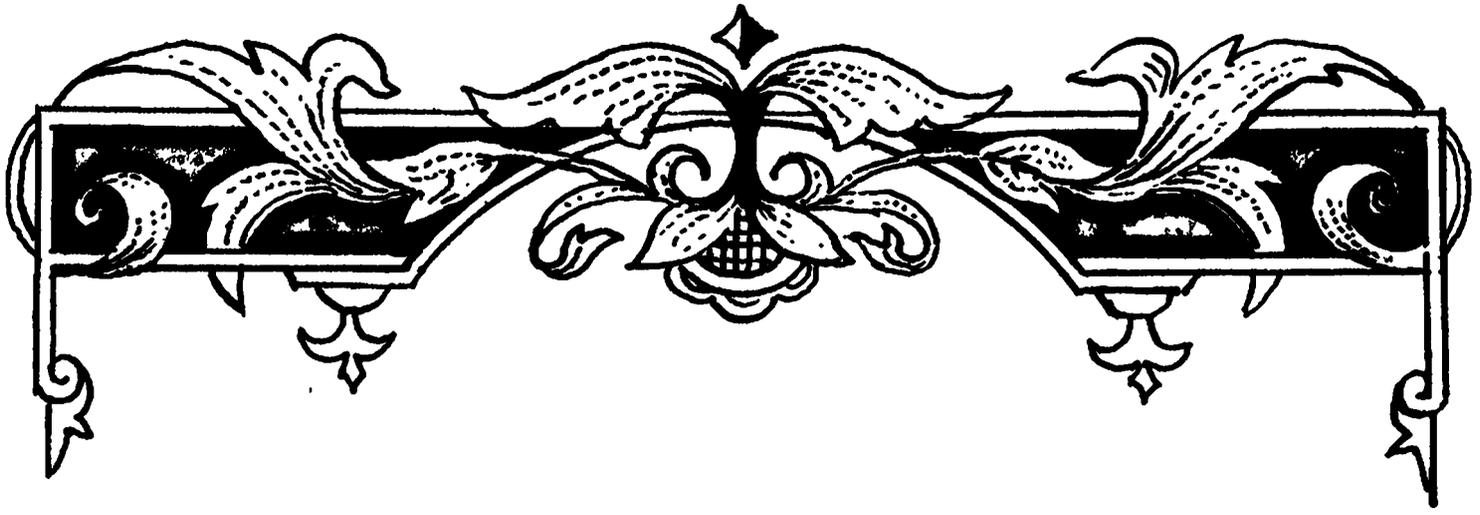


П. П. БАЖОВ

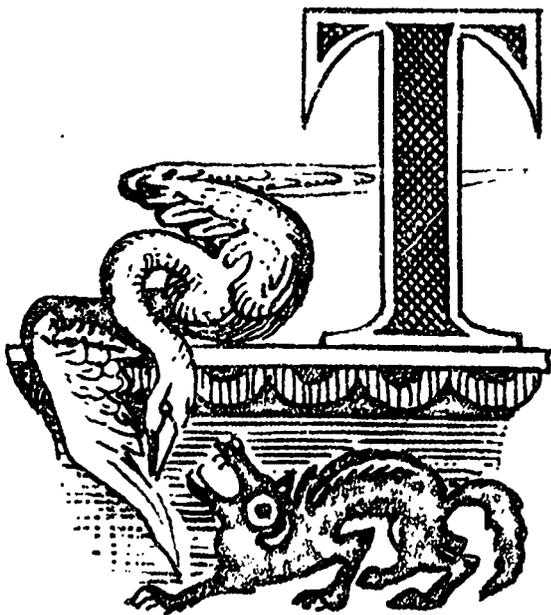


**ЕРМАКОВЫ  
ЛЕБЕДИ**





## ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ



**Т**ак, говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел? Куда никто из наших не бывал, туда он со всем войском по рекам проплыл?

Ловко бы так-то! Сел на Каме, попотел на веслах, да и выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то вон, сказывают, до самого Китаю плыви — не тряхнет!

На словах-то вовсе легко, а попробуй на деле — не то запоешь! До первого разводья доплыл, тут тебе и спотычка. Столбов не поставлено и на воде не написано: то ли тут протока, то ли старица подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай, — направо плыть али налево правиться? У куличков береговых, небось, не спросишь и по солнышку не смекнешь, потому — у всякой реки свои петли да изгибы и никак их не угадаешь.

Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая. На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет, чем по самому дикому лесу пробираться. Главная причина — приметок нет, да и не сам идешь, а река тебя ведет. Коли ты вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь, а можешь и вовсе с головами загубить.

Это по нынешним временам так-то, а в Ермакову пору

и того мудренее было. Тогда, поди-ка, не то что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из здешних рек одну Каму знали да Чусовую маленько, а про Туру да Иртыш слыхом не слыхали. Вот и рассуди, как при таком положении заезжий человек пути-дороги по рекам разберет. Листов-то, на коих всяка речка-горочка обозначены, тогда и в помине не было, и жоака не найдешь, потому — никто из наших в той стороне не бывал.

Нет, брат, зряшный твой разговор выходит! Чусовские старики об этом складнее сказывают.

Так будто дело-то было.

Когда еще по нашим местам ни одного города, ни одного завода либо села русского не было, у Строгановых на Чусовой реке сельцо было поставлено. Сельцо малое, а городом называлось, потому — крепко было огорожено. Канавы кругом, вал земляной, а по валу тын из высоких бревен-стояков. С двух сторон ворота надежные поставлены, да еще башни срублены. На случай, чтоб оттуда стрелять либо камнями бросать, а то и кипятком поливать, коли кто непрошенный ломиться станет. И ратные люди в этом Чусовском городке жили. Ну, и крестьяне тоже.

В том числе был Тимофей Аленин. По доброй воле он туда пришел али ссылкой попал — это сказать не умею, только жил семейно. И было у него, ровно в сказке, три сына, только дурака ни одного. Все ребята ладные да разумные, а младший Васютка из всех на отличку. И лицом пригож, и речами боек, и силенкой не по годам вышел.

Хоть говорится, что атаманами люди не рождаются, а все-таки смолоду угадать можно, кому потом кашу варить, кому передом ходить.

Своей-то ровней этот Васютка с малых лет верховодил, а любимая забава у него была в развед ходить.

У ворот-то, дескать, стоять — не много увидишь, вот он и сбил из своих ровесников ватажку копейщиков, с сажеными, значит, палками. Караульным при воротах, конечно, сказано было, чтобы одних мальцов без большого за городской тын не выпускать, только этот Васютка нашел дорогу. Он что придумал? Подойдет к тыну с веревкой, прислонит свою палку-копье к стене, захлестнет верхушку столба петель, взлепитя по узлам веревки на тын, перекинет первым делом свое копье на другую сторону, спустится туда же сам и палкой петлю снимет, да и покрикивает:

— Ну, кто так же?

Кому из ребят это сделать не под силу, того сейчас же из игры долой.

— Нам таких копейщиков со слабиной не надо!

За такую игру Васютке да и другим ребятам не раз доставалось от больших, да только ребятам все нейдет. Нет-нет — и утянутся за городской тын.

Вот раз убрались в лес далеконько, да и потеряли друг дружку из виду. Кто побоязливее, те сразу крик подняли и живо сбежались. Одного Васютки нет. Что делать? Хотели сперва домой бежать, да постыдились: как мы своего жожака оставим.

Стоят, значит, у какой-то речки да кричат, сколько голосу есть. Потом насмелились, вверх по речке пошли, а сами, знай, свистят да ухают.

А с Васюткой такой случай вышел. Он по этой же речке вверх далеко зашел. Вдруг слышит — шум какой-то. Васютка хотел повернуться, да спохватился:

— Так-то меня скорее услышат.

Он и прижался в кустах. Сидит, слушает. Шум близко, а понять не может, кто шумит. Васютка тогда взмогнулся потихоньку на сосну, огляделся и увидел... Выше-то речка надвое расходится. Островок тут пришелся. Островок высоконький, полой водой его не зальет. Поближе к воде таловый куст, а из него лебедь шею вытянул, да и шипит по-гусиному, вроде как сердится. По речке, прямо к тому месту, медведь шлепает. Мокрехонек весь. Башкой мотает, а сам рычит, огрызается. На него другой лебедь налетает, крыльями бьет, клювом с налету долбит. Лебедь, конечно, птица большая. Крылья распахнет, так шире сажени. Понимай, какая в них сила! И ноготок на носу, хоть красный, а не из клюквы. Долбанет им, так медведь завизжит, завертится, как собака. Ну, все-таки где же лебедю с медведем сладить? Изловчился Мишка, загреб лебеда лапами, и только перья по речке поплыли. Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на медведя налетел. Только медведь и этому голову свернул и поволок на бережок, а сам ревет, будто жалуется, — вот как меня лебеди отделали! И лапой по глазам трет.

Вытащил убитого лебеда на травку береговую, почавкал маленько, да не до того, видно, ему. Нет-нет и начнет возить лапой под глазами. Потом что-то насторожился, уши поднял и морду вытянул. Постоял так-то, затряс башкой.

— Фу ты, пакость какая!

Забросал лебеда сушняком, прихлопнул ворох лапой, да в лес. Только сучья затрещали.

Как стихло, Васютка слез с дерева и пошел ко гнезду, — что там? Оказались лебединые яйца. Они на гусиные походят, только много больше и позеленее кажутся. Пощупал рукой, — они вовсе теплые, нисколько не остудились. Васютке жалко лебедей-то, он и подумал:

— А что если эти яички под баушкину гушишку подсунуть? Выведутся, поди-ко? Как бы только их в целости донести да не остудить?

Вытряхнул из своего мешка хлеб, надрал сухого моху, набил им мешок да туда и пристроил три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не разбить. И то подумал, — много-то взять, баушка скорее заметит.

Устроил все, да и пошел вниз по реке. Про то и не подумал, что заблудился. Знает, что речка к Чусовой выведет. Подошел маленько, слышит — ребята кричат да свистят! Тут Васютка и догадался, почему медведь убежал.

Известно, зверь и ухом, и носом дальше нашего чует, и человеческого голосу не любит. Услышал, видно, ребят-то, да и убежал.

Откликнулся Васютка на ребячьи голоса. Скоро все сошлись, и Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята как услышали про медведя, так и заоглядывались, — вдруг выскочит, — поскорей зашагали к дому. В другой раз Васютка настыдил бы за это своих копейщиков, а тут не до того ему. Об одном забота — как бы в сохранности свою ношу донести.

У Васютки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила баушка Ульяна. Старуха строгая, поблажки внучатам не давала, да и на отца частенько поварчивала.

Первым делом на Васютку накинулась: где шатался? Ну, он отговорился:

— За мохом в лес ходил. Угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тяте говорила, да он все забывает. Я вот и притащил полный мешок. Только мокрый мох-то, подсушить его надо на печке.

И сейчас же на печь залез.

Баушка еще поворчала маленько, спросила — с кем ходил да почему не сказался, потом и наказывает:

— Ты потоньше расстели. По всей печке!

Васютке того и надо. Забился подальше на печь, вытащил лебединые яички, завернул их в тряпки, положил на самое теплое место, а мох по всей печке раструсил.

Как темно стало, шапку зимнюю одел, взял яички и полез к гушишке, которая на гнезде сидела. Та, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, в руки, а он свое делает.

Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые.

Гусишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца, а все ж таки чужие не выбросила. Баушка подходила поглядеть, да тоже не разглядела, подивилась только:

— Какие-то ноне яйца неровные. Которые больше, которые меньше! К чему бы это?

Васютка знай помалкивает, а чтоб улики не было, он вытащенные из гнезда яйца за городской тын выбросил.

Так оно и прошло незаметно. В одном не сошлось: гусиные яйца еще ничем-ничего, а лебедята уже проклюнулись, запопискивали. Баушка Ульяна всполошилась:

— Что за штука? До времени гусята вылупились! Беспременно это к мору либо к войне!

Гусь этих своих новых детей к себе не подпускает, и гусишка, как виноватая, ходит, а все ж таки лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех старается. Прямо не отходит, поит их, кормит вовремя. Баушка, на что строгая, и та похвалила Васютку перед старшими братьями.

— Вы, лбы, учились бы у малого, как баушке пособлять! Гляди-ко, вон он и моху притащил и за гусятами ходит, а вы что? Из чашки ложкой — только и есть вашей работы!

Братья знали, в чем штука, посмеиваются:

— Осенью, баушка, по-другому не заговори!

Баушка пуще того сердится, ухватом грозит, — уходи, значит, а не то попадет.

К осени, и верно, обозначилось, что у Алениных лебеди растут. Соседки подсмеиваются над баушкой Ульяной: не доглядела, вырастила лебедей, а куда их, коли колоть за грех считалось. Баушка — старуха нравная, ей неохота свою оплошку показать, она и говорит:

— Нарочно так сделала. Принес внучонок лебединые яйца, вот и захотела узнать, улетят лебеди али нет, если гусишка их выведет.

На Васютку все ж таки косо заглядывала:

— Вон ты какой! Еще от земли невысоко поднялся, а какие штуки вытворять придумал!

У Васютки свое горе. Два-то лебеденка стали каждый день драться. Прямо насмерть бьются, и не подходи — сшибут, не заметят. А третий лебеденок в драку никогда не вяжется, в сторонке ходит.

Кто-то из больших и объяснил Васютке:

— Это, беспременно, лебедка, а те, видно, лебеди. Пока

один другого совсем не отгонит, всегда у них драка будет. Как бы насмерть друг дружку не забили!

Баушка, на эту драку гляючи, вовсе взъедаться на Васютку стала, а он и так сам не свой, не придумает, как быть? Кончилось все-таки тем, что один лебеденок с реки не вернулся. Остались двое, — и драки не стало.

Утихомирилось, ровно, дело, а баушка Ульяна пуще того взъедаться стала. Видит, дело к зиме пошло, она и думает, сколько корму этой птице понадобится, а толку от нее никакого, если колоть нельзя. Ну, баушка и давай лебедей отгонять. С метлой да палками за ними бегают. Лебеди тоже ее невзлюбили: не тот так другой налетит, с ног собьет да еще клювом стукнет.

Тут старуха и говорит сыну решительно:

— Что хочешь, Тимофей, делай, а убирай эту птицу со двора, не то сама уйду, — правься, как знаешь, с хозяйством!

Васютка видит — вовсе плохое дело выходит, приуныл. Дай, думает, хоть замечочку какую-нибудь сделаю: может, когда и увижу своих лебедей. Взял и привязал на крепкой ниточке каждому на шею по бусинке: лебедю — красненькую, лебедушке — синенькую. Те будто тоже разлуку чувствуют, — так и льнут к Васютке, а он со слезами на глазах ходит. Ватажка — копейщики-то — подсмеиваться даже стала:

— Завял наш вожачок!

Только Васютка вовсе и не стыдится.

— До слез, — говорит, — жалко с лебедями расставаться. Улетят ведь и забудут про меня!

Лебеди ровно понимают этот разговор. Подбегут к Васютке, шеи свои ему под руку подсунут, будто поднять собираются, головами прижимаются да потихоньку и переговариваются:

— Клип-анг, клип-анг!

Дескать, будь спокоен — не забудем, не забудем!

Как вовсе холодно стало да потянулась вольная птица в полуденную сторону, так и эти лебеди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной опять в этих местах появились.

Только к Тимофею на двор больше не заходили, а где увидят Васютку, тут к нему и подлетят, поласкаются.

Да еще баушку Ульяну подшибли, как она на гору с ведрами шла. Не сильно все ж таки, а так только попугали да водой оплеснули, вроде пошутили. Помним, дескать, Ва-

сюткину ласку и твою палку не забыли. Такой тебе от нас и ответ!

Дальше так и повелось. Как зима — лебедей не видно, а весной и летом хоть раз да к Васютке подлетят. Потом он сам научился их подманивать. Выйдет на открытое место да крикнет, как они:

— Клип-анг, клип-анг!

Вскорости который-нибудь, а то и оба прилетят, только крылья свистят, будто тревожатся, — не обидел ли кто Васютку. Если близко человек случится, его так с налету шарахнут, что сразу на землю кувыркнется. А к Васютке заковыляют, шеи чуть не по земле вытянут, крыльями взмахивают, шипят да подпрыгивают, как домашние гуси, когда к корму идут, — радуются.

Ну, вот... за летом зима, за зимой лето... Сколько их прошло, не считал, а только из Васютки такой парень выправился, что заглядеться впору. И речист, и плечист, умом и хваткой взял и лицом не подгадил: бровь широкая, волос мягкий, глаз веселый да пронзительный.

Из тысячи один, а то и реже такой парень выходит, и должность себе хорошую доступил. Парень приметливый да памятный и новые места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, только дай сплавать, где еще не бывал. Вот он и узнал лучше всех речные дороги. Всех стариков, которые при этом деле стояли, обогнал.

Строгановы, понятно, заметили такого парня, кормщиком его поставили и похваливать стали:

— Хоть молодой, а с ним отправить любой груз надежно.

Скоро Тимофеича по всем строгановским пристаням узнали. Удачливее его кормщика не было. Как дорогой груз да дорога мало ведома, так его и наряжают.

И с народом у Василья обхождение лучше нельзя. Любили парня за это. С ребячьих лет кличка ему ласковая осталась — наш Лебедь.

С женитьбой у Василия заминка вышла. Все его товарищи давно семьями обзавелись, а он в холостых ходил, и отец его не неволил: как сам знаешь. Ну, вот видит Василий — пора, и стал лебедушку подсматривать.

Такому парню невесту найти какая хитрость! Любая бы девка из своей ровни за него с радостью пошла, да он, видно, занесся маленько. Тут у него оплошка и случилась.

В Чусовском городке, конечно, начальник был. Воеводой ли — как его звали. А у этого воеводы дочь в самой

невестиной поре. Василий и стал на ту деваху заглядываться.

Родня да приятели не раз Василью говаривали:

— Ты бы на эти окошки вовсе не глядел. Не по пути ведь! А то, гляди, еще бока намнут.

Только в таком деле разве сговоришь с кем, коли к сердцу припало. Не зря сказано — полюбится сова, не надо райской пташки. Зубами скрипнет Василий:

— Не ваше дело! — А сам думает:

«Кто мне бока намнет, коли у самого плечо две четверти и кулак полпуда».

Деваха та, воеводина-то дочь, по всему видать, из обманных девок пришлась. Бывает ведь, — лицом цвѣток, а нутром — головешка черная. Эта деваха хоть ласково на Василья поглядывала, а на уме свое держала. Раз и говорит ему из окошка тихонько, будто сторожится, чтоб другие не услышали:

— Приходи утром пораньше в наш сад. Перемолвиться с тобой надо.

Василий, понятно, обрадовался. На заре, чуть свет, забрался в воеводский сад, а тут его пятеро воеводских слуг давно ждали, и мужики здоровенные на подбор. Сам воевода тут же объявился, распорядок ведет:

— Вяжи холопа! Волоки на расправу!

Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай гостинцы сыпать: кому — в ухо, кому — в брюхо. Всех разметал, как котят, а сам через загородку перемахнул. Шум, понятно, вышел. Еще люди набежали, а воевода, знай, кричит:

— Хватай живьем!

Василий видит — туго приходится, к Чусовой кинулся. Ворота городские по ранней поре еще заперты, да ему что! Сорвал с себя пояс, на бегу петлю сделал, захлестнул за стояк да старым обычаем и перекинулся за городской тын. Выбежал на берег, выбрал лодочку полегче да шест покрепче и пошел по Чусовой кверху.

Время, видишь, вешнее. Чусовая в полную силу шумела. На веслах вверх не выгребешь и с шестом умеючи надо, чтоб, значит, все гривки-опупышки на дне хорошо знать. Василий и понадеялся на свою силу да сноровку.

— Ну, кому, дескать, по такой воде меня догнать.

Только не так вышло.

Сколь ведь силы ни будь у человека и хоть как он реку ни знай, а не уйти ему против воды от погони, коли там шесту веслами помогают и смена есть. Как на грех, в одном

месте промахнулся — ткнул шестом, а не маячит: дна не достает. Лодку и закружило. Пока Василий справлялся, погоня — тут она. На трех лодках человек, может, сорок, а то и больше. Одно Василью осталось — в воду и на берег, а там что будет. Только тоже дело ненадежное: чует, что из сил выбился, да и весной в лесу мудрено прятаться, — потому след сдалека видно.

Воевода на задней лодке на корму взмогнулся, будто сам правит. Увидел Васильеву неустойку — радуется:

— А, попался, холопья душа!

Василий оглянулся, хотел ответным словцом воеводу стегнуть и видит — высоко в небе над рекой два лебедя летят. И от солнышка видно, что на шеях у них как искорки посверкивают.

Обрадовался Василий, куда и усталость ушла, во весь голос закричал по-лебединому:

— Клип-анг, клип-анг!

А лебеди знают свое дело. Сверху-то, видно, все разглядели.

Налетел один на заднюю лодку и так крылом воеводушибанул, что тот вниз головой в воду бултыхнул. Другой лебедь на передней лодке двух шестовых опрокинул, да и весловых успел погладить: у кого нос в крови, у кого на лбу шишка.

Большая у погони заминка вышла: воеводу из воды добывать пришлось. Мужик сырой да тяжелый, а вешняя вода, известно: легкая да игривая. Любо ей со всякой колодиной побаловаться. Подхватила она воеводу и давай крутить — вот-вот пузыри пустит. Поймали все-таки, выволокли. Чуть живой с перепугу, зуб на зуб не попадает, а свое не забыл:

— Живьем хватайте! Не уйти ему.

А чего не уйти, коли Василья давно не видно. Лебеди сполоху погоне наделали, сели на воду, подплыли к Васильевой лодочке, один справа, другой слева кормы как зажали лодку-то, да и повели так, что лес на берегу бегом побежал. Известно, против лебедя на воде птицы нет. Сдаля поглядеть — будто не шевельнется, а попробуй — поровняйся с ним!

Так и потерялся Василий. Сколько воевода ни гонял людей, даже следа не видали. И то сказать, побаивались воеводские посланцы далеко по реке заходить, а Василий с лебедями всю Чусовую до краю прошел. Все речки-старички изведаль, да и в окружности поглядел. Любопытствовал к этому.

Вот тогда ему, может, первому из наших и довелось сибирской водицы из Тагила-реки испить. Дошел, видишь, до какой-то неведомой речки и по уклону понял, что она на восход солнца пошла. Василия и потянуло, — что там, дальше-то, да лебеди заартачились, крыльями замахали: не выдумывай! Василий их и послушался, не пошел по Тагилу.

Эти лебеди в то лето и гнезда себе не вили, все около Василия старались. Мало что от воеводы ухранили да речные дороги показали, они еще открыли ему все здешнее богатство.

Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую, либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да камня. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие версты откроется: где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну, как есть все.

При таких лебедях, понятно, об еде да питье Василью и заботы не было. Подведут лебеди лодочку к какому-нибудь крутику, похлопают крыльями, и откроется в том крутике ходок, как проточка малая. Заведут лебеди лодку в эту проточку, а там как пещера выкопана, и в ней поесть и попить приготовлено.

Все бы ладно, да без людей тоскливо. И то Василью покою не дает — воеводина дочь из мыслей не выходит.

Думает, что она не по своей воле его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий и жалел эту деваху.

— Теперь, поди, взаперти сидит да слезы льет, моя горяшенька!

Тосковал-тосковал и надумал:

— Жив не буду, а вызволю ее!

Лебеди видят — к дому Василья потянуло, головами покачивают:

— Ни к чему придумал! Ой, ни к чему!

Дорогу все-таки не загораживают:

— Воли, дескать, с тебя не снимаем, — как хочешь!

Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, лебеди даже пособили ему. В один день лодку с самого верху до Чусовского городка довели. Посчитай, сколько на час придется!

Довели Василья до знакомых ему мест, поласкались маленько, как простились, а сами одно наговаривают:

— Клип-анг, клип-анг!

Вроде наказ дают: когда тебе надо, кричи нам!

Поднялись лебеди, улетели. Остался Василий один. Гребтится ему поскорее в город пробраться. Еле-еле поте-

мок дождался, даром что время к осени и темнеть рано стало.

В городок попасть, чтобы караульные не видели, Василью привычно. Переметнулся через тын, где сподручнее, и пошел по городку. Идет спокойно, ни одна собачонка не гавкает. Недаром, видно, говорится — на смелого и собаки не лают.

Хотел сперва Василий понаведаться к кому-нибудь из старых своих ватажников-приятелей, разузнать про здешние дела, да мимо родного дома как пройдешь. Любопытно Василью хоть через прясло поглядеть. Остановился он, постоял и чует — не так будто стало, не по-старому, а в чем перемена — понять не может.

«Дай, — думает, — погляжу поближе».

Перелез тихонько в ограду, походил в потемках-то — живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сенки, там крестовина набита — никто, значит, не живет.

— Что за беда стряслась? Куда все подевались?

Сел Василий на крылечко, задумался. В городке вовсе тихо. Только все ж таки еще копошатся люди. То двери скрипнут, то кашлянет кто, слово какое долетит.

И вот слышит Василий — близенько кто-то не то поет, не то причитает:

*Лебедь ты мой Васенька!  
Где летаешь ты, где плаваешь?  
Поглядет одним бы глазоньком,  
Перемолвиться словечушком!*

Поет эдак, собирает разные девичьи жалостливые слова про кручину свою лютую да про злу-разлучницу, как она насмеялася, угнала лебедя милого, загубила его батюшку родимого, милых братцев в беду завела.

Слушает Василий — про него песня сложена, голос густой да ласковый, а кто поет — доискнуть не может. Тут другой голос слышно стало. Вроде как мать заворчала:

— Опять ты за свое! Добры люди спать легли, а ей все угомону нет! Про лебедя своего воет! Возьму вот за косу! Не погляжу, что в сажень вымахала. Бесстыдница!

Тут только Василий понял, кто песню пел. В близком соседстве росла долгоногая да глазастая девчушка-хохотушка, Аленкой звали. Года на четыре, а то и на пять помоложе Василья. Он и считал ее маленькой, а того не приметил, как из нее выровнялась девица — голову отдай, и то мало! Да еще вон какие песни складывает!

Затихли голоса, и песни не стало, а все ж таки Василий чувствует — не ушла Аленка из ограды, на крылечке сидит.

Василья и потянуло на ласковый девичий голос. Выбрался из своей ограды, подошел к соседней избушке и окликнул потихоньку:

— Аленушка!

Та ровно давно этого ждала, сейчас же отозвалась:

— Что скажешь, Василий Тимофеевич?

Удивился Василий:

— Как ты в потемках меня разглядела?

Она усмехнулась:

— Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночью, как днем, а то и лучше.

Потом без шутки сказала:

— С вечера твоих лебедей углядела и подумала — скоро ты должен в городке объявиться. Вот и сидела, караулила да голос подавала, чтоб предупредить тебя.

Тут Алена и рассказала все по порядку.

Баушка Ульяна с весны померла. Воевода хоть лютовал, а семейных у Василья сперва не задевал. Да на беду сам Строганов приехал. Как узнал про побег, так принародно на воеводу медведем заревел:

— Бревно ты еловое, а не воевода! Гоняешь людей бестолку, будто им другого дела найти нельзя. Ты мне так сделай, чтобы утеклец сам повинную принес и чтоб другим неповадно было в бега кинуться! Поленом тут кормить надо, а не калачами.

И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, под батоги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, от старого до малого, отправить на самую тяжелую работу — соль в кулях перетаскивать к пристаням, а дом и все добро на себя перевел.

Дознался тоже Строганов, какие люди в карауле стояли, когда Василий ушел, и велел их батожем бить и на солетаску нарядить с той только разницей, что семейных у этих людей в своих избах оставил.

Как поехать из города, велел Строганов народ собрать и погрозился:

— Кто увидит утеклеца Ваську да не доведет мне, тому это же будет!

Сказывали потом, что Тимофей после батогов-то недолго проработал, а братья живы. Ну, а воеводина дочь

вскорости за строгановского приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывают, похвалялась — вот-де я какая, глазом мигну, так любого парня вокруг пальца оберну! Головы не пожалеет, прибежит по моему зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Василья, а сама батюшке сказала, чтоб хорошенько этого холопа проучил. Пусть свое место помнит!

Выслушал все это Василий, да и говорит:

— Спасибо тебе, Аленушка, осветила мне дорогу. Теперь знаю, что делать. Коли Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет! А ту змею ногой раздавлю! — Потом вздохнул: — Эх, не знал, не ведал, что моя лебедушка верная через двор живет.

Алена и отвечает:

— Слово скажи — за тобой пойду.

Василий подумал-подумал и говорит:

— Нет, Аленушка, не подходит это. Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдет. Семейно по ней не пройдешь.

— Коли, — отвечает, — так тебе сподручнее, вязать не стану. Иди один!

Василий притуманился:

— Ты, Аленушка, все ж таки подожди меня годок-другой!

Алена так и вскинулась:

— Об этом не говори, Василий Тимофеевич! Один ты у меня. Другого лебедя в моих мыслях весь век не будет.

Тут наслезилась она девичьим делом и подает ему узелок.

— Возьми-ко, лебедь мой Васенька! Не погнушайся хлебушком с родной стороны да малым моим гостинчиком. Рубахи тут да поясок браный. Носи — не забывай!

Подивился Василий вещему девичьему сердцу, как она вперед угадала, что придет, сам чуть не прослезился и говорит:

— Не осуди, моя лебедушка, коли худо про меня сказывать будут.

— Худому про тебя, — отвечает, — не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на весь век останешься!

На том они и расстались. Ушел Василий, никому больше не показался. Вскорости слух прошел: появились на строгановских землях вольные люди. В одном месте соленосов увели, в другом приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. Дальше заго-

ворили, — поселились будто эти вольные люди в береговой пещере пониже Белой реки и строгановским караванам проходу не дают. И вожаком будто у этих вольных людей Василий Кормщик.

Строгановы, понятно, забеспокоились. Чуть не целое войско снарядили. Тем людям, видно, трудно пришлось, — они и ушли, а куда — неизвестно. Слуху о них не стало. О Василье в городке и поминать перестали. Одна Аленушка не забыла:

— Где-то лебедь мой летает? Где он плавает?

Сколь отец с матерью ни бились, не пошла Алена замуж. Да и женихов у ней не много было. Она, видишь, хоть пригожая и на доброй славе была, а сильно рослая. Редкий из парней подходит ей в пару, а она еще подсмеивалась:

— Какой это мне жених! Ненароком сшибешь его локтем, — на весь городок опозоришь.

Так и осталась Алена одна век вековать. Как обыкновенно рукодельницей стала, — ткальей да пряльей. По всему городу лучше ее по этому делу не было. Да еще любила с ребяташками водиться. Всегда около нее много мелочи бегало. Алена умела всякого обласкать. Кого покормит, кого позабавит, кому песню споет, сказку скажет. Любили ее ребята, а матери прозвали Аленушку — Ребьячья Радость и, как могли, ей сноровляли.

Годы, конечно, всякого заденут: малому прибавят, у старого из остатков отберут, не пощадят. Отцвела и наша Аленушка. Присекаться волос стал, черную косу белые ниточки перевили, только глаза ровно еще больше да краше стали.

К этой поре старые хозяева Строгановы все перемерли. На их место сыновья заступили. Народу на Чусовой умножилось. Сибирского хана сын с войском нежданно-негаданно на Чусовской городок набежал. Еле отбились горожане. По этому случаю старики про Василия вспоминали:

— Вот бы был наш Тимофеич дома, не то бы было. Спозаранок бы он разведал про незваных гостей и гостинцев бы им припас не столько. Напередки забыли бы дорогу к нашему городу! Дорогой человек по этому делу был. Зря его загубили!

Вскорости после этого слух прошел — к Строгановым поволжские вольные казаки плывут, а ведет их атаман Ермак Тимофеевич.

— По всей Волге на большой славе тот человек. Не то

что бухарские и других земель купцы его боятся, и царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится. И ватага у того атамана на отбор.

У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтоб на свою руку побольше хапнуть. Он и других к тому не допускал. По этому правилу и ватагу составил. Чуть кто неустойку окажет, такого сейчас из ватаги долой.

— Нам, — скажет атаман, — с такой слабиной людей не надо. Как тебе ватага поверит, коли ты о себе одном стараешься. Иди на все стороны да со мной, гляди, напредки не встречайся, а то худой разговор выйдет!

И крепко то атаманское слово было. Не помилует и того, кто надумает поблажку в таком деле дать да и отговаривается, — не доглядел экого пустяка.

— Это, — отвечает атаман, — не пустяк, потому — может раздор в артели сделать. В первую голову всяк за этим гляди, чтоб у нас все шло на артель, в одну казну, в один котел!

За это будто атамана и прозвали Ермаком, как это слово по-татарски, сказывают, котел обозначает на всю артель. А Тимофеичем, видно, по отцу величают, как обыкновенно у нас ведется.

И еще сказывали, не любит атаман Ермак, чтоб ватажники себя семьями вязали. Сам одиночкой живет и других к тому склоняет:

— Трудная наша дорога. Не по такой дороге семейно ходить да гостей растить.

Слушает эти разговоры Алена и дивится:

— Его слова! И Тимофеичем величают. Не он ли? Лебедь мой, Васенька?

К осени опять слух донесся:

— К Строгановым на Каму приплыл атаман Ермак с войском. По осенней воде пойдут на стругах вверх по Чусовой сибирского хана воевать. Скоро атаман с казаками в Чусовском городке будет.

Все, понятно, ждут. Как пришла весточка, в какой день будут, весь народ из городка на берег высыпал, и Аленушка туда же прибежала.

Завиднелись струги. Легко против осенней воды на веслах идут. Песни казаки поют. Поближе подходить стали, в народе говорок пошел, как диво какое увидели.

Глядит Алена, а у переднего струга два лебедя плывут и на шеях у них как искорки посверкивают: у одного красненькая, у другого синенькая.

Как стали струги к берегу подваливать, лебеди поднялись с воды, покружились над городком и на восход солнца улетели.

Первым на берег атаман вышел. Годов за полсотни ему. По кучерявой бороде серебряные струйки пробежали, а поглядеть любо. Высок да статен, в плечах широк, бровь густая, глаз веселый да пронзительный.

Одет ровно попросту, — не лучше других казаков. Только сабля в серебре да дорогих каменьях.

Глядит Алена — он ведь! он самый! — а все признать не на смелится. Да тут и углядела — рубаха-то у атамана пояском ее работы оцоясана. Чуть не сомлела Аленушка, все ж таки на ногах устояла и слова не выронила. Стоит белехонька да с атамана глаз не сводит.

А он своим зорким глазом еще со струга Аленушку заметил и по девичьему убору догадался, что незамужницей осталась.

Поздоровался атаман с народом, потом подошел к Аленушке, поклонился ей, рукой до земли, да и говорит:

— Поклон тебе низкий от вольного казацкого атамана Ермака, а как его по-другому звать — сама ведаешь. Не обессудь, моя лебедушка, что в пути запозднился. Не своей волей по низу до седых волос плавал, когда смолоду охота была против верховой воды плыть. И на том в обиде не будь: не забывал тебя и поясок твой ни в бою, ни в пиру с себя не снимал.

Поговорили они тут. Понял тогда народ, кто есть донской казак атаман Ермак, какого он роду-племени, в каком месте его лебедушка ко гнезду ждала.

Два дня, а то и три простоял Ермак с своим войском в Чусовском городке. Не один раз за те дни с Аленушкой побеседовал. Всю свою жизнь ей рассказал. Как он братьев да друзей своих из неволи вызволил, как с ними строгановские караваны топил, как потом на Дону казачил да по Волге гулял. Ну, все, как есть. И про то объяснил, почему на Чусовую пришел.

— Много, — говорит, — в нашу казну богатства добывали, а нет против того, какое мне лебеди по нашей реке в горах показывали.

Вот и надумал тем богатством себе и всей ватаге — головы откупить, а кому не случится голову свою вынести — тому добрую память в людях оставить. Лебеди как подслушали мою думу... Давно их не видал, а тут оба появились и будто манят плыть, куда надумал. Всю дорогу с нами

плывут, а где остановка — улетают, и всегда в ту сторону, куда дальше путь идет...

В осенний праздник, в Семенов день, собрался атаман дальше плыть. Из Чусовского городка народу в войско прибыло. Ну, и проводы вышли вроде как семейные, потому — с заезжими казаками своих отправляли. На берег многие так семьями и шли, — кто брата, кто сына провожал.

Аленушка рядом с атаманом шла. Она, конечно, годами на другую половину жизни клонилась, а красоту свою не вовсе потеряла. Принарядится праздничным делом, так еще заглядишься.

Атаман тоже для такого случая приоделся. Верховик на шапке малиновый, кафтан цветной парчи, рубаха дорогого шелку, а сабля и протчая орудия — глаза зажмурь. И то углядели люди — новый у атамана поясок. Широкий такой, небывалого узору: по голубой воде белые лебеди плывут. Это, видно, Аленушка опоясала своего лебедя на незнамую дальнюю дорогу.

И вот идут они, как лебедин да лебедушка. Оба высокие да статные, красивые да приветные, как погожий день в осени. Далеко их в народе видно. А кругом ребятишки-мелочь вьются. Это Аленушкины прикормленики да приспешники со всего города сбежались. Известно, большому лестно, а малому и подавно охота близко такого атамана поглядеть, рядом по улице пройти.

Как атаман на берег, так лебеди — на воду, сразу кверху поплыли, оглядываются да покрикивают:

— Клип-анг! Клип-анг!

Вроде поторапливают:

— Пора, атаман! Пора, атаман!

Тут атаман простился с народом, с Аленушкой наособицу, сам на струг — и велел отваливать.

Отплыл — и концы в воду.

Сперва добрые вести доходили, как Ермак войско сибирского хана покорил и все города побрал, как Грозный царь за это всем казакам старые вины простил и подаренье свое царское отправил. И про то сказывали, будто велел Грозный царь сковать атаману для бою кольчатую рубаху серебряную с золотыми орлами. Дивились царевы бронники, как ермаковы посланцы стали про атаманов рост сказывать. Сильно сомневались в том бронники, а все-таки сковали рубаху, как было указано, от вороту до подола два аршина, а в плечах — аршин с четвертью, и золотых орлов посадили.

Прикинь-ко, какой силы и росту человек был, коли мог эку тягость на себе в бою носить!

Радовалась Аленушка этим вестям. Всем ребятишкам, какие около нее вились, рассказывала — вот, дескать, какой атаман удачливый да смелый.

Года два такими вестями Аленушка тешилась, потом перемена вышла: вовсе не слышно стало о казацком войске, как снегом путь замело. Долго ждала Аленушка, да и дождалась: в осенях приползла в городок черная молва.

— Мало в живых казаков осталось, и сам атаман загиб. Изменой заманили его с малым войском да ночью, как все казаки спали в лодках, и навалились многолюдством. Атаману, видно, надо было с одной лодки на другую переключиться, да опрометился он и попал в воду на глубокое место. В кольчатой-то рубахе царского подарения и не смог выплыть. И лебеди не могли атамана ухранить, потому — ночью дело вышло, а эта птица, известно, ночью не видит.

Выслушала все это Аленушка, слова не выронила и ушла в свою избу, а вскоре ребятишки по всему городу заревели — умерла Аленушка.

Отцы-матери побежали поглядеть. Верно — умерла Аленушка, Ребятчья Радость. Лежит на скамейке у окошечка, и руки на смерть сложены, а сарафан и весь убор на ней тот самый, в каком она атамана в поход провожала. Поплакали тут которые, вспоминая тот день, пожалели:

— Вот пара была, да гнезда не свила.

От какой причины нежданная смерть Аленушке пришла, так никто и не узнал. На том решили:

— По-лебединому умерла наша Аленушка. У них ведь известно, как ведется: один загиб — другому не жить.

Так вот оно как дело-то было! Приплыл донской казак на родиму сторонку — на реку Чусовую. Это присловье про Ермака и сложено. В прежни-то годы, сказывают, такое часто случалось. Набродно на Дону было, — со всех сторон туда люди сбегались, кому дома не вмоготу пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был, Васильем Тимофеичем Алениным звали, а на Дону да по Волге он стал Ермак Тимофеич.

Здесьние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат, жожака не надо было! Сам первый жожек по речным дорогам был! И то ни в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, кабы лебеди не пособили.

Куда потом эти лебеди улетели — сказать не умею.

По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто не нарочно лебедея подшибет, добра себе не жди: непременно

нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей. Такому и вовсе свое земельное ремесло бросать надо, потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да вот еще штука какая у стариков велась — ставили деревянных лебедей на воротах.

А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это им и почет, и Василью Тимофеичу с Аленушкой память. Это — что парой-то!

Вот в чем тут загвоздка.

## ДЕМИДОВСКИЕ КАФТАНЫ

От нашей заводской грани на полдень озеро есть. Иткуль называется. Слыхали, поди?

Кому на той стороне на рудниках да приисках мытариться доводилось, тот, небось, не раз на том озере бывал. Близко тут, и рыбешки на том озере полным-полно. Который и вовсе не рыболов, а праздничным делом, глядишь, бежит на Иткуль: хоть разок в неделю, — думает, — ушки похлебаю. На приисках-то ведь еда известная. Скучают люди по доброму приварку.

Ну, кому золотая жужелка нечаянно в карман залетела, тому тоже на Иткуль дорога. Это озеро, вишь, не в нашей заводской даче, у здешнего начальства тут уж сила не берет. И деревнешечки при озере есть. Башкирские деревнешечки бедные, а все ж таки того-другого достать можно, ежели у кого гулянка случится. Вина там, мяска и протча, про рыбу не говоря. Одно плохо — стряпать по русскому обычаю не привычны. Ну, да это старателю полбеда. Ему бы хлебнуть было. Зато место тут для гулянки — лучше не надо.

В нашей-то заводской даче свои озерки есть, да что в них! Стоялая вода в низменном месте, берега резуном затянуло, — не подойдешь. А Иткуль-озеро на высоком местичке пришлось. Берега — песок да камень, сухим-сухоньки, а кругом сосна жаровая. Как свечки поставлены. Глядеть любо. Вода как стеклышко — все камни на дне сосчитай. Только скрасна маленько. Как вот ровно мясо в ней полоскали. Дно, вишь, песок-мясника, к нему этак и отливает. Оттого, будто, озеро Иткулем и прозывается. По-башкирскому говядину зовут ит, а куль — по-ихнему озеро, вот и вышло мясно озеро — Иткуль.

Другие опять говорят, будто первый, кто людей на это озеро привел, похвалялся:

— Вон сколь тут живности в воде-то. Все озеро мясом набито.

А еще про это посказулька сложена. Наши старики сказывали. Они, вишь, ране-то, как чугулки не было, медь, железо на Чусовую-реку возили и тамошние дела до тонкости знали. И про это наслышались.

Причинку тут на Демидовых кладут. Не на тагильских, а на тех, кои Шайтанский завод на Касли строили. Этого же колена Демидовы, только хозяйство у них разное. В этом и загвоздка.

Вишь как вышло. Царь отдал Демидову в здешних местах казенный завод и земли отвел — строй, дескать, сколько сможешь. Демидов и послал в наши места сына Акинтия. Акинтий и начал тут поворачивать — заводы строить: Шуралу, там, Быньги, оба Тагила и протча. Старик Демидов и сам в наши края перебрался, только он, сказывают, больше по заводскому действию старался, а этот Акинтий все строил да строил. Десятка, поди, два заводов-то настроил. К нашим Сысертским заводам из Акинтьевых ближе всех Ревда подоткнулась. Вот из-за этой самой Ревды, как она еще строилась, узелок и завязался.

Разбогател Акинтий Демидов — дальше некуда. Руда, вишь, тут добрая, лес под боком, за работу платил — только бы не умер человек. Как не разбогатеть. А у старика Демидова, кроме Акинтия, были и другие сыновья. Тоже заводчики, только не по здешним местам. У одного из этих сыновей — Никитой же его, как и старика, звали — Брынский завод был. Ну, и другие какие-то. Тоже сильно богатый был, только где же против Акинтия! Вот этот брынский заводчик Никита и удумал податься в наши же места.

— Братско, дескать, дело, — отведет мне Акинтий местечко. — А сам уж давно облюбовал, где теперь Ревда-завод стоит. Тут на Волчихе, да и по другим горам и руду обыскал. Ну, только Акинтий сразу братцу любезному оглобли заворотил.

— У моего-то, — говорит, — кармана братьев нету. Сам на том месте завод строить буду.

Никите неохота попуститься.

— Еще, — говорит, — покойный родитель мне про то место говаривал. Обещал, можно сказать.

Акинтий, знай, посмеивается.

— На мертвого-то что хошь скажи. А только родитель-

покойничек не дурак был, чтоб эдакое место, с которого весь сплав по реке начинается, из своих рук выпустить.

Ну, тогда Никита видит — не идет дело, суд завел с Акинтием из-за рудников. Дескать, я обыскал, а он собирается завод строить. Да где же с Акинтием тягаться, коли цари с ним за ручку! Только и высудил Никита, что ему разрешили теми рудниками пользоваться, если где-нибудь близко завод поставит. А где его поставишь, коли земля кругом обрезана.

Тут, слышь-ко, еще такая штука вышла. С левого-то берега к Чусовой-реке строгановские земли подошли. Строгановы раньше железными заводами не от силы занимались, а тут и им приспичило, — на акинтьевы богатства гляючи. Как раз недалеко от тех мест Билимбай-завод строили. С Акинтием тоже суд завели, — дескать, Ревда-то на строгановской земле приходится. Ну, Никита видит, — при таком деле у Строгановых ему земли ни за что не добыть. Стал искаться на правом берегу Чусовой. А там, слышь-ко, в диком месте, в Шайтан-логу, деревнешечка башкирская стояла, и она как-то еще никому из заводчиков не отдана была.

Вот Никита и подсыпался к этим башкирам, давай их улащать.

— Отдайте, дескать, мне это место. Я тут завод поставлю, а вас своим коштом перевезу, куда выберете. Избы новые поставлю, денег дам на обзаведенье, старикам на каждый год по красному кафтану... К праздникам мясо у вас будет: ешь — не хочу. А то какие вы жители. Мясо-то у вас когда бывает?

Деревнешечка, и верно, шибко бедная была. Пряменько сказать, на одной кобыле по три семьи ездило. Только тем и питались, что в речках добудут. Все рыба да рыба. Ну, их и потянуло на мяско. Старикам тоже охота в красных кафтанах погулять. Так и сладились и бумаги припечатали.

Стал на том месте, в Шайтан-логу, Демидов строить завод, а башкир перевез на дальнее озеро, чуть не за сто верст от старого жилья. Не всех, конечно, перевез.

Помоложе-то у себя оставил, на рудниках работу им дал. Молодому, известно, на людях охота пожить.

Сперва все как по маслу катилось. Рыбой на новом месте башкиры довольнехоньки, к праздникам им от Демидова мяса привозят: конины, баранины. Кафтаны тоже каждый год выдают. Все, как выражено.

Видишь, завод-то строил не сам Никита, а его сын Василий. Оттого будто Шайтанку и зовут еще Васильевским. Этот Василий тогда, слышь-ко, молодой был, злостью да хитростью еще не настоялся. Он и выполнял все по уговору. Ну, и то сказать, велико ли дело для Демидовых сколько-то возов конины да баранины отправить.

Только вот приехал на завод сам Никита. А у него, скажут, в ту пору жена сбежала, денег много утащила, а больше того долгов оставила, — заплати, муженек любезный, а жить с тобой я не согласна. Ну, Никита и лютовал по этому случаю и подковыривался ко всякому месту. Увидел, что башкирам мясо направляют, зверем на сына накинуся:

— Ты что это? По материнской дорожке, знать, собираешься? Мастерца была моты мотать, добро разбрасывать!

Сын говорит:

— Что ты, батюшка, из-за пустяков себя расстраиваешь. Я ведь негодных лошадей режу. Чем на падинник везти, так мы им в гостинцы. Много если двух-трех баранов подкину.

Старик не унимается:

— Тому барана, другому барана, сам с чем останешься?

Тогда Василий напомнил, — дескать, уговор такой был.

— На всякий уговор, — кричит, — ум иметь надо, а у тебя башка песком набита!

Потом позвал своего подручного, да и сказал ему, как надо сделать.

Подручный, конечно, рад стараться. Таких-то ведь хлебом не корми, только бы людям какую ни на есть издевку подстроить.

— Слушаю, — говорит, — Никита Никитич. Будьте без сумленья, в лучшем виде устроим. Угостим так, что внукам закажут, как на демидовски гостинцы рот разевать.

Вот ладно. Снарядился этот демидовский подручный с возами в дорогу. Человек пяток объездных с собой прихватил, с ружьями. Дорога-де не ближняя. Мало ли что может случиться.

Приезжают туда, а башкиры их уж ждут.

Обрадовались старики:

— Ай, хорош Демид. Якши-бай, спасибо ему! Спасибо!

Велят котлы под мясо готовить. Только раскрывают рогожи, а там свинина. Цельными тушами свиньи лежат и пяточки свои устави.

Старики, конечно, в сторону:

— Ай-яй. Дунгыз-ите наш закон ашать не велит. Ошибку Демид давал. Ай-яй-яй!

Ну, а какая ошибка, коли назгал сделано. Подручный, знай, покрикивает:

— Привезено — ешь. Какой разговор об этом. Мясо хорошее. Если такого не примете, давайте бумагу хозяину с отказом на предбудущее время.

Тут руднишные башкиры случились. На побывку, видно, к своим пришли. Эти руднишные около русских-то уж околтались. Руднишному где разбирать, какой кусок в хлеболе подался — свинина ли, конина ли, лишь бы червей поменьше. Ну, видят — тут подстроено. Ввязались в это дело. Шире-дале, к драке ближе. Подручный демидовский ружьями пригрозить стал, а те не отстают. На них глядя, и другие осмелели, за колья да топоры взялись, телеги окружили. Подручный видит — дело плохо, велел поворачивать с возами. Башкиры еще покричали, все-таки выпустили. А подручный отъехал маленько и велел свинину на куски рубить да в озеро кидать. Башкиры видят, назло воду поганят, тулаем за ними кинулись, а подручный демидовский стрелять велел. Ранили которых. Только все-таки башкиры одну телегу захватили и людей сколько-то. Давай их бить. С концом, конечно, потому расстервенился народ. А подручный успел угнать.

Ну, дальше, известно, суд да кнут.

Приехало к башкирам начальство и давай в первую голову руднишных искать, только их нигде не оказалось, и семейные от них отперлись.

— Вовсе, — говорят, — нездешние были. Проходящий народ.

Тогда стариков увезли, которые от Демидова кафтаны получали. Этих стариков и судили как за бунт и присудили — у озера, на том самом месте, где драка была, кнутьями бить. Били, конечно, нещадно, спина в кровь и мясо клочьями. А тот, сукин сын, который драку подстроил, тут же перед всем народом похваляется:

— Помнить-де меня будут. Не хотели в демидовских красных кафтанах гулять, ходите в моих! По росту, небось, пришлось. Только носить сладко ли?

Тут ему из народу и погрозились:

— погоди, собака! Сошьем и тебе кафтан по росту! Без единого шва будет!

Так и вышло. Вскорости тот демидовский подручник потерялся. Искали-искали, найти не могли. Потом Демид-

дову записку подбросили. Русскими буквами написано.

Оказался-де на иткульском Шайтан-камне какой-то человек в красном кафтане, ни с кем не разговаривает, а по всему видать — из ваших.

Послал Демидов поглядеть, — что за штука?

На озеро-то камень тычком из воды высунулся. Большой камень, далеко его видно. Вот на этом Шайтан-камне и оказался какой-то человек. Стоит ровно живой, руки растопырил. Одежда на нем красным отливает. Подъехали демидовские доглядчики к камню, глядят, а это мертвый подручный-то. У него вся кожа от шеи до коленок содрана да ему же к шее и привязана.

С той поры вот будто озеро Иткулем и прозывается.

Пострадала, конечно, деревнешечка. Иных в тюрьме сгноили, кого забили, кто в Нерчинск на вечну каторгу ушел. Ну, а оставшийся народ вовсе изверился в Демидове и во всех заводчиках. Только о том и думали, как бы чем заводам насолить.

Когда Пугачев подымался, так эти иткульские из первых к нему приклонились. Даром что деревня махонькая, в глухом месте стоит — живо дознались!

Наш-от барин в ту пору, говорят, только то и наказывал:

— Берегись иткульских! За иткульскими гляди! Самый это отчаянный народ и заводам первые ненавистники.

А когда опять ворчать примется:

— Тоже, видно, и в Демидовых дураки водятся: гляди-ко, до чего народишко расстервенили. Не подойдешь к нему. А из-за чего? Корусть-то какая? Палых лошадей жалко стало. Смекалка тожа! Стыд в люди сказать.

Сам-от этот барин куда хитрее был. Этот, небось, за палую лошадь вязаться бы не стал. По-другому с народом обходиться умел. Не углядишь, с какой стороны подъедет. Прямо сказать, петля.

Из купцов вышел. К мошенству, стало быть, с малых лет навик.

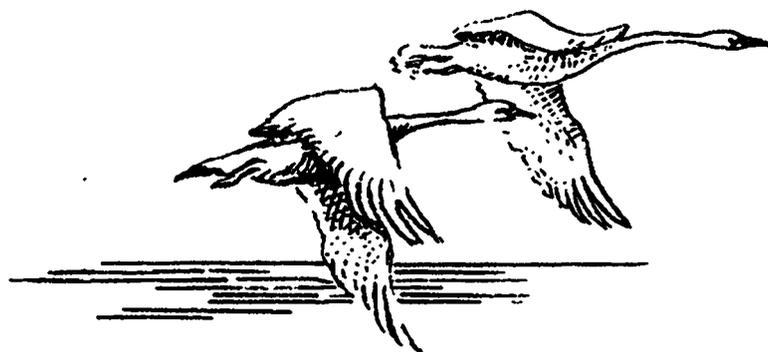
Вот этому барину, видно, и казалось дивом, что Демидовы не смогли маленькую башкирскую деревнешечку круг пальца обвести.

Из-за этих барских разговоров, сказывают, потом большая рассорка с ревдинским начальством случилась. Не раз оно наших водой прижимало. Это когда караван спустить по Чусовой приходилось. Только это уж другой разговор пошел, а иткульцы, точно, самые заядлые супротивники заводским барам в те годы были.

1  
Как уж пугачево дело по другим местам вовсе на нет сошло, в этой деревнешечке его не забыли. Нет-нет оттуда и выбежит человек пяток — десяток, на лошадках, конечно. А дорога у них хоть и в разные стороны случалась, а всегда на одно выходила: какого-нибудь заводского барина за горло взять.

За это и звали их барскими подорожниками, потому — простой народ и даже торгашей не задевали, а барам да большому заводскому начальству сильно оберегаться приходилось.

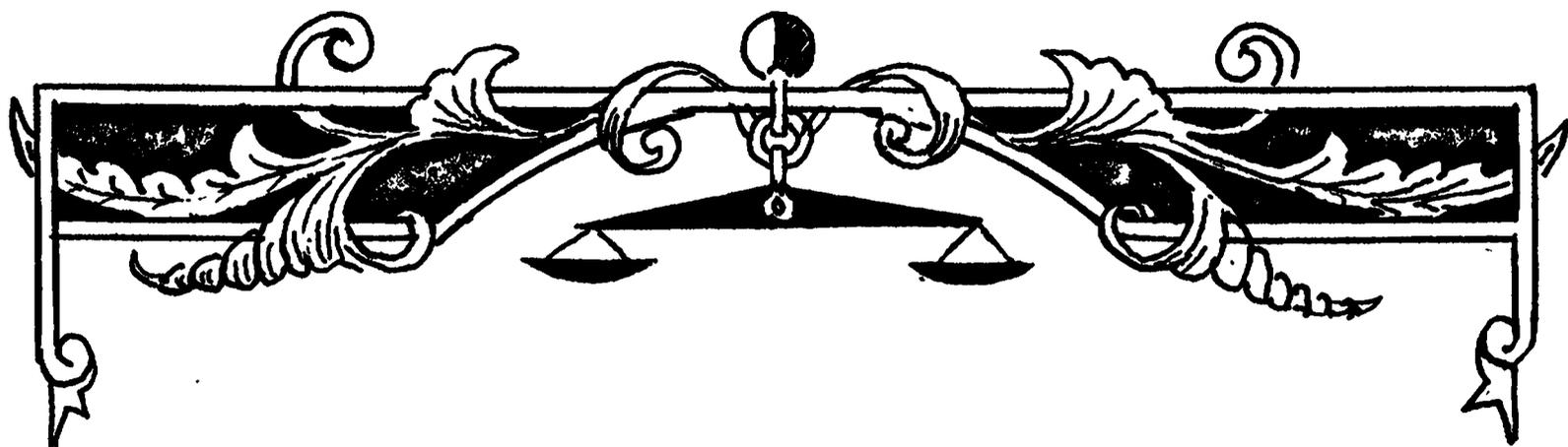
На дороге поймают — не пощадят, случалось, и по домам тревожили.



А. М. ГОРЬКИЙ

РУССКИЕ  
СКАЗКИ





## РУССКИЕ СКАЗКИ

### I



удучи некрасив и зная это, молодой человек сказал себе:

— Я умен. Сделаюсь мудрецом. У нас это — очень просто.

И стал читать толстые сочинения — он был действительно не глуп, понимал, что наличие мудрости всего легче доказать цитатами из книг.

А прочитав столько мудрых книг, сколько нужно, чтобы стать близоруким, он гордо поднял нос, покрасневший от тяжести очков, и заявил всему существующему:

— Ну нет, меня не обманешь! Я ведь вижу, что жизнь — это ловушка, поставленная для меня природой!

— А — любовь? — спросил Дух жизни.

— Благодарю, я, слава богу, не поэт! Я не войду ради кусочка сыра в железную клетку неизбежных обязанностей!

Но все-таки он был человек не особенно даровитый и потому решил взять должность профессора философии.

Приходит к министру народного просвещения и говорит:

— Ваше высокопревосходительство, вот — я могу проповедовать, что жизнь бессмысленна и что внушениям природы не следует подчиняться!

Министр задумался: «Годится это или нет?»

Потом спросил:

— А велениям начальства надо подчиняться?

— Обязательно — надо! — сказал философ, почтительно склонив вытертую книгами голову. — Ибо страсти человеческие...

— Ну, то-то! Лезьте на кафедру. Жалованья — шестнадцать рублей. Только — если я предпишу принять к руководству даже и законы природы, смотрите — без вольнодумства! Не потерплю!

И, подумав, он меланхолически сказал:

— Мы живем в такое время, что ради интересов целостности государства, может быть, и законы природы придется признать не только существующими, но и полезными — отчасти!

«Черта с два! — мысленно воскликнул философ. — Дойдете вы до этого, как же...»

А вслух — ничего не сказал.

Вот он и устроился: еженедельно влезал на кафедру и по часу говорил разным кудрявым юношам:

— Милостивые государи! Человек ограничен извне, ограничен изнутри, природа ему враждебна, женщина — слепое орудие природы, и по всему этому жизнь наша совершенно бессмысленна!

Он привык думать так и часто, увлекаясь, говорил красиво, искренно; юные студентки восторженно хлопали ему, а он, довольный, ласково кивал им лысой головой, умиленно блестел его красненький носик, и все шло очень хорошо.

Обеды в ресторанах были вредны ему, — как все пессимисты, он страдал несварением желудка, — поэтому он женился, двадцать девять лет обедал дома; между делом, незаметно для себя, произвел четверых детей, а после этого — помер.

За гробом его почтительно и печально шли три дочери с молодыми мужьями и сын, поэт, влюбленный во всех красивых женщин мира. Студенты пели «Вечную память» — пели очень громко и весело, но — плохо; над могилой товарищи профессора говорили цветистые речи о том, как стройна была покойникова метафизика; все было вполне прилично, торжественно и даже минутами трогательно.

— Вот и помер старикашка! — сказал один студент товарищам, когда расходились с кладбища.

— Пессимист он был, — отозвался другой.

А третий спросил:

— Ну? Разве?

— Пессимист и консерватор.

— Ишь, лысый! А я и не заметил...

Четвертый студент был человек бедный, он озабоченно осведомился:

— Позовут нас на поминки?

Да, их позвали.

Так как покойный профессор написал при жизни хорошие книги, в которых горячо и красиво доказывал бессмысленность жизни, — книги покупались хорошо, и читали их с удовольствием — ведь что ни говорите, а человек любит красивое!

Семья была хорошо обеспечена — и пессимизм может обеспечить! — поминки были устроены богатые, бедный студент на редкость хорошо покушал и, когда шел домой, то думал, добродушно улыбаясь:

«Нет — и пессимизм полезен...»

## II

А еще был такой случай.

Некто, считая себя поэтом, писал стихи, но — почему-то все плохие, и это очень сердило его.

Вот однажды идет он по улице и видит: валяется на дороге кнут — извозчик потерял.

Осенило поэта вдохновение, и тотчас же в уме его сложился образ:

*Как черный бич, в пыли дорожной  
Лежит — раздавлен — труп змеи.  
Над ним — рой мух гудит тревожно,  
Вокруг — жуки и муравьи.*

*Белеют тонких ребер звенья  
Сквозь прорванную чешую...  
Змея! Ты мне напоминаешь  
Любовь издохшую мою...*

А кнут встал на конец кнутовища и говорит, качаясь:

— Ну, зачем врешь! Женатый человек, грамоту знаешь, а — врешь! Ведь не издыхала твоя любовь, жену ты и любишь и боишься ее...

Поэт рассердился:

— Это не твое дело!..

— И стихи скверные...

— А тебе и таких не выдумать! Только свистеть можешь, да и то не сам.

— А все-таки зачем врешь? Ведь не издыхала любовь-то?

— Мало чего не было, а нужно, чтоб было...

— Ой, побьет тебя жена! Отнеси-ка ты меня к ней...

— Как же, дожидайся!

— Ну, бог с тобой! — сказал кнут, свиваясь штопором, лег на дороге и задумался о людях, а поэт пошел в трактир, спросил бутылку пива и тоже стал размышлять, но — о себе:

«Хотя кнут и — дрянь, но стихи опять плоховаты, это верно! Странное дело! Один пишет всегда плохие стихи, а другому иной раз удаются хорошие — до чего все неправильно в этом мире! Дурацкий мир!»

Так он сидел, пил и, все более углубляясь в познание мира, пришел, наконец, к твердому решению: «Надо говорить правду: совершенно никуда не годится этот мир, и человеку в нем даже обидно жить!» Часа полтора думал он в этом направлении, а потом сочинил:

*Пестрый бич наших страстных желаний  
Гонит нас в кольца Смерти-Змеи,  
Мы плутаем в глубоком тумане,  
Ах — убьемте желанья свои!*

*Они в даль нас обманно манят,  
Мы влачимся сквозь терн обид,  
По пути — сердце скорби нам ранят,  
А в конце его — каждый убит...*

И прочее в этом духе — двадцать восемь строк.

— Вот это — ловко! — воскликнул поэт и пошел домой, очень довольный собою.

Дома он прочитал стихи жене — ей тоже понравилось.

— Только, — сказала она, — первое четверостишие как будто не того...

— Сожрут! Пушкин начал тоже «не того»... Зато — размер каков? Панихида!

Потом он стал играть со своим сынишкой: посадив его на колени и подкидывая, пел тенорком:

*Скок-поскок  
На чужой мосток!  
Эх, буду я богат —  
Я свой намощу,  
Никого не пущу!*

Очень весело провели вечер, а утром поэт снес стихи редактору, и редактор сказал глубокомысленно — они все глубокомысленны, редактора, оттого-то журналы и скучны.

— Гм? — сказал редактор, трогая себя за нос. — Это, знаете, не плохо, а главное — очень в тон настроению времени, очень! М-да, вот вы, пожалуй, и нашли себя. Ну-с,

продолжайте в том же духе... Шестнадцать копеек строка... четыре сорок восемь... Поздравляю!

Потом стихи были напечатаны, и поэт почувствовал себя именинником, а жена усердно целовала его, томно говоря:

— М-мой поэт, о-о...

Славно время провели!

А один юноша — очень хороший юноша, мучительно искавший смысла жизни, — прочитал эти стихи и застрелился.

Он, видите ли, был уверен, что автор стихов, прежде чем отвергнуть жизнь, искал смысла в ней так же долго и мучительно, как искал сам он, юноша, и он не знал, что эти мрачные мысли продаются по шестнадцати копеек строка. Серьезный был.

Да не помыслит читатель, что я хочу сказать, будто бы порою даже кнут может быть употреблен с пользой для людей.

### III

Долго жил Евстигней Закивакин в тихой скромности, в робкой зависти и вдруг неожиданно прославился.

А случилось это так: однажды после роскошной пирушки он истратил последние свои шесть гривен и, проснувшись наутро в тяжком похмелье, весьма удрученный, сел за свою привычную работу: сочинять объявления в стихах для «Анонимного бюро похоронных процессий».

Сел и, пролив обильный пот, убедительно написал:

*Бьют тебя по шее или в лоб, —  
Все равно, ты ляжешь в темный гроб...  
Честный человек ты иль прохвост, —  
Все-таки оттащат на погост...  
Правду ли ты скажешь иль соврешь, —  
Это все едино: ты умрешь!..*

И так далее в этом роде, аршина полтора.

Понес работу в «бюро», а там не принимают:

— Извините, — говорят, — это никак нельзя напечатать: многие покойники могут обидеться и даже содрогнуться в гробах. Живых же увещевать к смерти не стоит, — они и сами собою, бог даст, помрут...

Огорчился Закивакин:

— Черт бы вас побрал! О покойниках заботитесь, мо-

нументы ставите, панихиды служите, а живой — помирай с голоду...

В гибельном настроении духа ходит он по улицам и вдруг видит — вывеска, а на ней — черными буквами по белому полю — сказано:

«Жатва Смерти».

— Еще похоронное бюро, а я и не знал! — обрадовался Евстигней.

Но оказалось, что это не бюро, а редакция нового беспартийного и прогрессивного журнала для юношества и самообразования. Закивакина ласково принял сам редактор-издатель Мокей Говорухин, сын знаменитого салотопа и мыловара Антипы Говорухина, парень жизнедеятельный, хотя и худосочный.

Посмотрел Мокей стишки — одобрил:

— Ваши, — говорит, — вдохновения как раз то самое, еще никем не сказанное слово новой поэзии, в поиски за которым я и снаряжился, подобно аргонавту Герострату...

Конечно, все это врал по внушению странствующего критика Лазаря Сыворотки, который тоже всегда врал, чем и создал себе громкое имя.

Смотрит Мокей на Евстигнея покупающими глазами и повторяет:

— Материальчик впору нам, но имейте в виду, что мы стихов даром не печатаем!

— Я и хочу, чтобы мне заплатили, — сознался Евстигнейка.

— Ва-ам? За стихи-то? Шутите! — смеется Мокей. — Мы, сударь, только третьего дня вывеску повесили, а уж за это время стихов нам прислано семьдесят девять сажен! И все именами подписаны!

Но Евстигней не уступает, и согласились на пятаке за строку.

— Только потому, что уж очень это у вас здорово пущено! — объяснил Мокей. — Надо бы псевдонимец вам избрать, а то Закивакин не вполне отлично. Вот ежели бы... например, — Смертяшкин, а? Стильно!

— Все равно, — сказал Евстигней. — Мне — абы гонорар получить: есть очень хочется...

Он был парень простодушный.

И через некоторое время стихи были напечатаны на первой странице первой книги журнала, под заголовком: «Голос вечной правды».

С того дня и постигла Евстигнейку слава: прочитали жители стихи его — обрадовались:

— Верно написал, материн сын! А мы живем, стараемся кое-как, то да се, и незаметно нам было, что в жизни-то нашей никакого смысла, между прочим, нет! Молодец Смертяшкин!

И стали его на вечера приглашать, на свадьбы, на похороны да на поминки, а стихи его во всех модных журналах печатаются по полтине строка, и уже на литературных вечерах полногрудые дамы, очаровательно улыбаясь, читают «поэзы Смертяшкина»:

*Нас ежедневно жизнь разит,  
Нам отовсюду смерть грозит!  
Со всяких точек зрения  
Мы только жертвы тления!*

— Bravo-o! Спасибо-o! — кричат жители.

«А ведь, пожалуй, я и в самом деле поэт?» — задумался Евстигнейка и начал — понемножку — зазнаваться: завел черно-пестрые носки и галстуки, брюки надел тоже черные с белой полоской поперек и стал говорить томно, разводя глазами в разные стороны:

— Ах, как это пошло-жизненно!

Заупокойную литургию прочитал и употребляет в речи мрачные слова: паки, дондеже, всуе...

Ходят вокруг его разные критики, истощая Евстигнейкин гонорарий, и внушают ему:

— Углубляйся, Евстигней, а мы поддержим!

И действительно, когда вышла книжка: «Некрологи желаний, поэзы Евстигнея Смертяшкина», то критики весьма благосклонно отметили глубокую могильность настроений автора. Евстигнейка же на радостях решил жениться: пошел к знакомой модерн-девице Нимфодоре Заваляшкиной и сказал ей:

— О, безобразна, бесславна, не имущая вида!

Она давно ожидала этого и, упав на грудь его, воркует, разлагаясь от счастья:

— Я согласна идти к смерти рука об руку с тобою!

— Обреченная уничтожению! — воскликнул Евстигней.

Нимфодора же, смертельно раненная страстью, отзывается:

— Мой бесследно исчезающий!

Но тотчас, вполне возвратясь к жизни, предложила:

— Мы обязательно должны устроить стильный быт!

Смертяшкин уже ко многому привык и сразу понял.

— Я, — говорит, — конечно, недосыгаемо выше всех пред-

рассудков, но, если хочешь, давай обвенчаемся в кладбищенской церкви!

— Хочу ли? О да! И пусть все шафера тотчас после свадьбы застрелятся!

— Все, пожалуй, не пойдут на это, а Кукин может, — он уже семь раз стрелялся.

— И чтобы священник был старенький, знаешь, такой... накануне смерти.

Так, стильно мечтая, они сидели до той поры, пока из холодной могилы пространства, где погребены мириады погасших солнц и в мертвой пляске кружатся замороженные планеты, — пока в этой пустыне бездонного кладбища усопших миров не появился лик луны, угрюмо осветив землю, пожирающую все живое... Ах, это жуткое сияние умершей луны, подобное свечению гнилушек, всегда напоминает чутким сердцем, что смысл бытия — тление, тление...

Смертяшкин настолько воодушевился, что даже без особого труда стихи сочинил и прошептал их черным шепотом в ухо будущему скелету возлюбленной:

*Чу, смерть стучит рукой честной  
По крыше гроба, точно в бубен!..  
Я слышу зов ее так ясно  
Сквозь пошлый хаос скучных буден.*

*Жизнь спорит с нею, — лживым кличем  
Зовет людей к своим обманам;  
Но мы с тобой не увеличим  
Числа рабов, плененных ею!*

*Нас не подкупишь ложью сладкой,  
Ведь знаем мы с тобою оба,  
Жизнь — только миг, больной и краткий,  
А смысл ее — под крышкой гроба!*

— Как мертво! — восхищалась Нимфодора. — Как тупо-могильно!

Она все эти штуки превосходно понимала.

На сороковой день после этого они венчались у Николы на Тычке, в старенькой церкви, тесно окруженной самодовольными могилами переполненного кладбища. Ради стиля свидетели брака подписались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы; в подружки невеста выбрала трех истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, другие готовились к этому и одна дала честное слово покончить с собой на девятый день после свадьбы.

А когда вышли на паперть, шафер, прыщеватый парень, изучавший на себе действия сальварсана, открыв дверь кареты, мрачно сказал:

— Вот катафалк!

Новобрачная, в белом платье с черными лентами и под черной фатой, умирала от восторга, а Смертяшкин, влажными глазами оглядывая публику, спрашивал шафера:

— Репортеры есть?

— И фотографы...

— Не шевелись, Нимфочка...

Репортеры, из уважения к поэту, оделись факельщиками, а фотограф — палачом, жители же, — им все равно, на что смотреть, было бы забавно! — жители одобряли:

— *Quel chic!*<sup>1</sup> И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ним:

— *Charmant!*<sup>2</sup>

— Да-а, — говорил Смертяшкин новобрачной за ужином в ресторане против кладбища, — мы прекрасно похоронили нашу юность! Вот именно это и называется победой над жизнью!

— Ты помнишь, что это все мои идеи? — спросила нежно Нимфодора.

— Твои? Разве?

— Конечно.

— Ну... всё равно:

*Я и ты — одна душа и тело!  
Мы с тобой теперь навеки слиты.  
Это смерть так мудро повелела,  
Мы — ее рабы и сателлиты...*

— Но все-таки я не позволю тебе поглотить мою индивидуальность! — очаровательно предупредила она. — И потом, сателлиты, я думаю, надо производить два «т» и два «л»! Впрочем, саттеллиты вообще кажутся мне не на месте...

Смертяшкин еще раз попробовал одолеть ее стихами:

*Что такое наше «я»,  
Смертная моя?  
Нет его иль есть оно, —  
Это всё равно!*

  
<sup>1</sup> Какой шик! (франц.)

<sup>2</sup> Очаровательно! (франц.)

*Будь активна, будь инертна, —  
Всё равно, — ты не бессмертна!*

— Нет, уж это надобно оставить для других, — кротко сказала она.

После длинного ряда таких и подобных столкновений у Смертяшкина случайно родилась дитя — девочка, и Нимфодора повелела:

— Люльку закажи в форме гробика!

— Не слишком ли это, Нимфочка?

— Нет уж, пожалуйста! Стиль надо сохранять строго, если ты не хочешь, чтобы критики и публика упрекнули тебя в раздвоении и неискренности...

Она оказалась очень хозяйственной дамой: сама солила огурцы, тщательно собирала все рецензии о стихах мужа и, уничтожая неодобрительные, — похвальные издавала отдельными томиками за счет поклонников поэта.

С хорошей пищи стала она женщиной дородной, глаза ее всегда туманились мечтой, возбуждая в людях мужского пола страстное желание подчиниться року. Завела домашнего критика, жилистого мужчину, рыжего цвета, сажала его рядом с собою, и, вонзая туманный взгляд прямо в сердце ему, читала нарочито гнусаво стихи мужа, убежденно спрашивая:

— Глубоко? Сильно?

Тот первое время только мычал, а потом стал ежемесячно писать пламенные статьи о Смертяшкине, который «с непостижимой углубленностью проник в бездонность той черной тайны, которую мы, жалкие, зовем Смертью, а он — полюбил чистой любовью прозрачного ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познанием ужаса бесцельности бытия, но претворила этот ужас в тихую радость, в сладостный призыв к уничтожению той непрерывной пошлости, которую мы, слепые души, именуем Жизнью».

При благосклонной помощи рыжего, — по убеждениям он был мистик и эстет, по фамилии — Прохарчук, по профессии — парикмахер, — Нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтения стихов: выйдет он на эстраду, развернет коленки направо-налево, смотрит на жителей белыми овечьими глазами и, покачивая угловатой головою, на которой росли разные разности мочального цвета, безучастно вещает:

*В жизни мы — как будто на вокзале,  
Пред отъездом в темный мир загробный...  
Чем вы меньше чемоданов взяли,  
Тем для вас и легче и удобней!*

*Будем жить бессмысленно и просто!  
Будь пустым, тогда и будешь чистым.  
Краток путь от люльки до погоста!  
Служит Смерть для жизни машинистом!..*

— Bravo-o! — кричат вполне удовлетворенные жители. —  
Спасибо-o!

И говорят друг другу:

— Ловко, шельма, доказывает, даром что этакий обсо-  
санный!..

Те же, кому ведомо было, что раньше Смертяшкин ра-  
ботал стихи для «Анонимного бюро похоронных процес-  
сий», были, конечно, и теперь уверены, что он все свои песни  
поет для рекламы «бюро», но, будучи ко всему одинаково  
равнодушны, молчали, твердо памятуя одно:

«Каждому жрать надо!»

«А может, я и в самом деле — гений! — думал Смер-  
тяшкин, слушая одобрителный рев жителей. — Ведь никто  
не знает, что такое гений; некоторые утверждали же, будто  
гении — полоумные... А если так...»

И при встрече со знакомыми стал спрашивать их не о  
здоровье, а:

— Когда умрете?

Чем и приобрел еще большую популярность среди жи-  
телей.

А жена устроила гостиную в виде склепа: диванчики  
поставила зелененькие, в стиле могильных холмиков, а на  
стенах развесила снимки с Гойя, с Калло да еще и — Вюртц!

Хвастается:

— У нас даже в детской веяние Смерти ощутимо: дети  
спят в гробиках, няня одета схимницей, — знаете, такой  
черный сарафан, с вышивками белым — черепа, кости и  
прочее, очень интересно! Евстигней, покажи дамам дет-  
скую! А мы, господа, пойдемте в спальню...

И, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни:  
над кроватью саркофагом — черный балдахин с серебряной  
бахромой; поддерживали его выточенные из дуба черепа;  
орнамент — маленькие скелетики нежно играют могиль-  
ными червяками.

— Евстигней, — объясняла она, — так поглощен своей  
идеей, что даже спит в саване...

Некоторые жители изумлялись:

— Спи-ит?

Она печально улыбалась.

А Евстигнейка был в душе парень честный и порою не-  
волью думал:

«Уж если я — гений, то — что же уж? Критика пишет о влиянии, о школе Смертяшкина, а я... не верю я в это!»

Приходил Прохарчук, разминая мускулы, смотрел на него и спрашивал басом:

— Писал? Ты, брат, пиши больше. Остальное мы с твоей женой живо сделаем... Она у тебя хорошая женщина, и я ее люблю...

Смертяшкин и сам давно видел это, но по недостатку времени и любви к покою ничего не предпринимал против.

А то сядет Прохарчук в кресло поудобнее и рассказывает обстоятельно:

— Знал бы ты, брат, сколько у меня мозолей и какие! У самого Наполеона не было таких...

— Бедный мой! — вздыхала Нимфодора, а Смертяшкин пил кофе и думал:

«Как это правильно сказано, что для женщин и лакеев нет великих людей!»

Конечно, он, как всякий мужчина, был неправ в суждении о своей жене, — она весьма усердно возбуждала его энергию:

— Стегнышко! — любовно говорила она. — Ты, кажется, и вчера ничего не писал? Ты все чаще манкируешь талантом, милый! Иди, поработай, а я пришлю тебе кофе...

Он шел, садился к столу и неожиданно сочинял совершенно новые стихи:

*Сколько пошлости и вздора  
Написал я, Нимфодора,  
Ради тряпок, ради шубок,  
Ради шляпок, кружев, юбок!*

Это его пугало, и он напоминал себе:

«Дети!»

Детей было трое. Их надо было одевать в черный бархат; каждый день, в десять часов утра, к крыльцу подавали изящный катафалк, и они ехали гулять на кладбище, — все это требовало денег.

И Смертяшкин уныло выводил строка за строкой:

*Всюду жирный трупный запах  
Смерть над миром пролила.  
Жизнь в ее костлявых лапах,  
Как овца в когтях орла.*

— Видишь ли что, Стегнышко, — любовно говорила Нимфодора. — Это не совсем... как тебе сказать? Как надо сказать, Маша?

— Это — не твое, Евстигней! — говорил Прохарчук басом и с полным знанием дела. — Ты — автор «Гимнов смерти», и пиши гимны...

— Но это же новый этап моих переживаний! — возражал Смертяшкин.

— Ну, милый, ну какие переживания? — убеждала жена. — Надобно в Ялту ехать, а ты чудишь!

— Помни, — гробовым голосом внушал Прохарчук, — что ты обещал

*Прославить смерти власть  
Беззлобно и покорно...*

— А потом обрати внимание: «как овца в» невольно напоминает фамилию министра — Коковцев, и это может быть принято за политическую выходку! Публика глупа, политика — пошлость!

— Ну, ладно, не буду, — говорил Евстигней, — не буду! Все едино — ерунда!

— Имей в виду, что твои стихи за последнее время вызывают недоумение не у одной твоей жены! — предупредил Прохарчук.

Однажды Смертяшкин, глядя, как его пятилетняя дочурка Лиза гуляет в саду, написал:

*Маленькая девочка ходит среди сада,  
Беленькая ручка дерзко рвет цветы...  
Маленькая девочка, рвать цветы не надо,  
Ведь они такие же хорошие, как ты!*

*Маленькая девочка! Черная, немая,  
За тобою следом тихо смерть идет,  
Ты к земле наклонишься, — косу поднимая,  
Смерть оскалит зубы и — смеется, ждет...*

*Маленькая девочка! Смерть и ты — как сестры;  
Ты ненужно губишь яркие цветы,  
А она косою острой, вечно острой! —  
Убивает деток, вот таких, как ты...*

— Но это же сентиментально, Евстигней, — негодуя, крикнула Нимфодора. — Помилуй, куда ты идешь? Что ты делаешь с своим талантом?

— Не хочу я больше, — мрачно заявил Смертяшкин.

— Чего не хочешь?

— Этого. Смерть, смерть — довольно! Мне противно слово самое!

— Извини меня, но ты — дурак!

— Пускай! Никому не известно, что такое гений! А я больше не могу... К черту могильность и все это... Я — человек...

— Ах, вот как? — иронически воскликнула Нимфодора. — Ты — только человек?

— Да. И люблю все живое...

— Но современная критика доказала, что поэт не должен считаться с жизнью и вообще с пошлостью!

— Критика? — заорал Смертяшкин. — Молчи, бесстыдная женщина! Я видел, как современная критика целовала тебя за шкафом!

— Это от восхищения твоими же стихами!

— А дети у нас рыжие, — тоже от восхищения?

— Пошляк! Это может быть результатом чисто интеллектуального влияния!

И вдруг, упав в кресло, заявила:

— Ах, я не могу больше жить с тобой!

Евстигнейка и обрадовался и в то же время испугался.

— Не можешь? — с надеждой и со страхом спросил он. — А дети?

— Пополам!

— Троих-то?

Но она настояла на своем. Потом пришел Прохарчук. Узнав, в чем дело, он огорчился и сказал Евстигнейке:

— Я думал, ты — большой человек, а ты — просто маленький мужчина!

И пошел собирать Нимфодорины шляпки. А пока он мрачно занялся этим, она говорила мужу правду:

— Ты выдохся, жалкий человек. У тебя нет больше ни таланта, ничего! Слышишь: ни-че-го!

Захлебнулась пафосом честного негодования и закончила:

— У тебя и не было ничего никогда! Если бы не я и Прохарчук — ты так всю жизнь и писал бы объявления в стихах, слизняк! Негодяй, похититель юности и красоты моей...

Она всегда в моменты возбуждения становилась красноречива.

Так и ушла она, а вскоре, под руководством и при фактическом участии Прохарчука, открыла «Институт красоты мадам Жизан из Парижа. Специальность — коренное уничтожение мозолей».

Прохарчук же, разумеется, напечатал разносную статью «Мрачный мираж», обстоятельно доказав, что у Евстигнея не только не было таланта, но что вообще можно сомне-

ваться, существовал ли таковой поэт. Если же существовал и публика признавала его, то это — вина торопливой, неосторожной и неосмотрительной критики.

А Евстигнейка потосковал, потосковал, и — русский человек быстро утешается! — видит: детей кормить надо!

Махнул рукой на прошлое, на всю смертельную поэзию, да и занялся старым, знакомым делом: веселые объявления для «Нового похоронного бюро» пишет, убеждая жителей:

*Долго, сладостно и ярко  
На земле мы любим жить,  
Но придет однажды Парка  
И обрежет жизни нить!*

*Обсудивши этот случай,  
Не спеша, со всех сторон,  
Предлагаем самый лучший  
Матерьял для похорон!*

*Все у нас вполне блестяще,  
Не истерто, не старо:  
Заходите же почаще  
В наше «Новое бюро»!*

*Могильная, 16*

Так все и возвратились на стези своя.

#### IV

Жил-был честолюбивый писатель.

Когда его ругали — ему казалось, что ругают чрезмерно и несправедливо, а когда хвалили — он думал, что хвалят мало и неумно, и так, в постоянных неудовольствиях, дожил он до поры, когда надобно было ему умирать.

Лег писатель в постель и стал ругаться:

— Ну вот — не угодно ли? Два романа не написаны... да и вообще материала еще лет на десять. Черт бы побрал этот закон природы и все прочие вместе с ним! Экая глупость! Хорошие романы могли быть. И придумали же такую идиотскую всеобщую повинность. Как будто нельзя иначе! И ведь всегда не вовремя приходит это — повесть не кончена...

Он — сердится, а болезни сверлят ему кости и нашептывают в уши:

— Ты — трепетал, ага? Зачем трепетал? Ты ночей не спал, ага? Зачем не спал? Ты — с горя пил, ага? А с радости — тоже?

Он морщился, морщился, наконец видит — делать нечего! Махнул рукой на все свои романы и — помер. Очень неприятно было, а — помер.

Хорошо. Обмыли его, одели приличненько, гладко причесали, положили на стол; вытянулся он, как солдат, — пятки вместе, носки врозь, — нос опустил, лежит смиренно, ничего не чувствует, только удивляется:

«Как странно — совсем ничего не чувствую! Это первый раз в жизни. Жена плачет. Ладно, а теперь — плачешь, а бывало, чуть что — на стену лезла. Сынишка хнычет. Наверное, бездельником будет, — дети писателей всегда бездельники, сколько я их ни видал... Тоже, должно быть, какой-нибудь закон природы. Сколько их, законов этих!»

Так он лежал и думал, и думал, и все удивлялся своему равнодушию — не привык к этому.

И вот — понесли его на кладбище, но вдруг он чувствует: народу за гробом мало идет.

«Нет, уж это дудки! — сказал он сам себе. — Хоть я писатель и маленький, литературу надобно уважать!»

Выглянул из гроба — действительно: провожают его — не считая родных — девять человек, в том числе двое нищих и фонарщик, с лестницей на плече.

Ну, тут он совсем вознегодовал:

«Экие свиньи!»

И до того воодушевился обидой, что немедленно воскрес, незаметно выскочил из гроба, — человек он был небольшой, — забежал в парикмахерскую, сбрил усы и бороду, взял у парикмахера черненький пиджачок, с заплатой под мышкой, свой костюм ему оставил, сделал себе почти-тительно огорченное лицо и стал совсем как живой — узнать нельзя!

И даже, по любопытству, свойственному роду его занятий, спросил парикмахера:

— Не удивляет вас этот странный случай?

Тот только усы свои снисходительно поправил.

— Помилуйте-с, — говорит, — мы в России живем и вполне ко всему привыкли...

— Все-таки — покойник и вдруг переодевается...

— Мода времени-с! И какой вы покойник? Только по внешности, а вообще ежели взять, — дай бог всякому! Нынче живые-то куда неподвижнее держатся!

— А не очень я желтоват?

— Вполне в духе эпохи-с, как надо быть! Россия-с — всем желтенько живется...

Известно, что парикмахеры — первые льстецы и самый любезный народ на земле.

Простился с ним писатель и побежал догонять гроб, движимый живым желанием выразить в последний раз свое уважение к литературе; догнал — стало провожатых десятеро, увеличился писателю почет. Встречный народ удивляется:

— Глядите-ка, как писателя-то хоронят, ай-яй!

А понимающие люди, проходя по своим делам, не без гордости думают:

«Заметно, что значение литературы все глубже понимается строною!»

Идет писатель за своим гробом, будто поклонник литературы и друг умершего, беседует с фонарщиком.

— Знали покойника?

— Как же! Кое-чем попользовался от него.

— Приятно слышать!

— Да. Наше дело — дешевое, воробьиное дело, где упало, там и клюй!

— Это как надо понять?

— Понимайте просто, господин.

— Просто?

— Ну да. Конечно, ежели смотреть с точки зрения, то — грех, однако — без жульничества никак не проживешь.

— Гм? Вы уверены?

— Обязательно так! Фонарь — как раз супротив его окна, а он каждую ночь до рассвета сиживал, ну, я фонаря и не зажигал, потому — свету из его окна вполне достаточно — стало быть, одна лампа — чистый мне доход! Полезный был человек!

Так, мирно беседуя то с тем, то с другим, дошел писатель до кладбища, а там пришлось ему речь говорить о себе, потому что у всех провожатых в тот день зубы болели, — ведь дело было в России, а там у каждого всегда что-нибудь ноет да болит.

Недурную сказал речь, в одной газете его похвалили даже:

«Кто-то от публики, напомнивший нам по внешнему облику человека сцены, произнес над могилой теплую и трогательную речь. Хотя в ней он, на наш взгляд, несомненно переоценил и преувеличил более чем скромные заслуги покойника, писателя старой школы, не употреблявшего усилий отделаться от ее всем надоевших недостат-

ков — наивного дидактизма и пресловутой «гражданственности», — тем не менее, речь была сказана с чувством несомненной любви к слову».

А когда все — честь честью — кончилось, писатель лег в домовину и подумал, вполне удовлетворенный.

«Ну, вот и готово, и очень все хорошо вышло, достойно, как и следует!»

Тут он совсем умер.

Вот как надо уважать свое дело, хотя бы это была и литература!

## V

А то — жил-был один барин, прожил он с'лишком полжизни и вдруг почувствовал, что чего-то ему не хватает, — очень встревожился.

Щупает себя — будто все цело и на месте, а живот даже в излишке; посмотрит в зеркало — нос, глаза, уши и все прочее, что полагается иметь серьезному человеку, — есть; пересчитает пальцы на руках — десять, на ногах — тоже десять, а все-таки чего-то нет!

— Что за оказия?

Спрашивает супругу:

— А как ты думаешь, Митродора, у меня все в порядке?

Она уверенно говорит:

— Все!

— А мне иногда кажется...

Как женщина религиозная, она советует:

— Если кажется — прочитай мысленно «Да воскреснет бог и расточатся врази его»...

Друзей исподволь пытается о том же, друзья отвечают нечленораздельно, а смотрят — подозрительно, как бы предполагая в нем нечто вполне достойное строгого осуждения.

«Что такое?» — думает барин в унынии.

Стал вспоминать прошлое — как будто все в порядке: и социалистом был, и молодежь возмущал, а потом ото всего отрекся и давно уже собственные посеы своими же ногами усердно топчет. Вообще — жил как все, сообразно настроению времени и внушениям его.

Думал-думал и вдруг — нашел:

«Господи! Да у меня же национального лица нет!»

Бросился к зеркалу — действительно, лицо неясное, вроде слепо и без запятых напечатанной страницы перевода с иностранного языка, причем переводчик был беззаботен

и малограмотен, так что совсем нельзя понять, о чем говорит эта страница: не то требует душу свободе народа в дар принести, не то утверждает необходимость полного признания государственности.

«Гм, какая, однако, путаница! — подумал барин и тотчас же решил: — Нет, с таким лицом неудобно жить...»

Начал ежедневно дорогими мылами умываться — не помогает: кожа блестит, а неясность остается. Языком стал облизывать лицо — язык у него был длинный и привешен ловко, журналистикой барин занимался, — и язык не приносит ему пользы. Применил японский массаж — шишки вскочили, как после доброй драки, а определенности выражения — нет!

Мучился-мучился, все без успеха, только весу полтора фунта потерял. И вдруг на счастье свое узнает он, что пристав его участка фон Юденфрессер весьма замечательно отличается пониманием национальных задач, — пошел к нему и говорит:

— Так и так, ваше благородие, не поможете ли в затруднении?..

Приставу, конечно, лестно, что вот — образованный человек, недавно еще в нелегальностях подозревался, а ныне — доверчиво советует, как лицо переменить. Хочет пристав и, в радости великой, кричит:

— Да ничего же нет проще, милейший вы мой! Бриллиант вы мой американский, да потритесь вы об инородца, оно сразу же и выявится, истинное-то ваше лицо...

Тут и барин обрадовался — гора с плеч! — лояльно хихикает и сам на себя удивляется:

— А я-то не догадался, а?

— Пустяки всего дела!

Расстались закадычными друзьями, сейчас же барин побежал на улицу, встал за угол и ждет, а как только увидал мимо идущего еврея, наскочил на него и давай внушать:

— Ежели ты, — говорит, — еврей, то должен быть русским, а ежели не хочешь, то...

А евреи, как известно из всех анекдотов, нация нервозная и пугливая, этот же был притом характера капризного и терпеть не мог погромов, — развернулся он, да и ударь барина по левой щеке, а сам отправился к своему семейству.

Стоит барин, прислонясь к стенке, потирает щеку и думает:

«Однако выявление национального лица сопряжено с ощущениями не вполне сладостными! Но — пусть! Хотя Некрасов и плохой поэт, все же он верно сказал:

*Недаром ничто не дается, — судьба  
Жертв искупительных просит...»*

Вдруг идет кавказец, человек — как это доказано всеми анекдотами — некультурный и пылкий, идет и орет:

— Мицхалэс саклэс мингрулэ-э...

Барин — на него:

— Нет, — говорит, — позвольте! Ежели вы грузин, то вы — тем самым — русский и должны любить не саклю мингрельца, но то, что вам прикажут, а кутузку — даже без приказа...

Оставил грузин барина в горизонтальном положении и пошел пить кахетинское, а барин лежит и соображает:

«Од-днако же? Там еще татары, армяне, башкиры, киргизы, мордва, литовцы — господи, сколько! И это — не все... Да потом еще свои, славяне...»

А тут как раз идет украинец и, конечно, поет крамольно:

*Добре було нашим батькам  
На Вкраини жити...*

— Нет, — сказал барин, поднимаясь на ноги, — вы уж будьте любезны отныне употреблять еры, ибо, вы не употребляя оных, вы нарушаете цельность империи...

Долго он ему говорил разное, а тот все слушал, ибо — как неопровержимо доказывается всеми сборниками мало-российских анекдотов — украинцы народ медлительный и любят дело делать не торопясь, а барин был человек весьма прилипчивый...

... Подняли барина сердобольные люди, спрашивают:

— Где живете?

— В Великой России...

Ну, они его, конечно, в участок повезли.

Везут, а он, ощупывая лицо, не без гордости, хотя и с болью, чувствует, что оно значительно уширилось, и думает:

«Кажется, приобрел...»

Представили его фон Юденфрессеру, а тот, будучи ко своим гуманен, послал за полицейским врачом, и, когда пришел врач, стали они изумленно шептаться между собою, да все фыркают, несоответственно событию.

— Первый случай за всю практику, — шепчет врач. — Не знаю, как и понять...

«Что б это значило?» — думает барин, и спросил:

— Старое — все стерлось, — ответил фон Юденфрессер.

— А вообще лицо — изменилось?

— Несомненно, только, знаете...

Доктор же утешительно говорит:

— Теперь у вас, милостивый государь, такое лицо, что хоть брюки на него надеть...

Таким оно и осталось на всю жизнь.

Морали тут нет.

## VI

А другой барин любил оправдывать себя историей — как только захочется ему соврать что-нибудь, он сейчас подходящему человеку и приказывает:

— Егорка, ступай надергай фактов из истории в доказательство того, что она не повторяется, и наоборот...

Егорка — ловкий, живо надергает, барин украсится фактами, сообразно требованиям обстоятельств, и доказывает все, что ему надобно, и неуязвим.

А был он, между прочим, крамольник — одно время все находили, что нужно быть крамольщиками, и друг другу смело указывали:

— У англичан — Хабеас корпус, а у нас — циркуляры!

Очень остроумно издевались над этим различием между нациями.

Укажут и, освободясь от гражданской скорби, сядут, бывало, винтить до третьих петухов, а когда оные возгласят приход утра — барин командует:

— Егорка, дерни что-нибудь духоподъемное и отвечающее моменту!

Егорка встанет в позу и, перст подняв, многозначительно напомним:

*На святой Руси петухи поют —  
Скоро будет день на святой Руси!..*

— Верно! — говорят господа. — Обязательно, — должен быть день...

И пойдут отдохнуть.

Хорошо. Но только вдруг народ начал беспокойно волноваться, заметил это барин, спрашивает:

— Егорка — почему народ трепещет?

А тот, с удовольствием доносит:

— Народ хочет жить по-человечески...

Тут барин возгордился:

— Ага! Это кто ему внушил? Это — я внушил! Пятьдесят лет я и предки мои внушали, что пора нам жить по-человечески, ага?

И начал увлекаться, то и дело гоняет Егорку:

— Надергай фактов из истории аграрного движения в Европе... из Евангелия текстов, насчет равенства... из истории культуры, о происхождении собственности — живо!

Егорка — рад! Так и мечется, даже в мыле весь, все книжки раздергал, одни переплеты остались, ворохами барину разные возбуждающие доказательства тащит, а барин его похваливает:

— Старайся! При конституции я тебя в редактора большой либеральной газеты посажу!

И, окончательно осмелев, лично внушает самым разумным мужикам:

— Еще, — говорит, — братья Гракхи в Риме, а потом в Англии, в Германии, во Франции... и все это исторически необходимо! Егорка — факты!

И тотчас на фактах докажет, что всякий народ обязан желать свободы, хотя бы начальство и не желало оной.

Мужики, конечно, рады — кричат:

— Покорнейше благодарим!

Все пошло очень хорошо, дружно, в любви христианской и взаимном доверии, только — вдруг мужики спрашивают:

— Когда уйдете?

— Куда?

— А долой!

— Откуда?

— С земли...

И смеются — вот чудак! Все понимает, а самое простое перестал понимать.

Они — смеются, а барин — сердится...

— Позвольте, — говорит, — куда же я уйду, ежели земля — моя?

А мужики ему не верят:

— Как — твоя, ежели ты сам же говорил, что господня и что еще до Иисуса Христа некоторые справедливыцы знали это?

Не понимает он их, а они — его, и снова барин Егорку за бока:

— Егорка, ступай надергай изо всех историй...

А тот ему довольно независимо отвечает:

— Все истории раздерганы на доказательства противного...

— Врешь, крамольник!

Однако — верно: бросился он в библиотеку, смотрит — от книжек одни корешки да пустые переплеты остались; даже вспотел он от неожиданности этой и огорченно воззвал ко предкам своим:

— И кто вас надоумил создать историю столь односторонне! Вот и наработали... эхма! Какая это история, к черту?

А мужики свое тянут:

— Так, — говорят, — прекрасно ты нам доказал, что уходи скорей, а то прогоним...

Егорка же окончательно мужикам передался, нос в сторону воротит и даже при встрече с барином фыркать начал:

— Хабеас корпус, туда же! Либ-берал, туда же...

Совсем плохо стало. Мужики начали песни петь и на радостях стог баринова сена по своим дворам развезли.

И вдруг — вспомнил барин, что у него еще есть кое-что в запасе: сидела на антресолях прабабушка, ожидая неминуемой смерти, и была она до того стара, что все человеческие слова забыла — только одно помнит:

— Не давать...

С шестьдесят первого года ничего кроме не могла говорить..

Бросился он к ней в большом волнении чувств, припал родственно к ногам ее и взывает:

— Мать матерей, ты — живая история...

А она, конечно, бормочет:

— Не давать...

— Но — как же?

— Не давать...

— А они меня — на поток и разграбление?

— Не давать...

— А дать ли силу нежеланию моему известить губернатора?

— Не давать...

Внял он голосу истории живой и послал от лица прабабушки трогательную депешу, а сам вышел к мужикам и оповещает:

— Испугали вы старушку, и послала она за солдатами — успокойтесь, ничего не будет, я солдат до вас не допущу!

Ну, прискакали грозные воины на лошадях, дело зимнее, лошади дорогой запотели, а тут дрожат, инеем покрылись, — стало барину лошадей жалко и поместил он их у себя в усадьбе — поместил и говорит мужикам:

— Сенцо, которое вы у меня не совсем правильно увезли, — возвратите-ка лошадам этим, ведь скотина — она ни в чем не виновата, верно?

Войско было голодное, поело всех петухов в деревне, и стало вокруг барина тихо. Егорка, конечно, опять на баринову сторону перекинулся, и по-прежнему барин его употребляет для истории: купил новый экземпляр и велел вымарать все факты, которые способны соблазнить на либерализм, а те, которые нельзя вымарать, приказал наполнить новым смыслом.

Егорке — что? Он ко всему способен, он даже для благонадежности порнографией начал заниматься, а все-таки осталось у него в душе светлое пятно и, марая историю за страх, — за совесть он сожалительные стиширы пишет и печатает их под псевдонимом: П. Б., что значит «побежденный борец».

*О вестник утра, красный пепел!  
Почто умолк твой гордый клич?  
Сменил тебя — как я заметил —  
Угрюмый сын.*

*Не хочет будущего барин,  
И снова в прошлом все мы днесь...  
А ты, о пепел, был зажарен  
И съеден весь...*

*Когда нас снова к жизни взманит?  
И кто нам будет утро петь?  
Ах, если петухов не станет —  
Просним мы ведь!*

А мужики, конечно, успокоились, живут смирно и от нечего делать похабные частушки сочиняют:

*Эх, мать честна!  
Вот придет весна, —  
Малость мы поохаем  
Да с голоду подохнем!*

Русский народ — веселый народ...

## VII

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были евреи — обыкновенные евреи для погромов, для оклеветания и прочих государственных надобностей.

Порядок был такой: как только коренное население станет обнаруживать недовольство бытием своим — из наблюдательных за порядками пунктов, со стороны их благородий, раздастся чарующий надеждами зов:

— Народ, приблизься к седалищу власти!

Народ привлечется, а они его — совращать:

— Отчего волнение?

— Ваши благородия — жевать нечего!

— А зубы есть еще?

— Маленько есть...

— Вот видите — всегда вы ухитряетесь что-нибудь да скрыть от руки начальства!

И ежели их благородия находили, что волнение усмиримо посредством окончательного выбития зубов, то немедля прибегали к этому средству; если же видели, что это не может создать гармонии отношений, то обольстительно добивались толку:

— Чего ж вы хотите?

— Землицы бы...

Некоторые, в свирепости своего непонимания интересов государства, шли дальше и клянчили:

— Леформов бы каких-нибудь, чтобы, значит, зубья, ребры и внутренности наши считать вроде как бы нашей собственностью и зря не трогать!

Тут их благородия и начали усовещивать:

— Эх, братцы! К чему эти мечты? «Не о хлебе едином...» — сказано, и еще сказано: «За битого двух небитых дают!»

— А они согласны?

— Кто?

— Небитые-то?

— Господи! Конечно! К нам в третьем году, после Успенья, англичане просились — вот как! Сошлите, просят, весь ваш народ куда-нибудь в Сибирь, а нас на его место посадите, мы, говорят, вам и подати аккуратно платить будем, и водку станем пить по двенадцать ведер в год на брата, и вообще. Нет, говорим, зачем же? У нас свой народ хорош, смирный, послушный, мы и с ним обойдемся. Вот что, ребята, вам бы лучше, чем волноваться зря, пойти бы да жидов потрепать, а? К чему они?

Коренное население подумает-подумает, видит — нельзя ждать никакого толка, кроме предначертанного начальством, и решается:

— Ну ин, айдати, ребя, благословясь!

Разворотят домов полсотни, перебьют несколько еврейского народу и, устав в трудах, успокоятся в желаниях, а порядок — торжествует!..

Кроме их благородий, коренного населения и евреев для отвода волнений и угашения страстей, существовали в оном государстве добрые люди, и после каждого погрома, собравшись всем своим числом — шестнадцать человек, — заявляли миру письменный протест:

*«Хотя евреи суть тоже русские подданные, но мы убеждены, что совершенно истреблять их не следует, и сим — со всех точек зрения — выражаем наше порицание неумеренному уничтожению живых людей.»*

*Гуманистов. Фитоедов. Иванов. Кусайгубин. Горопыгин. Крикуновский. Осип Троеухов. Грохало. Фигофобов. Кирилл Мефодиев. Словотеков. Капитолина Колымская. Подполковник в отставке Непейново. Пр. нов. Нарым. Хлопотунский. Притулихин. Гриша Будущев, семи лет, мальчик».*

И так после каждого погрома, с той лишь разницей, что Гришин возраст изменялся, да за Нарыма — по случаю неожиданного выезда его в одноименный город — Колымская подписывалась.

Иногда на эти протесты отзывалась провинция:

«Сочувствую и присоединяюсь» — телеграфировал из Дремова Раздергаев; Заторканный из Мямлина тоже присоединялся, а из Окурова — «Самогрызов и др.», причем для всех было ясно, что «др.» — он выдумал для пущей угрожаемости, ибо в Окурове никаких «др.» не было.

Евреи, читая протесты, еще пуще плачут, и вот однажды один из них — человек очень хитрый — предложил:

— Вы знаете что? Нет? Ну, так давайте перед будущим погромом спрячем всю бумагу, и все перья, и все чернила и посмотрим — что они будут делать тогда, эти шестнадцать и с Гришем?

Народ дружный; сказано — сделано: скупили всю бумагу, все перья, спрятали, а чернила — в Черное море вылили и — сидят, дожидаются.

Ну, долго ждать не пришлось: разрешение получено, погром произведен, лежат евреи в больницах, а гуманисты бегают по Петербургу, ищут бумаги, перьев — нет бумаги,

нет перьев, нигде, кроме как в канцеляриях их благородий, а оттуда — не дают!

— Ишь вы! — говорят. — Знаем мы, для каких целей вам это надобно! Нет, вы обойдетесь без этого!

Хлопотунский умоляет:

— Да — как же?

— Ну уж, — говорят, — достаточно мы вас протестам обучали, сами догадайтесь...

Гриша, — ему уже сорок три года минуло, — плачет.

— Хосю протестовать!

А — не на чем!

Фигофобов мрачно догадался:

— На заборе бы, что ли?

А в Питере и заборов нет, одни решетки.

Однако побежали на окраину, куда-то за бойни, нашли старенький заборчик, и, только что Гуманистов первую букву мелом вывел, вдруг — якобы с небес спустясь — подходит городской и стал увещевать:

— Это что же будет? За эдакое надписание мальчишек шугают, а вы солидные будто господа — ай-яй-яй!

Конечно, он их не понял, думая, что они — литераторы из тех, которые под 1001-ю статью пишут, а они сконфузились и разошлись — в прямом смысле — по домам.

Так один погром и остался не опротестован, а гуманисты — без удовольствия.

Справедливо говорят люди, понимающие психологию рас, — хитрый народ евреи!

## VIII

Вот тоже — жили-были два жулика, один черненький, а другой рыжий, но оба бесталанные: у бедных воровать стыдились, богатые были для них недосыгаемы, и жили они кое-как, заботясь, главное, о том, чтобы в тюрьму, на казенные хлеба попасть.

И дожили эти лодыри до трудных дней: приехал в город новый губернатор, фон дер Пест, осмотрелся и приказал:

«От сего числа все жители русской веры, без различия пола, возраста и рода занятий, должны, не рассуждая, служить отечеству».

Товарищи черненького с рыжим помялись, повздыхали и все разошлись: кто — в сыщики, кто — в патриоты, а которые половчее — и туда и сюда, и остались рыжий с черненьким в полном одиночестве, во всеобщем подозре-

нии. Пожили с неделю после реформы, подвело им животы, не стерпел дальше рыжий и говорит товарищу:

— Ванька, давай и мы отечеству служить?

Сконфузился черненький, опустил глаза и говорит:

— Стыдно...

— Мало ли что! Многие сытней нас жили, однако — пошли же на это!

— Им все равно в арестантские роты срок подходил...

— Брось! Ты гляди: нынче даже литераторы учат: «Живи как хошь, все равно — помрешь»...

Спорили, спорили, так и не сошлись.

— Нет, — говорит черненький, — ты — валяй, а я лучше жуликом останусь...

И пошел по своим делам: калач с лотка стянет и не успеет съесть, как его схватят, избьют и — к мировому, а тот честным порядком определит его на казенную пищу. Посидит черненький месяца два, поправится желудком, выйдет на волю — к рыжему в гости идет.

— Ну, как?

— Служу.

— Чего делаешь?

— Ребенков истребляю.

Будучи в политике невеждой, черненький удивляется:

— Почто?

— Для успокоения. Приказано всем — «будьте спокойны», — объясняет рыжий, а в глазах у него уныние.

Качнет черненький головой и — опять к своему делу, а его — опять в острог на прокормление. И просто, и совесть чиста.

Выпустят — он опять к товарищу, — любили они друг друга.

— Истребляешь?

— Да ведь как же...

— Не жаль?

— Уж я выбираю которые позолотушнее...

— А подряд — не можешь?

Молчит рыжий, только вздыхает тяжело и — линяет, желтым становится.

— Как же ты?

— Да так все... Наловят их где-нибудь, приведут ко мне и велят правды от них добиваться, добиться же ничего нельзя, потому что они помирают... Не умею я, видно...

— Скажи ты мне — для чего это делается? — спрашивает черненький.

— Интересы государства требуют; — говорит рыжий, а у самого голос дрожит и слезы на глазах.

Задумался черненький — очень жалко ему товарища — какую бы для него деятельность независимую открыть?

И вдруг — вспыхнул!

— Слушай — денег наворовал?

— Да ведь как же? Привычка...

— Ну, так вот что — издавай газету!

— Зачем?

— Объявления о резиновых изделиях печатать будешь...

Это рыжему понравилось, ухмыльнулся.

— Чтобы не было ребенков?

— А конечно! Чего их на мучения рожать?

— Это верно! Только — газета зачем?

— Для прикрытия торговли, чудак!

— Сотрудники, пожалуй, не согласятся?

Черненький даже свистнул.

— Вона! Ныне сотрудники сами себя живьем в премии предлагают подписчикам...

На том и решили: стал рыжий газету издавать, «при участии лучших литературных сил», открыл при конторе постоянную выставку парижских изделий, а над помещением редакции, ради соблюдения приличий, учредил дом свиданий для высокопоставленных лиц.

Дела пошли хорошо, живет рыжий, толстеет, начальство им довольно, и на визитных карточках у него напечатано:

*«Вдоль Поперек  
Ивсяко*

*Редактор-издатель газеты «Туда-сюда», директор-учредитель «Сладкого отдыха администраторов, утомленных преследованием законности». Тут же торговля презервативами оптом и в розницу».*

Выйдет черненький из острога, зайдет к товарищу чайку попить, а рыжий его — шампанским угощает и хвалится:

— Я, брат, теперь даже умываться стал не иначе, как шампанским, ей-богу!

И, зажмурив глаза от восторга, умильно говорит:

— Хорошо ты меня надоумил! Вот это — служба отечеству! Все довольны!

А черненький тоже рад:

— Ну, вот и живи! Отечество у нас невзыскательно.

Растрогается рыжий — приглашает товарища:

— Вань, айда ко мне в репортеры!  
Смеется черненький:  
— Нет, браток, я, должно быть, кончерватор, уж я останусь жуликом, по-старинному...  
Морали тут нет никакой. Ни зерна.

## IX

Однажды начальство, утомясь в борьбе с инакомыслящими и желая наконец опочить на лаврах, приказало наистрожайше:

«Сим предписывается привести в наличность всех инакомыслящих, без стеснения извлекая опыт из-под всяческих прикрытий, а по обнаружении искоренить дотла различными подходящими для того мерами».

Исполнение сего приказа было возложено на вольнонаемного истребителя живых существ обоего пола и всех возрастов Оронтия Стервенко, бывшего капитана службы его высочества короля фуэгийцев и властелина Огненной Земли, для чего и было ассигновано Оронтию шестнадцать тысяч рублей.

Не потому Оронтий к сему делу призван был, чтобы своих дошлых не нашлось, а потому, что был он неестественно страховиден, отличался волосатостью, позволявшей ему ходить голым во всех климатах, а зубов имел по два ряда — шестьдесят четыре штуки полностью, чем и заслужил особенное доверие начальства.

Но, несмотря на все эти качества, и он задумался жестоко:

«Как их обнаружишь? Они — молчат!»

А действительно, житель в этом городе был муштрованный — все друг друга боялись, считая провокаторами, и совершенно ничего не утверждали, даже с маменьками разговаривая в условной форме и на чужом языке:

— N'est-ce pas?<sup>1</sup>

— Maman, пора бы обедать, n'est-ce pas?

— Maman, а не сходить ли нам сегодня в кинематограф, n'est-ce pas?

Однако, подумав достаточно, нашел-таки Стервенко способ вскрытия тайных помыслов: вымыл волосы перекисью водорода, в нужных местах побрился и стал блон-



<sup>1</sup> Не так ли? (франц.)

дином унылого вида, а потом надел костюм печального цвета, и — не узнать его!

Выйдет вечером на улицу и раздумчиво ходит, а завидя, что житель, послушный голосу природы, крадется куда-то, — нападет на него с левого бока и вызывающе шепчет:

— Товарищ, неужели вы довольны этим существованием?

Сначала житель замедляет шаги, как бы что-то вспоминая, но чуть вдали покажется будочник — тут житель сразу и обнаружит себя:

— Городовой, дер-ржи его...

Стервенко тигром прыгал через забор и, сидя в крапиве, размышлял:

«Эдак их не возьмешь, закономерно действуют, черти!»

А тем временем — ассигновка тает.

Переоделся повеселее и начал уловлять иным приемом: подойдет к жителю смело и спрашивает:

— Господин, желаете в провокаторы поступить?

А житель хладнокровно осведомляется:

— Сколько жалованья?

Другие же вежливо отклоняют:

— Благодарю вас, я уже ангажирован!

«Н-да, — думает Оронтий, — поди-ка поймай его!»

Между тем ассигновка как-то сама собою умалывается.

Заглянул было в «Общество всесторонней утилизации выеденных яиц», но оказалось, что оно состоит под высоким давлением трех епископов и жандармского генерала, а заседает однажды в год, но зато каждый раз по особому разрешению из Петербурга.

Скучает Оронтий, и от этого ассигновка как будто скоротечной чахоткой заболела.

Тут он рассердился.

— Ладно же!

И начал действовать прямо: подойдет к жителю и без предисловий спрашивает его:

— Существованием доволен?

— Вполне!

— Ну, а начальство недовольно! Пожалуйте...

А кто скажет — недоволен, того, разумеется:

— Взять!

— Позвольте...

— Чего-с?

— Да я недоволен тем, что оно недостаточно твердо.

— Да-с? Взз...

Таким способом набрал он в течение трех недель десять тысяч разных существ и сначала посадил их куда можно, а потом стал развешивать, но — для экономии — за средства самих же обывателей.

И всё пошло очень хорошо. Только однажды главное начальство поехало на охоту за зайцами, а выехав из города, видит — на полях чрезвычайное оживление и картина мирной деятельности граждан — друг друга обкладывают доказательствами виновности, вешают, закапывают, а Стервенко ходит промежду ними с жезлом в руках и поощряет:

— Тор-ропись! Ты, брюнет, веселее! Эй, почтенный, вы чего остолбенели? Петля готова — ну и полезайте, нечего задерживать других! Мальчик, эй, мальчик, зачем прежде папаши лезешь? Господа, не торопитесь, все успеете... Годы терпели, ожидая успокоения, несколько минут потерпеть можно! Мужик, куда?.. Невежа...

Смотрит начальство, сидя на хребте ретивого коня, и думает:

«Однако много он их набрал, молодчина! То-то в городе все окна наглухо забиты...»

И вдруг видит — собственная его тетушка висит, не касаясь ногами тверди земной, — очень удивился.

— Кто распорядился?

Стервенко тут как тут.

— Я, вашеество!

Тут начальник сказал:

— Ну, брат, кажется, ты — дурак и едва ли не зря казенные суммы тратишь! А представь-ка мне отчет.

Представил Стервенко отчет, а там сказано:

*«Во исполнение предписания об искоренении инакомыслящих мною таковых обоего пола обнаружено и посажено 10 107.*

*Из них:*

<i>положено . . . . .</i>	<i>729 об. п.</i>
<i>повешено . . . . .</i>	<i>541 » »</i>
<i>непоправимо испорчен . . . . .</i>	<i>937 » »</i>
<i>не дожил . . . . .</i>	<i>317 » »</i>
<i>сами себя . . . . .</i>	<i>63 » »</i>
<i>Итого искоренено . . . . .</i>	<i>1 876 » »</i>
<i>На сумму . . . . .</i>	<i>16 884 р.,</i>
<i>считая по семи целковых за штуку со всем.</i>	
<i>А перерасходовано . . . . .</i>	<i>884 р.»</i>

В ужас пришло начальство, трясется и бормочет:  
— Пере-расхо-од? Ах ты, фуэгийец! Да вся твоя Огненная Земля с королем и с тобою вместе 800 рублей не стоит! Ты подумай — ведь если ты такими кусками воровать будешь, то я — особа, вдесятеро тебя высшая, — как же тогда? Да ведь при таких аппетитах России-то на три года не хватит, а между тем не один ты жить хочешь — можешь ты это понять? И притом же 380 человек лишних приписано, ведь те, которые «не дожили», и те, что «сами себя», — это же явно лишние! А ты, грабитель, и за них считаешь?..

— Вашество! — оправдывается Оронтий, — так ведь это я же их до отвращения к жизни довел.

— И за это по семи целковых? Да еще, вероятно, ни к чему не причастных сколько подложено! Всех жителей в городе двенадцать тысяч было — нет, голубчик, я тебя под суд отдам!

Действительно, назначили строжайшее расследование действий фуэгийца, и обнаружилось, что повинен он в растрате 916 казенных рублей.

Судили Оронтия справедливым судом, приговорили его на три месяца в тюрьму, испортили карьеру, и — пропал фуэгийец на три месяца!

Не легкое это дело — начальству угодить...

## Х

Один добродушный человек думал-думал — что делать?

И решил:

«Не стану сопротивляться злу насилием, одолею его терпением!»

Человек он был не без характера, — решил, сидит и терпит.

А соглядатаи Игемоновы, узнав об этом, тотчас доложили:

«Среди жителей, подлежащих усмотрению, некоторый вдруг начал вести себя неподвижно и бессловесно, явно намереваясь ввести начальство в заблуждение, будто его совсем нет».

Освирепел Игемон.

— Как? Кого — нет? Начальства нет? Представить!

А когда представили — повелел:

— Обыскать!

Обыскали, лишили ценностей, как то: взяли часы и кольцо обручальное, червонного золота, золотые пломбы из

зубов выковыряли, подтяжки новенькие сняли, пуговицы отпорол, и докладывают:

— Готово, Игемон!

— Ну что — ничего?

— Ничего, а что было лишнего — отобрано!

— А в голове?

— И в голове будто ничего.

— Допустите!

Вошел житель к Игемону, и уже по тому, как он штаны поддерживал, — узрел и понял Игемон его полную готовность ко всем случайностям жизни, но, желая произвести сокрушающее душу впечатление, все-таки взревел грозно:

— Ага, житель, явился?!

А житель кротко сознается:

— Весь пришел.

— Ты что же это, а?

— Я, Игемоне, ничего! Просто — решил я побеждать терпением...

Ощетинился Игемон, рычит:

— Опять? Опять побеждать?

— Да я — зло...

— Молчать!

— Да я не вас подразумеваю...

Игемон не верит.

— Не меня? А кого?

— Себя.

Удивился Игемон.

— Стой! В чем зло?

— В сопротивлении оному.

— Врешь?

— Ей-богу...

Игемона даже пот прошиб.

«Что с ним?» — думает он, глядя на жителя, а подумав, спрашивает:

— Чего ж ты хочешь?

— Ничего не хочу.

— Так-таки — ничего?

— Ничего! Разрешите мне поучать народ терпению личным своим примером.

Опять задумался Игемон, кусая усы. Имел он душу мечтательную, любил в бане париться, причем сладострастно гоготал, был вообще склонен к постоянному испытанию радостей жизни, единственно же чего терпеть не мог, — так это сопротивления и строптивости, против коих действовал умягчающими средствами, превращая в кашу

хрящи и кости строптивцев. Но в свободные от испытания радости и умягчения жителей часы — весьма любил мечтать о мире и о спасении душ наших.

Смотрит он на жителя и — недоумеваает.

— Давно ли еще? И — вот!

Потом, придя в мягкие чувства, спросил, вздохнув:

— Как же это случилось с тобой, а?

И ответил житель:

— Эволюция...

— Н-да, брат, вот она жизнь наша! То — то, то — другое... Во всем недород. Качаемся-качаемся, а на какой бок лечь — не знаем... не можем выбрать, да-а...

И еще вздохнул Игемон: все-таки — человек и отечество жалел, кормился от него. Обуревают Игемона разные опасные мысли:

«Приятно видеть жителя мягким и укрощенным — так! Но, однако, если все перестанут сопротивляться, — не повело бы сие к сокращению суточных и прогонных? А также и наградные могут пострадать... Да нет, не может быть, чтобы он совсем иссяк, — притворяется, шельма! Надобно его испытать. Как употреблю? В провокаторы? Выражение лица распущенное, никакой маской это безличие не скрыть, да и красноречие у него, видимо, тусклое. В палачи? Слабосилен...»

Наконец придумал и — говорит служающим:

— Определите сего блаженного в третью пожарную часть конюшни чистить!

Определили. Чистит бестрепетно житель конюшни, а Игемон смотрит, умиляется трудотерпению его, и растет в нем доверие к жителю.

«Кабы все эдак-то!»

По малом времени испытания возвел его до себя и дал переписать собственноручно им фальшиво составленный отчет о приходе-расходе разных сумм, — переписал житель и — молчит.

Окончательно умилился Игемон, даже до слез. «Нет, это существо полезное, хотя и грамотное!..»

Зовет жителя пред лицо свое и говорит:

— Верю! Иди и проповедуй истину твою, но, однако, гляди в оба!

Пошел житель по базарам, по ярмаркам, по большим городам, по маленьким и везде возглашает:

— Вы чего делаете?

Видят люди — личность, располагающая к доверию и кротости необыкновенной, сознаются пред ним, кто в чем

виноват, и даже заветные мечты открывают: один — как бы украсть безнаказанно, другой — как бы надуть, третьему — как бы оклеветать кого-нибудь, а все вместе — как люди исконно русские — желают уклониться от всех повинностей пред жизнью и обязанности забыть.

Он им и говорит:

— А вы — бросьте всё! Потому сказано: «Всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желаниям, следовательно, чтобы уничтожить страдание — надо уничтожить желания». Вот! Перестанемте желать, и всё само собой уничтожится — ей-богу!

Люди, конечно, рады: и правильно и просто. Сейчас же, где кто стоял, там и лег. Свободно стало, тихо...

Долго ли, коротко ли, но только замечает Игемон, что уж очень смиренно вокруг и как будто жутко даже, но — храбрится.

«Притворились, шельмы!»

Одни насекомые, продолжая исполнять свои природные обязанности, неестественно размножаются, становясь всё более дерзкими в поступках своих.

«Однако — какая безглагольность!» — думает Игемон, ежась и почесываясь всюду.

Зовет услужающего кавалера из жителей.

— Ну-ка, освободи меня от лишних...

А тот ему:

— Не могу.

— Что-о?

— Никак не могу, потому хотя они и беспокоят, но — живые, а...

— А вот я тебя самого покойником сделаю!

— Воля ваша.

И так — во всем. Все единодушно говорят — воля ваша, а как он прикажет исполнить его волю — скука начинается смертная. Дворец Игемона разваливается, крысы его заполнили, едят дела и, отравляясь, издыхают. Сам Игемон все глубже погружается в неделание, лежит на диване и мечтает о прошлом — хорошо тогда жилось! Жители разнообразно сопротивлялись циркулярам, некоторых надо было смертью казнить, отсюда — поминки с блинами, с хорошим угощением! То там житель пытается что-нибудь сделать, надобно ехать и запрещать действие, отсюда — прогонные! Доложишь куда следует, что «во вверенном мне пространстве все жители искоренены», — отсюда награды, и свежих жителей пришлют!

Мечтает Игемон о прошлом, а соседи, Игемоны других племен, живут себе, как жили, на своих основах, жители у них сопротивляются друг другу кто чем может и где надо, шум у них, бестолочь, движение всякое, а — ничего, и полезно им и вообще — интересно.

И вдруг догадался Игемон:

«Батюшки! А ведь подкузьмил меня житель-то!»

Вскочил, побежал по своей стране, толкает всех, треплет, приказывает:

— Встань, проснись, подымись!

Хоть бы что!

Он их за шиворот, а шиворот сгнил и не держит.

— Черти! — кричит Игемон в полном беспокойстве. — Что вы? Поглядите на соседей-то!.. Даже вон Китай...

Молчат жители, прильнув к земле.

«Господи! — затосковал Игемон. — Что делать?»

И пошел на обман: наклонился к жителю да в ухо ему и шепчет:

— Эй, гражданин! Отечество в опасности, ей-богу, вот те крест — в серьезнейшей опасности! Вставай — надобно сопротивляться... Слышать, что будет разрешена всякая самодеятельность... гражданин!

А гражданин, истлевая, бормочет:

— От-течество мое в боге...

Другие же просто молчат, как обиженные покойники.

— Фаталисты окаянные! — кричит Игемон в отчаянии. — Подымайся! Разрешено всякое сопротивление...

Один какой-то бывший весельчак и мордобоец приподнялся несколько, поглядел и говорит:

— А чему сопротивляться? Вовсе и нет ничего...

— Да насекомые же...

— Мы к ним привыкли!

Окончательно исказился разум Игемонов, встал он в пупе своей земли и орет источным голосом:

— Все разрешаю, батюшки! Спасайся! Делай! Всё разрешаю! Ешь друг друга!

Тишина и покой отрадный.

Видит Игемон — кончено дело!

Зарыдал, облился горючими слезами, волосья на себе рвет, взывает:

— Жители! Милые! Что же теперь — самому мне, что ли, революцию-то делать? Опомнитесь, ведь исторически необходимо, национально неизбежно... Ведь не могу же я сам, один революцию делать, у меня даже и полиции для этого нету, насекомые всю сожрали...

А они только глазами хлопают и — хоть на кол их сажай — не пикнут!

Так все молча и примерли, а отчаявшийся Игемон — после всех.

Из чего следует, что даже и в терпении должна быть соблюдаема умеренность.

## XI

Наконец мудрейшие из жителей задумались надо всем этим:

«Что такое? Куда ни глянь — кругом шестнадцать!»

И, солидно подумав, решили:

— Все это оттого, что нет у нас личности. Необходимо нам создать центральный мыслящий орган, совершенно свободный от всяких зависимостей и вполне способный возвыситься надо всем и встать впереди всего, — вот как, например, козел — в стаде баранов...

Некто возразил:

— Братцы, а не довольно ли уж претерпели мы от центральных личностей?..

Не понравилось.

— Это, кажется, нечто от политики и даже с гражданской скорбью?

Некто всё тянет:

— Да ведь как без политики, ежели она всюду проникает? Я, конечно, имею в виду, что в тюрьмах — тесно, в каторге — повернуться негде и что необходимо расширение прав...

Но ему строго заметили:

— Это, сударь мой, идеология, и пора бросить!.. Необходим же новый человек и более ничего...

И вслед за сим принялись создавать человека по приемам, указанным в святоотческих преданиях: плюют на землю и размещивают, сразу по уши в грязи перепачкались, но результаты — жиденькие. В судорожном усердии своем все цветы редкие на земле притоптали и злаки полезные также изничтожили, — стараются, потеют, напрягаются — ничего не выходит, кроме буесловия и взаимных обвинений в неспособности к творчеству. Даже стихии из терпения вывели усердием своим: вихри дуют, громы гремят, сладострастный зной опалает размокшую землю, ибо — льют ливни и вся атмосфера насытилась тяжкими запахами — дышать невозможно!

Однако же время от времени этот кавардак со стихиями как бы разъясняется, и — се выходит на свет божий новая личность!

Возникает общее ликование, но — увы, кратковременное оно и быстро разрешается в тягостное недоумение.

Ибо — ежели на мужицкой земле произрастет новая личность, то немедля же становится тертым купцом и, входя в жизнь, начинает распродавать отечество иноземцам по кускам, от сорока пяти копеек ценою, вплоть до страстного желания продать целую область купно с живым инвентарем и со всеми мыслящими органами.

На купеческой земле замесят нового человека — он или дегенератом родится, или в бюрократы попасть хочет; на дворянских угодьях — как и прежде всегда было — произрастают существа с намерениями поглотить все доходы государства, а на землях мещан и разных мелких владельцев растут буйным чертополохом разных форм провокаторы, нигилисты, пассивисты и тому подобное.

— Но — всё это мы уже имеем в количестве весьма достаточном! — сознались друг другу мудрые жители и серьезно задумались:

«Допущена нами какая-то ошибка в технике творчества, но — какая?»

Сидят, размышляют, а грязища кругом так и хлещет волною морскою, о господи!

Пререкаются:

— Вы, Сельдерей Лаврович, слишком обильно и всесторонне плюетесь...

— А у вас, Корнишон Лукич, мужества на это не хватает...

А новорожденные нигилисты, притворяясь Васьками Буслаевыми, — ко всему относятся презрительно и орут:

— Эй, вы, овощи! Соображай, как лучше, а мы вам... поможем наплевать на всё...

И плюют и плюют...

Скучища всеобщая, взаимоозлобление и грязь.

На ту пору проходил мимо, отлынивая от уроков, Митя Коротышкин, по прозвищу Стальной Коготь, ученик второго класса мямлинской гимназии и знаменитый коллекционер иностранных марок, идет он и — видит: сидят люди в луже, поплевывают в оную и о чем-то глубоко мыслят.

«Взрослые, а пачкольки!» — подумал Митя с дерзостью, свойственной малым годам.

Рассмотрел, нет ли среди них чего-нибудь педагогического, и, не заметив оно, осведомился:

— Вы зачем, дяденьки, в лужу залезли?

Один из жителей, обидевшись, вступил в спор:

— Где тут лужа? Это просто подобие хаоса довременного!

— А чего вы делаете?

— Нового человека хотим создать! Надоели такие, как ты вот...

Заинтересовался Митя.

— А по чьему подобию?

— То есть — как? Мы желаем бесподобного... проходи!

Будучи ребенком, еще не посвященным в тайны природы, Митя, конечно, обрадовался случаю присутствовать при таком важном деле и простодушно советует:

— Сделайте о трех ногах!

— Это к чему же?

— Он смешно бегать будет...

— Поди прочь, мальчик!

— А то — с крыльями? Вот ловко бы! Сделайте с крыльями, ей-богу! И пусть бы он учителей похищал, как кондор в «Детях капитана Гранта», — там, положим, кондор не учителя утащил, а лучше бы учителя...

— Мальчик! Ты говоришь вздор и весьма даже вредный! Вспомни молитву до и после учения...

Но Митя был мальчик фантастический и все более увлекался:

— Идет учитель в гимназию, а он бы его — хоп! сзади за воротник и понес бы по воздуху куда-нибудь — это все равно уж! — учитель только ножками болтает, а книжки так и сыплются, и чтобы их не найти никогда...

— Мальчик! Ступай уважать старших!

— А он кричит жене сверху: «Прощай, возношусь в небеса, яко Илия и Енох», а она стоит среди улицы на коленях и поет: «Воспитательчик мой, педагогчик!...»

Они на него рассердились.

— Пшел! Болтать пустяковину и без тебя есть кому, а тебе еще рано!

И прогнали. А он, отбежав несколько, остановился, подумал и спрашивает:

— Вы — взаправду?

— Конечно же...

— А не выходит?

Вздохнули они угрюмо и говорят:

— Нет. Отстань...

Тогда Митя отошел от них подальше, показал им язык и дразнится:

— А я знаю почему, а я знаю почему!

Они — за ним, он — от них, но, привыкшие к перебежкам из лагеря в лагерь, догнали они его и давай трепать.

— Ах ты... старших дразнить?..

Митя — плачет, умоляет:

— Дяденьки... я вам суданскую марку... у меня дубликат... перочинный ножик подарю...

А они его директором пугают.

— Дяденьки! Я, ей-богу, никогда больше не буду дразниться! И, право же, я догадался, отчего не создается новый человек...

— Говори!

— Отпустите маленько!

Отпустили, но держат за обе руки, он же им говорит:

— Дяденьки! Земля — не та! Не годится земля, честное слово, сколько вы ни плюйте, ничего не выйдет!.. Ведь когда бог сотворил Адама по образу и подобию своему, — земля-то ничья была, а теперь вся — чья-нибудь, вот отчего и человек всегда чей-нибудь... и дело вовсе не в плевках...

Это их так ошеломило, что они и руки опустили, а Митя — драла дал, отбежав от них, приставил кулак ко рту и кричит:

— Краснокожие команчи! Ир-рокезы!

А они снова единодушно уселись в лужу, и мудрейший из них сказал:

— Коллеги, продолжаем наши занятия! Забудем об этом мальчишке, ибо несомненно, что он переодетый социалист...

Эх, Митя, милый!

## ХII

Жили-были Иванычи — замечательный народ! Что с ним ни делай — ничему не удивляется!

Жили они в тесном окружении Обстоятельств, совершенно не зависящих от законов природы, и Обстоятельства творили с ними все, что хотели и могли: сдерут с Иванычей семь шкур и грозно спрашивают:

— А где восьмая?

Иванычи, нисколько не удивляясь, отвечают покорно Обстоятельствам:

— Еще не выросла, ваши превосходительства! Погодите маленько...

А Обстоятельства, нетерпеливо ожидая наращивания восьмой шкуры, хвастаются соседям, письменно и устно:

— У нас народонаселение благорасположено к покорности, делай с ним что хошь — ничему не удивляется! Не то, что у вас, например...

Так и жили Иванычи, — работали кое-что, подати-налоги платили, давали взятки кому сколько следует, а в свободное от этих занятий время — тихонечко жаловались друг другу:

— Трудно, братцы!

Которые поумнее — предрекают:

— Еще и труднее будет!

Иногда кто-нибудь из них прибавлял к этим словам еще словечка два-три, и о таком человеке почтительно говорили:

— Он поставил точку над і!

Дошли Иванычи даже до того, что заняли большой дом в саду и посадили в него специальных людей, чтобы изо дня в день, упражняясь в красноречии, ставили точки над і.

Соберутся в этом доме человек четыреста, а четверо из них и начнут, как мухи, точки садить; насадят, сколько околоточный — из любопытства — позволит, и хвастаются по всей земле:

— Здорово мы историю делаем!

А околоточный смотрит на это ихнее занятие, как на скандал, и — чуть только они попытаются поставить точку над другой буквой — решительно предлагает им:

— Прошу алфавит не портить, и — расходитесь по домам!

Разгонят их, а они — не удивляясь — утешаются между собой.

— Ничего, — говорят, — мы все эти безобразия впишем, для посрамления, на страницы истории!

А Иванычи, тайно скопляясь в собственных квартирах по двое и по трое сразу, шепчут, — тоже не удивляясь:

— Наших-то избранных опять лишили дара слова!

Смельчаки и отчаянные головы шепчут друг другу:

— Обстоятельствам закон не писан!

Иванычи вообще любили утешаться пословицами: посадят кого-нибудь из них в острог за случайное несогласие с Обстоятельствами — они кротко философствуют:

— Не в свои сани — не садись!

А некоторые из них злорадничают:

— Знай сверчок свой шесток!

Жили Иванычи этим порядком, жили и дожили наконец до того, что все точки над і поставили, все до одной! И делать Иванычам больше нечего!

А тут и Обстоятельства видят, что всё это — ни к чему, и повелели опубликовать во всей стране строжайший закон: «Отныне точки над і ставить повсеместно запрещается, и никаких точек, исключая цензурные, в обращении обывателей не должно существовать. Виновные в нарушении сего подвергаются наказанию, предусмотренному самыми жестокими статьями Уголовного уложения».

Ошалели Иванычи! Что делать?

Ничему другому они не обучены, только одно могли, да и то запрещено!

И вот, собираясь тайно, по двое, в темных уголках, они рассуждают шепотком, как пошехонцы в анекдоте:

— Иваныч! А что — ежели, не дай бог, сохрани господи?

— Ну — что?

— Я не то, что — тово, а все-таки?..

— Пускай бог знает что, и то — ни за что! А не то что! А ты говоришь — во что!

— Да разве я что! Я — ничего!

И больше никаких слов не могут сказать!

### ХІІІ

По один бок земли жили Кузьмичи, по другой — Лукичи, а между ними — река.

Земля — место тесное, люди — жадны да завистливы, и оттого между людьми из-за всякого пустяка — драки; чуть что кому не понравилось — сейчас — ура! и — в морду!

Раздерутся, победят друг друга и давай прибыли-убытки считать: сосчитают — что за чудо?! — будто и хорошо дрались, вовсе беспощадно, а выходит — невыгодно!

Рассуждают Кузьмичи:

— Ему, Лукичу-то, красная цена — семь копеек, а убить его рупь шесть гривен стоило! Что такое?

Лукичи тоже соображают:

— Живой Кузьмич даже по самоличной оценке ни гроша не стоит, а уничтожить его — девяносто копеек вышло!

— Как это?

И со страха друг перед другом решают:

— Надо оружия побольше завести, тогда война скорее пойдет и убийство дешевле стоить будет.

А купечество ихнее, мошну набивая, кричит:

— Ребята! Спасай отечество! Отечество дорого стоит!

Наготовили оружия без числа, выбрали подходящее время и давай друг друга со света сживать!

Бились, бились, победили друг друга, ограбили, — опять прибыли-убытки считать — что за наваждение?

— Однако, — говорят Кузьмичи, — что-то у нас неладно! Намедни по рупь шесть гривен Лукича убивали, а ныне на каждую погубленную душу по шестнадцати целковых вышло!

Унывают! А Лукичам тоже невесело.

— Швах дело! Так дорого война обходится, что хоть брось!

Но, как люди упрямые, решили:

— Надобно, братцы, смертобойную технику пуще прежнего развивать!

А купечество ихнее, мошну набивая, орет:

— Ребята! Отечество в опасности находится!

А сами потихоньку цены на лапти поднимают да поднимают.

Развили Лукичи с Кузьмичами смертобойную технику, победили друг друга, пограбили, стали прибыли-убытки считать — хошь плачь!

Живой человек — нипочем ценится, а убить его все дороже стоит!

В мирные дни жалуются друг другу:

— Разорит нас это дело! — говорят Лукичи.

— В корень разорит! — соглашаются Кузьмичи.

Однако, когда чья-то утка неправильно в воду нырнула, — опять разодрались.

А купечество ихнее, мошну набивая, жалуется:

— Ассигнации эти — просто замучили! Сколько их ни хватай — всё мало!

Семь лет воевали Кузьмичи да Лукичи, лупят друг друга нещадно, города уничтожают, всё жгут, даже пятилетних младенцев заставили из пулеметов палить. До того дошли, что у одних только лапти остались, а у других — ничего, кроме галстухов; нагишом ходят нации.

Победили друг друга, пограбили — стали прибыли-убытки считать, так и обомлели и те и эти.

Хлопают глазами и бормочут:

— Однако! Нет, ребята, видно, смертобойное дело окончательно не по кошелю нам! Смотрите-тко, — на каждого убитого Кузьмича по сто целковых вышло. Нет, надобно принимать другие меры...

Посоветовались, да и вышли на берег все гуртом, а на другом берегу враги стоят, тоже стадом.

Конечно, стесняются, глядят друг на друга, и будто стыдно им. Помялись, помялись и кричат с берега на берег:

- Вы чего?
- Мы — ничего. А — вы?
- И мы — ничего.
- Мы просто — так, на реку поглядеть вышли...
- И мы...

Стоят, чешутся, которым — стыдно, а другие — охают в грустях.

Потом опять кричат:

- У вас дипломаты есть?
- Есть. А у вас?
- И у нас...
- Ишь вы!
- А — вы?
- Да ведь мы-то что же?
- А — мы? И мы тоже...

Поняли друг друга, утопили дипломатов в реке и давай говорить толком:

- Знаете, по что мы пришли?
- Будто знаем!
- А — по что?
- Мириться хотите.

Удивились Кузьмичи.

- Как это вы догадались?

А Лукичи ухмыляются, говорят:

— Да ведь мы сами — тоже за этим! Уж больно дорого война стоит.

- Вот это самое!
- Хоть вы и жулики, однако давайте жить мирно, а?
- Хоша вы тоже — воры, но мы согласны!
- Давайте жить по-братски, ей-богу — дешевле будет!
- Идет!

Радостно стало всем, пляшут, скачут, точно бесноватые, костры развели, девиц друг у друга умыкают, коней крадут и кричат друг другу, обнимаясь:

— Братцы, милые, хорошо-то как, а? Хотя вы и... так сказать...

А Кузьмичи в ответ:

— Родимые! Все мы — одна душа и едино суть. Хоша вы, конечно, и того... ну — ладно!

С той поры живут Кузьмичи с Лукичами тихо, мирно, военное дело вовсе забросили и грабят друг друга легонько, по-штатски.

Ну, а купечество, как всегда, живет по закону божию...

Лежит смиренно-упрямый человек Ванька под поветью, наработался, навозился — отдыхает. Прибежал к нему боярин, орет:

- Ванька, вставай!
- А для че?
- Айда Москву спасать!
- А чего она?
- Поляк обижает!
- Ишь, пострел...

Пошел Ванька, спасает, а бес Болотников кричит ему:

— Дурова голова, чего ты на бояр даром силу тратишь, подумай!

— Я думать не привычен, за меня святые отцы-монахи больно хорошо думают, — сказал Ванька.

Спас Москву, пришел домой, глядит — повети нет.

Вздохнул:

- Эки воры!

Лег на правый бок для хороших снов, пролежал двести лет, вдруг — бурмистр бежит:

- Ванька, вставай!
- Чего оно?
- Айда Россию спасать!
- А кто ее?
- Бонапарт о двенадцати языках!
- Ишь его как... анафема!

Пошел, спасает, а бес Бонапарт нашептывает ему:

— Чего ты, Ваня, на господ стараешься, пора бы те, Ванюшка, из крепостной неволи выйти!

- Сами выпустят, — сказал Ванька.

Спас Россию, воротился домой, глядит — на избе крыши нет.

Вздохнул:

- Эки псы, всё грабят!

Пошел к барину, спрашивает:

- А что, за спасение России ничего не будет мне?

А барин его спрашивает:

- Хошь — выпорю?
- Нет, не надо! Спасибо.

Еще сто лет поработал да проспал; сны видел хорошие, а жрать нечего. Есть деньги — пьет, нет денег — думает: «Эхма, хорошо бы выпить!..»

Прибежал стражник, орет:

- Ванька, вставай!

- Еще чего?
- Айда Европу спасать!
- Чего она?
- Немец обижает!
- И что они беспокоятся, тот да этот? Жили бы...

Пошел, начал спасать — тут ему немец ногу оторвал. Воротился Ванька на одной ноге, глядь — избы нет, ребятишки с голоду подохли, на жене сосед воду возит.

— Ну и дела-а! — удивился Ванька, поднял руку, затылок почесать, а головы-то у него и нету!

## XV

В славном городе Мямлине жил-был человек Микешка, жил не умеючи, в грязи, в нищете и захудании; вокруг него мерзостей потоки текут, измывается над ним всякая нечистая сила, а он, бездельник, находясь в состоянии упрямой нерешительности, не чешется, не моется, диким волосом обрастает и жалуется ко господу:

— Господи, господи! И до чего же я скверно живу, до чего грязно! Даже свиньи — и те надо мной смеются. Забыл ты меня господи!

Нажалуется, наплачется досыта, ляжет спать и — мечтает:

«Хоть бы нечистая сила маленькую какую-нибудь реформишку дала мне смиренства и убожества моего ради! Помыться бы мне, почиститься...»

А нечистая сила еще больше издевается над ним, исполнение всех естественных законов отложила впредь до прихода «лучших времен» и ежедневно действует по Микешке краткими циркулярами в таком роде:

«Молчать! А виновные в нарушении сего циркуляра подвергаются административному искоренению даже до седьмого колена».

Или:

«Предписывается искренно любить начальство. А виновные в неисполнении сего подвергаются...»

Читает Микешка циркуляры, — озирается, видит: в Мямлине — молчат, в Дремове — начальство любят, в Воргороде — жители друг у друга лапти воруют.

Стонет Микешка:

— Господи! Какая это жизнь? Хоть бы что-нибудь случилось...

И вдруг — солдат пришел.

Известно, что солдат ничего не боится, — разогнал он нечистую силу, запихал он ее в темные погреба, в глубокие колодцы, загнал в проруби речные, сунул руку за пазуху себе, — вытащил миллион рублей и — солдату ничего не жалко! — дает Микешке:

— На, получи, убогой. Сходи в баню, вымойся, приберись, будь человеком, — пора!

Дал солдат миллион и ушел восвояси, будто его и не было!

Прошу не забыть, что это — сказка.

Остался Микешка с миллионом в руках, — чего ему делать? От всякого дела был он издавна циркулярами отучен, только одно умел — жаловаться. Однако пошел на базар в красный ряд, купил себе кумачу на рубаху да, кстати, и на штаны, одел новую одежду на грязную кожу, шлендает по улицам день и ночь, будни и праздники, фордыбачит, хвастается, — шапка набекрень, мозги — тоже.

— Я-ста, — говорит, — давно эдак-то мог, да не хотелось. Мы-ста, мямлинцы, народ большой, нам нечистая сила не страшнее блох. Захотелось, и — кончено.

Гулял Микешка неделю, гулял месяц, перепел все песни, какие знал, и «Вечную память», «Со святыми упокой», — надоел ему праздник, а работать — неохота. И скучно стало с непривычки: все как-то не так, все не то, околоточных — нет, начальство — не настоящее, из соседей набрано, трепетать не перед кем — нехорошо, необычно.

Ворчит Микешка:

— Раньше, при нечистой силе, порядку больше было. И улицы вовремя чистили, и на каждом перекрестке законный городской стоял. Бывало — идешь куда-нибудь, едешь, а он приказывает: держи направо! А теперь — куда хошь иди, никто ничего не скажет. Эдак-то на самый край прийти можно... Вон, уж некоторые дошли...

И все скушнее Микешке, все тошнее. Глядит на миллион, а сам сердится:

— Что мне миллион? Другие больше имеют! Кабы мне сразу миллиард дали, ну, тогда еще... А то — миллион! Хе! Чего я с ним, с миллионом, исделаю? Теперь даже курица орлом ходит, потому — ей, курице, шестнадцать рублей цена! А у меня всего-на-все миллион...

Тут обрадовался Микешка, что нашлась причина для привычных жалоб, — ходит по грязным улицам, орет:

— Давайте мне миллиард! Не могу я ничего! Какая это жизнь? Улицы не чищены, полиции — нет, везде беспорядок! Давайте мне миллиард, а то — жить не хочу!

Вылез из-под земли старый крот и говорит Микешке:  
— Дурачок, чего орешь? У кого просишь? Ведь у себя просишь!

А Микешка — свое:

— Миллиард надобно мне! Улицы не чищены, спички — дóроги, порядку нет...

Сказка не кончена, но дальше — нецензурно.

## XVI

Жила-была баба, скажем — Матрена, работала на чужого дядю, скажем — на Никиту, с родственниками его и со множеством разной челяди.

Плохо было бабе, дядя Никита никакого внимания на нее не обращал, хотя пред соседями хвастался:

— Меня моя Матрена любит, — чего хочу, то с ней и делаю. Примерное животное, покорное, как лошадь...

А пьяная, нахальная челядь Никитина ежечасно обижает Матрену, то — обокрадет ее, то — изобьет, а то просто, от нечего делать — надругается над ней, но между собой тоже говорит:

— Ну и бабочка Матрена наша! Такая, что иной раз даже жалко ее!

Но, жалея на словах, на деле все-таки продолжали истязать и грабить.

Кроме сих, вредных, окружали Матрену многие бесполезные, сочувствуя долготерпению Матренину; глядят на нее со стороны и умиляются:

— Многострадальная ты наша, убогая!

Некоторые же, в полном восхищении, восклицали:

— Тебя, — говорят, — даже аршином измерить невозможно, до чего ты велика! И умом, — говорят, — не понять тебя, в тебя, — говорят, — только верить можно!

А Матрена, как медведица, ломит всякую работу изо дня в день, из века в век, и всё — без толку: сколько ни срабует — дядина челядь всё отберет. Пьянство вокруг бабы, разврат и всякая пакость, — дышать невозможно!

Так и жила она, работает да спит, а в свободные минуты сокрушается про себя:

«Господи! Все-то меня любят, все меня жалеют, а настоящего мужчины — нету! Кабы пришел какой-нибудь настоящий, да взял бы меня в крепкие руки, да полюбил бы меня, бабу, во всю силу, — эдаких бы детей родила я ему, господи!»

Плачет, а больше ничего не может!

Подсыпался к ней кузнец, да не нравился он Матрене, человек вида ненадежного, копченный весь какой-то, характера дерзкого и говорит непонятно, — как будто даже хвастает:

— Только, — говорит, — в идейном единении со мной сможете вы, Матреша, перейти на следующую стадию культуры...

А она ему:

— Ну, что ты, батюшка, куда ты! Я даже слов твоих не понимаю, к тому же я велика и обильна, а тебя еле видеть!

Так и жила. Все ее жалеют, и сама себя она жалеет, а толку от этого никакого нет.

И вдруг — герой пришел. Пришел, прогнал дядю Никиту с челядью и объявляет Матрене:

— Отныне ты вполне свободна, а я твой спаситель, вроде Георгия Победоносца со старой копейки!

Глядит Матрена — и впрямь свободна она! Конечно — обрадовалась.

Однако и кузнец заявляет:

— И я — спаситель!

«Это он из ревности», — сообразила Матрена, а вслух и говорит:

— Конечно, и ты, батюшко!

И зажили они, трое, при веселых удовольствиях, каждый день — то свадьба, то похороны, каждый день ура кричат. Дядин челядинец Мокей республиканцем себя почувствовал — ура! Ялutorовск с Нарымом объявили себя Соединенными Штатами, тоже — ура!

Месяца два жили душа в душу, просто утопали в радости, как мухи в ковше кваса, но вдруг, — на святой Руси все делается вдруг, — вдруг — заскучал герой!

Сидит против Матрены и спрашивает:

— Тебя кто освободил? я?

— Ну, конечно, ты, миленькой!

— То-то!

— А я? — говорит кузнец.

— И ты...

Через некоторое время герой опять пытается:

— Кто тебя освободил — я али нет?

— Господи, — говорит Матрена, — да ты же, ты самый!

— Ну, помни же!

— А я? — спрашивает кузнец.

— Ну, и ты... Оба вы...

— Оба? — говорит герой, разглаживая усы. — Хм... н-не знаю...

Да и начал ежечасно допрашивать Матрену:

— Спас я тебя, дуреху, али — нет?

И все строже:

— Я — твой спаситель али кто?

Видит Матрена — кузнец, нахмурясь, в сторонку отошел, своим делом занимается, воры — воруют, купцы — торгуют, все идет по-старому, как в дядины времена, а герой — измывается, допрашивает ежедневно:

— Я тебе — кто?

Да в ухо ее, да за косы!

Целует его Матрена, ублажает, ласковые речи говорит ему:

— Милая ты моя Гарибальди итальянская, Кромвель ты мой аглицкий, Бонапарт французский!

А сама, по ночам, плачет тихонько:

— Господи, господи! Я думала — и в сам-деле что-нибудь будет, а оно вот что вышло!

.....  
Позвольте напомнить, что это — сказка.

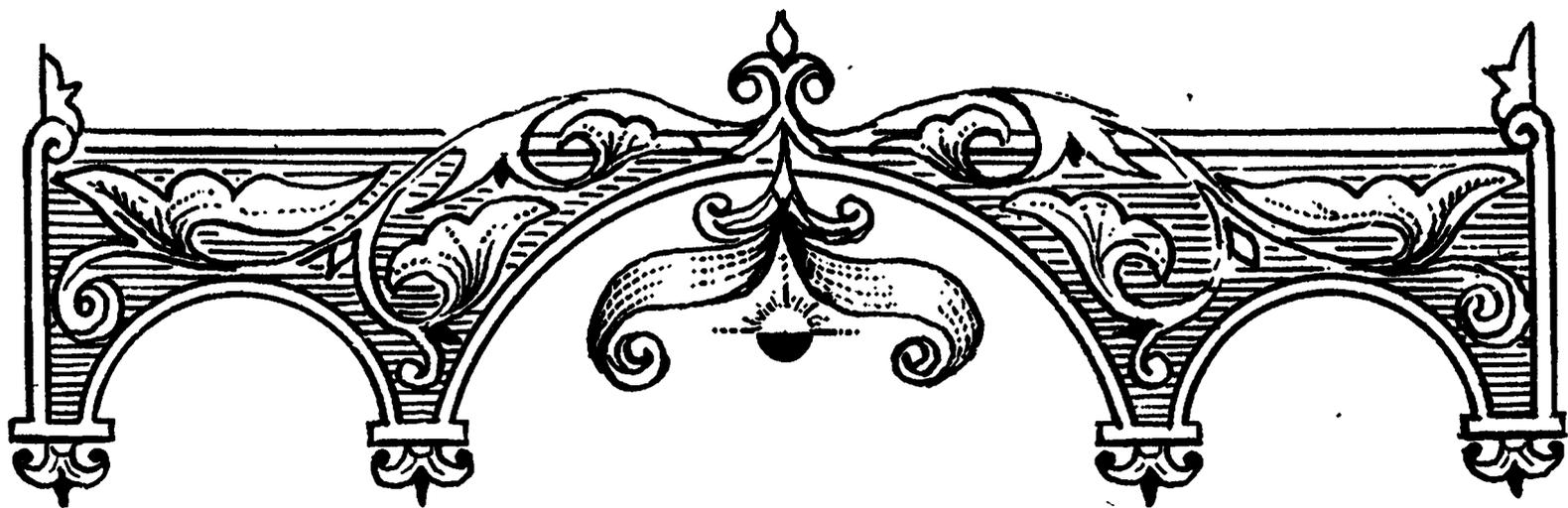




САША ЧЕРНЫЙ

СОЛДАТСКИЕ  
СКАЗКИ





## КОРОЛЕВА — ЗОЛОТЫЕ ПЯТКИ



старовенгерском королевстве жил король, старик седой, три зуба, да и те шатаются. Жена у него была молодая, собой крымское яблочко, румянец насквозь так себя и оказывает. Пройдет по дворцу, взглянет — солдаты на страже аж покачиваются.

Король все богу молился, альбо в бане сидел, барсуковым салом крестец ему для полировки крови дежурные девушки терли. Пиров не давал, на охоту не ездил. Королеву раз в сутки в белый лоб поцелует, рукой махнет да и прочь пойдет. Короче сказать, никакого удовольствия королеве не было. Одно только оставалось — сладко попить-поесть. Паек ей шел королевский, полный, что хошь, то и заказывай. Хоть три куска сахару в чай клади, отказу нет.

Надумала королева как-то гурьевской кашки перед сном поесть. Русский посол ей в день ангела полный рецепт предоставил: мед да мигдаль, да манной каши на сливках, да изюму с цукатцем чайную чашечку верхом. До того вкусно, что повар на королевской кухне, пробовавши, наполовину приел. И горничная, по коридору несши, немало хватила. Однако и королеве осталось.

Ест она тихо-мирно в терему своем, в опочивальне, по-венгерски сказать — в салоне. Сверчок за голландкой

поцыкивает, лунный блин в резное оконце глядит. На стене вышитый плат: прекрасная Гобелена ножки моет, сама на себя любит.

Глядь-поглядь, вырос перед королевой дымный старичок, личность паутиной обросла, вроде полкового капельмейстера. Глазки с бело-голубым мерцанием, ножки щуплые в валенках пестрых, ростом, как левофланговый в шестнадцатой роте, — еле носом до стола дотягивает.

Королева ничего, не испугалась.

— Кто ты такой, старичок? Как так сквозь стражу продрались, и что вам от моего королевского величества надобно?

А старичок только носом, как пес на морозе, потягивает:

— Ну и запах... Знаменито пахнет!

Топнула королева по хрустальному паркету венгерским каблучком.

— Ежели ты на мой королевский вопрос ответа не дашь, изволь тотчас выйти вон!

И к звонку-сонетке королевскую муаровую ручку протянула.

Тем часом старичок звонок отвел, ножку дерзко отставил и говорит:

— Что так сразу и вон? Я существо нужное, и выгнать меня никак нельзя. Я, матушка, домовой, могу тебе впавшую грудь сделать либо, скажем, глаз скосить — родная мать не узнает...

— Ах, ах!

— Вот тебе и ах... Могу и доброе что сделать: королю дней прибавить, альбо тебе волос выбелить, с королём посравнять. Дай, матушка, кашки, за мной не пропадет...

Зло взяло королеву.

— Ты, швабра с ручкой! Нашел чем прельщать... Не про тебя каша варена! Ступай на помойку, с опаленной курицы перья обсоси.

Домовой зубом скрипнул, смолчал и сиганул за портьеру, как мышь в подполье в сонную ночь.

Наглоталась королева кашки, расстегнула аграмантовые пуговицы, чтобы шов не треснул, ежели вздохнет. Хлопнула в белые ладоши. Постельные девушки свое дело знают: через ручки-ножки гардероб ейный постянули, ночной гарнитур сквозь голову вздели. Стеганое соболье одеяльце с боков подоткнули, будто пташку в гнезде объютили. «Спите с Богом, Ваше Королевское Величество! Первый сон — глаз закрывает, второй сон — сердце пеленает!»

Ладно. Стала она изумрудные глазки заводить. Лампадка в углу двоится. Сверчок поцыкивает. В животе кашка урчит-бурчит, по-ученому сказать, переваривается.

Тем часом дымный старичок из-за портьеры ухо приклонил: легкий королевский храп услышал. Он, рябой кот, только того и дожидался. На приступочку стал, на другую подтянулся, из-за пазухи кавказского серебра пузырек достал.

А тут королева во сне как раз приятную сладость увидела, всем своим женским составом потянулась, розовые пятки-пальчики из-под собольей покрышки обнаружила. Тут старичок и нацелился: вспрыснул пятки из фляжечки, дунул сверху, чтобы волшебная смазь ровней растеклась. Тарелку из-под каши облизал наскоро и ходу. Будто и на свете его не было.

Вздохнула королева в обе королевские груди, ручку к сердцу тяжело притулила, и обволокло ее каменным сном аж до самого полудня.

\*

Солнце в цветной оконнице павлиньим хвостом полыхает. Караул сменяется, стража у дверей прикладами о пол гремит. Стрепенулась королева, правую щечку заспала — маком горит. Вскинула было легкие ножки, ан врешь, будто утюги железные к пяткам привинчены. Пульсы все бьются, суставы в коленках действуют — однако пятки ни с места. Заело! Села она кое-как, по стенке подтянулась, глянула под одеяльце, так руками и всплеснула: свет оттедова веером, червонным золотом прыщет. Красота, скажем, красотой, а шевеления никакого.

Прибежали на крик постельные девушки, стража у дверей на изготовку взяла — в кого стрелять, неизвестно. Старик король поспешает, халатной кистью пол метет, за ним кот любимый, муаровой масти, лапкой подрыгивает.

Вбежал король, сейчас распоряжение сделал:

— Почему такое? Кто, пес собачий, королеву золотом подковал? Чего стража смотрела? Всех распотрошу, разжалую, на скотный двор сошлю свиньям хвосты подмывать. Чичас королеву на резвые ноги поставить.

Туда-сюда, взяли королеву под теплые мышki, поставили на самаркандский ковер, а она, как клейстер разваренный, так книзу и оседает. Нипочем не устоять. Всунули ее девушки под одеяльце, сами в ногах встали, пальцами фартушки теребят.

— Мы, ваше величество, этому делу не причинны. Почему такая перемена — нам неизвестно.

Опять от короля распоряжение:

— Цыц, сороки! Позвать ко мне лекарей-фельшерей. Да чтобы беглым маршем, не то я их сам так подлечу, лучше не надо!

Не успел приказать — гул-топот. В две шеренги построились, старший рапортует:

— Честь имеем явиться, ваше величество!

То да се, пробовать стали. Свежепросоленные пиявки от золотых пяток отваливаются, лекарский нож золота не берет, припарки не припаривают. Нет никаких средств! Короче сказать, послал их король, озлясь, туда, куда во время учебной стрельбы фельдфебель роту посылает. Приказал с дворцового довольствия снять: лечить не умеют, пусть перила грызут. Прогнал их с глаз долой, а сам с досады пошел в кабинетную комнату сам с собой на русском биллиарде в пирамидку играть.

Той порой по всему королевству, по всем корчмам, постоянным дворам поползли слухи, разговоры, бабьи наговоры, что, мол, такая история с королевой приключилась — вся кругом золотом начисто обросла, одни пятки мясные наружу торчат. Известно, не бывает поля без ржи, слухов без лжи. Сидел в одной такой корчме проходящий солдат 18-го пехотного Вологодского полка, первой роты барабанщик. Домой на побывку шел, приустал, каблуки пошибил, в корчму зашел винцом поразвлечься.

Услыхал такое, думает: «Солдат в сказках всегда высоких особ вывозит, большое награждение ему за то идет. А тут не сказка, случай сурьезный. Неужто я на самом деле сдрейфлю, супротив лекарей способа не сыщу?»

Поднял его винный хмель винтом, на лавку поставил. Обтер солдат усы, гаркнул:

— Смирно, черти! Равнение на меня... О чем галдеж-то? Ведите меня сей секунд к коменданту: нам золото с любого места свести, что чирей снять. Фамилия Дундуков. Ведите!

Взяли солдата под мышки, поволокли. А у него чем ближе к дворцу, тем грузнее сапоги передвигаются, в себя приходиться стал, струсил. Однако идет. Куда ж денешься?

Доставили его по команде до самого короля.

— Ты, солдат Дундуков, похвалялся?

— Был грех, ваше королевское величество!

— Можешь?

— Похвальба на лучиновых ножках. Постараюсь, что бог даст!

— Смотри! Оправишь королеву, весь свой век будешь двойную говяжью порцию есть. Не потрафишь — разговор короткий. Ступай!

Солдат глазом не сморгнул, налево-кругом щелкнул. Ать-два! Все равно, погибать так с треском... Вытребовал себе обмундирование первого срока и подпрапорщицкие сапоги на ранту, чтобы к королеве не холуем являться. В бане яичным мыльцем помылся, волос дорожный сбрил. В опочивальню его свели, а уж вечер в окно хмурится.

Спит королева, умильно дышит. Вокруг постельные девушки стоят, руками подпершись, жалостливо на солдата смотрят. Понимают, вишь, что зря человек влип.

Ну, видит солдат, что дело не так плохо. Вся королева в своем виде, одни пятки золотые... Зря в корчме набрехали. Повеселел. Всех девушек отослал, одну Дуню, самую из себя разлапушку, оставил.

— Что ж, Дуняш, как, по-вашему, такое случилось?

— Бог знает! Может, она переела? Кровь золотом свернулась, в ножки ей бросилась...

— Тэк-с. А что они вчера кушать изволили?

— Гурьевскую кашку. Вон тарелочка ихняя на столике стоит. Ободок бирюзовый.

Повертел солдат тарелочку — чисто. Быдто кот языком облизал. Не королева ж лизала.

— Кот тут прошедшую ночь околачивался?

— Что вы, солдатик! Кот королю заместо грелки, всегда с ним спит.

Посмотрел опять тарелочку: три волоска седых к ободку прилипли. Вещь не простая...

Задумался и говорит Дуне:

— Принеси-ка с кухни миску гурьевской каши. Да рому трехгодовалого полуштоф нераспечатанный. Покамест все.

— Что ж вы одну сладкую кашку кушать будете? Может, вам, кавалер, и мясного хочется? У нас все есть.

— Вот и выходит, Дуняш, что я ошибся. Думал я, что вы умница, а вы, между прочим, такие вопросы задаете. Может, кашу и не я кушать буду.

Закраснелась она. Слетала на кухню. Принесла кашу да рому. Солдат и говорит:

— А теперь уходите, красавица, я лечить буду.

— Как же я королеву одну-то оставлю. Король осерчает.

— Пусть тогда король сам и лечит. Ступай, Дуня. Уж я свое дело и один справлю.

Вздохнула она, ушла. В дверях обернулась: солдат на нее только глазами зыркнул. Бестия!

Спит королева: Умильно дышит. Ухнул солдат рому в кашу, ложку из-за голенища достал, помешал, на стол поставил. Сам сел в углу перед печкой по-киргизски да в трубу махорочный дым пускать стал. Нельзя же в таком деле без курева.

Ждет-пождет. Только двенадцать часов на башне отшелкало, топ-топ, выходит из-за портьеры дымный старичок, носом поверху тянет, к миске направление держит.

Солдат за печку — нет его, и шабаш.

Короче сказать, ест старичок, ест, аж давится, деревянную ложку по самый черенок в пасть запихивает, с ромом-то каша еще забористее. Под конец едва ложку до рта доносить стал. Стрескал, стервец, все, да так на кожаном кресле и уснул, головой в миске, бороду седую со стола свесивши...

Глянул солдат из-за печки: клюнуло. Ах ты, в рот тебе тыква!

Подобрался он к старичку, потрусил его за плечико — пьян, как штопор, ручки-ножки обвисли. Достал солдат из ранца шило да дратву и пришил крепко-накрепко домового к креслу кругом сквозь штаны двойным арестанским швом. Ни в одной швальне лучше не сделают.

Сам шинель у королевской кровати разостлал, рукой дух солдатский разгреб, чтобы королеве не мешало, и спать улегся, как в лагерной палатке.

Просыпается на заре: что за шум такой? Видит, натужился старичок, покраснел, рябой кот, возит кресло по хрустальному паркету, отодраться не в силах. А королева понять ничего не может, с постельки головку румяную свесила, то на старичка, то на солдата смотрит, — смех ее разбирает.

— Не извольте, — говорит солдат, — сомневаться! Мы с ним коммерцию в два счета кончим. Эй, — говорит, — господин золотарь, грузовичок свой остановите, разговаривать способнее будет! Вот!

Старичок, конечно, шипит:

— Чем ты меня, пес, с оберточной стороны приклеил?

— Пришил, а не приклеил. Это, друг, покрепче будет. Ну, милый, белый день занимается, некогда с тобой хороводы водить. Умел золотить, умей и раззолачивать. Давай обратное средство, живо, не то так тут на кресле и иссохнешь.

Старик умный был, видит, что перышко ему под ребро воткнули. Достал из-за пазушки пузырек перламутровый, насупил и подает солдату:

— Подавись!

— А ну-кась, давай сюда и первый золотильный состав.

Оконце приоткрыл, проходящую кошку из кровельного желоба выудил, снял сапог, сунул ее в голенище. Золотильным составом капнул ей под хвост, так кругом золотой циферблат и обозначился. Капнул из перламутровой скляночки, враз все сошло.

— Ишь ты... Чтоб тебе ежа против шерсти родить!

Чуть он, можно сказать, вприсядку не пустился.

Честно-благородно дратву вокруг стариковых штанов подрезал. Вскочил старичок, встряхнулся, как мокрая крыса, и нырнул за портьеру.

Подошел солдат к королевской постели, каблуки вместе, во фронт стал. Королева, конечно, запунцовелась, глазки прикрыла, неудобно ей: хоть он, солдат, заместо лекаря, а все ж мужчина. На пятки ему пальчиком показывает.

Капнул солдат на мизинный палец с исподу, сразу он порозовел, быдто бутон с яблони райской, — теплотой наливается... С полпятки выправил, сердце стучит — нет мочи.

— Дозвольте, ваше королевское величество, передышку сделать, оправиться. Очень меня в жар бросило с непривычки.

На эти слова повела она ласково бровью. А бровь, словно колос пшеничный, прости господи...

\*

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Короче сказать, родилось у королевы в положенный срок дите-королевич. Многие давно примечали, что к тому дело шло. Король спервоначалу руками развел, однако потом ничего — обрадовался.

Пирование было, какого, скажем, и в офицерском собрании не бывает. Пили-ели, аж порасстегнулись некоторые. Костей-пробок полную корзину понакидали. Солдат Дундуков на почетном месте, супротив короля сидел. В холе жил после королевиной поправки. Ароматами дворцовыми заведывал, должность ему такую придумали. Каждый день двойная говяжья порция ему шла, папироски курил, не соврать, шесть копеек десяток — «Пажеские». Раздуло его на сладких харчах, словно бугай племенной стал. Многие из служанок девушек интересовались, одна Дуня брови сдвигала, никогда на него и не взглянет.

В полпирование поманил комендант королевский Дундукова пальцем.

Вышли они в прохладительную комнату, комендант по сторонам глянул и громким шепотом говорит:

— Лиса курку скубет, лиса и ответ дает. Дело свое ты, Дундуков, своевременно справил, золотые пятки с королевы, как мозоль, свел. Награждение получил, бессрочный отпуск сполна выслужил. Однако, друг любезный, надоть тебе чичас сундучок собирать, в путь-дорогу отправляться. Маршрут на все четыре стороны. Прогонные — коленом ниже спины из секретного фонда получишь. С богом, друг! Обмундирование свое второго срока прихватить не забудь. Дезинфекция сделана.

Побагровел солдат, в холодный жар его бросило, однако спросить насмелился:

— Почему ж такое?

— Потому такое, что у королевича новорожденного пятно мышастое на правом ухе... Понял?

— Пятно я свести могу. Должно, опять домовой...

Сунул ему комендант бессловесно под самые усы светлое походное зеркальце: смотри, мол.

Что ж сытого потчевать? Глянул солдат на свое правое ухо, серьгой замотал.

— Так точно, — говорит, — понял!..

Вышел он на королевский двор, сундучок на ремне через плечо перекинул.

— Эх, ты... С пухом, с духом, нос на вздержках... Не хвастай, коноплястый, — будешь рябенький!

Дуня сверху в окне стоит, мимо смотрит.

Постельные девушки рты ладонями прикрывают, перемигиваются. Вздулся волдырь да и лопнул!..

Помаршировал солдат по дороге, в сундучке пуговицы перекатываются. Думает: зря это я сразу две пятки свел. Надо было хоть с полпятки золотой оставить. Разговор бы другой был. А впрочем, что ж: может, еще кого подлечить придется, — в другом королевстве.

## АНТИГНОЙ

Посылает полковой адъютант к первой роты командиру с вестовым записку. Так и так, столик у меня карточный дорогого дерева на именинах водкой залили. Пришлите Ивана Бородулина глянец навести.

Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулину что ж: с лагеря от занятий

почему не освободиться; работа легкая — своя, задушевная, да и адъютант не такой жмот, чтобы даром солдатским потом пользоваться.

Сидит это Бородулин на полу, лаком-сандаракон ножки натирает, упарился весь, разогрелся, гимнастерку с себя на паркет бросил, рукава засучил. Солдат был из себя статный да крепкий, хочь пѣтрет пиши: мускулы на плечах и руках под кожей чугунными желваками перекатываются, лицо тонкое, будто и не простой солдат, а чуть-чуть офицерских дрожжей прибавлено. Однако ж что зря хаять, — родительница у него была старого закала, природная слободская мещанка, — в постный день мимо колбасной лавки не пройдет, не то, чтобы что...

Перевел дух Бородулин, ладонью пот со лба вытер. Поднял глаза, барыня в дверях стоит — молодая, значит, вдова, у которой адъютант по сходной цене фатеру сымал. Из себя аккуратная, личико тоже — не отвернешься. Ужли адъютант у корявой жить станет...

— Упрели, солдатик?

Скочил он на резвые ноги — гимнастерка на полу. Только он ее через голову стал напяливать, второпях в ворот руку вместо головы сунул, ан барыня его и притормозила:

— Нет, нет! Гимнастерку не трожьте!

Обсмотрела его по всем швам, будто экзамен произвела, и за портьерку медовым голосом бросила:

— Чисто Антигной!.. Энтот мне как есть подходит.

И ушла. Только дух за ней сиреневый так дорожкой и завился.

Принахмурился солдат. На кой ляд он ей подходит? Экое слово при белом свете ляпнула... С жиру они, барыни, перила грызут, да не на такого напала.

Справил Бородулин работу, снасть свою в узелок связал, через вестового доложил.

Вышел адъютант самолично. Глаз прищурил: блестит столик, будто его корова мокрым языком облизала.

— Ловко, — говорит, — насандалил! Молодец, Бородулин!

— Рад стараться, ваше скородие. Только извольте приказать, чтобы до завтра окон не отпирали, пока лак не окреп. А то майская пыль налетит, столик затомится... Работа деликатная. Разрешите идтить?

Наградил его адъютант как следоват, а сам ухмыляется.

— Нет, братец, постой. Одну работу справил, другая

прилипла. Барыне ты очень понравился, барыня лепить тебя хочет, понял?

— Никак нет. Сумнительно чтой-то...

А сам думает, что ж меня лепить-то? Чай, уже вылеплен!..

— Ну, ладно. Не понял, так барыня тебе разъяснение даст.

И с тем фуражку на лоб и в сени проследовал.

Только, стало быть, солдат за гимнастерку — портьерка — взык! — будто ветром ее в бок отнесло. Стоит барыня, пуховую ладонь к косяку прислонила и опять за свое:

— Нет, нет! Взойдите, как есть, в натуральном виде. Вас как зовут-то, солдатик?

— Иван Бородулин! — ответ дал, а сам, будто медведь на мельничное колесо, вбок уставился.

Зовет она его, значит, в свой покой на близкую дистанцию. Адъютант приказал, не упрешься.

— Вот, — говорит барыня, — обсмотрите. Все кругом, как есть моей работы.

Мать честная! Как глянул он, аж в глазах забелело; полна горница голых мужиков, кто без ног, кто без головы... А промеж них бабы алебастровые. Которая лежит, которая стоит... Платья-белья и звания не видать, а лица, между прочим, строгие.

Барыня тут полное пояснение сделала:

— Вот вы, Бородулин, по красному дереву мастер, а я из глины леплю. Только и разница. Ваша, например, политура, а моя — скульптура... В городе монументы, скажем, понаставлены, те же самые идолы, только в окончательном виде...

Видит солдат, что барыня не военная, мягкая, — он ей поперек и режет:

— Как, сударыня, возможно? На монументах ерои в полной парадной форме на конях шашками машут, а энти, без роду-племени, ни к чему. Разве таких голых чертей в город выкатишь?

Она, ничего, не обижается. В кружевной платочек зубки поскалила и отвечает:

— Ан вот и ошиблись. В Питере не бывали? То-то и оно! А там в Летнем саду беспорточных энтих сколько угодно. Который бог по морской части, которая богиня бесплодородием заведует. Вы солдат грамотный, следует вам знать.

«Ишь заливает! — думает солдат. — Чай, там в столичном саду мамки княжеских ребят нянчат, начальство

гуляет — как же возможно погань такую меж деревьев ставить?..»

Достает она из рундучка белую мохнатую простыню, край кумачовой лентой обшит, — подает солдату.

— Вот вам вместо крымской епанчи. Рубаху нательную сымайте, мне она без надобности.

Ошалел Бородулин, стоит столбом, рука к вороту не подымается.

Ан барыня упрямая, солдатского конфуза не принимает:

— Ну что ж вы, солдатик? Мне ж только до пояса — подумаешь, одуванчик какой монастырский!.. Простыньку на правое плечо накиньте, левое у Антигноя завсегда в натуральном виде.

Не успел он опомниться, барыня простыню на плече лошадиной бляхой скрепила, посадила его на высокий табурет, винт подвинтила... Вознесся солдат, будто кот на тумбе, — глазами лупает, кипяток к вискам приливает. Дерево прямое, да яблочко кислое...

Взяла она солдата на прицел из всех углов.

— В самый раз! Вот только стригут вас, солдат, низко — мышь зубом не схватит. Антигною беспрременно кудерьки полагаются... Мне для полной фантазии завсегда с первого удара модель во всей форме видеть надо. Ну, этой беде пособить нетрудно...

В рундучок снова нырнула, паричок ангельской масти вынула и на Бородулина его так круглым венчиком и скинула. Сверху обручем медным притиснула — то ли для прочности, то ли для красоты.

Глянула она с трех шагов в кулачок:

— Ох, до чего натурально! Известкой бы вас побелить да в замороженном виде на постамент поставить — и лепить не надо...

Посмотрел и Бородулин в зеркало — что наискось в простенке около козлоногого мужика висело... Будто черт его за губу дернул.

Ишь срамота... Мамка не мамка, банщик не банщик — то есть до того барыня солдата расфасонила, что хочь в балаганах показывай. Слава тебе, господи, что окно высоко: окромя кошки, никто с улицы не увидит.

А молодая вдова в раж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сыромятном виде на скорую руку обшлепала, вместо головы колобок мятый посадила. Вертит, пыхтит, на Бородулина и не взглянет. Спервоначалу она, вишь, до тонких тонкостей не доходила, абы глину кое-как обломать.

Потеет солдат. И сплюнуть хочется, и покурить охота смертная, а в зеркале плечо да полгруды, как на лотке, корнем торчат, вверху рыжим барашком пакля расплывается, — так бы из-под себя табурет выдернул да себя по морде и шваркнул... Нипочем нельзя: барыня хочь и не военная, однако обидится, — через адъютанта так ушибет, что и не отдышишься. Упрела, однако ж, и она. Ручки об фартух вытерла, на Бородулина смотрит, усмехается.

— Сомлели? А вот мы передышку чичас и сделаем. Желательно походить — походите, а то и так в вольной позиции посидите.

Чего ж ему ходить в балахоне-то энтот с обручем? Запахнул он плечо, слюнку проглотил и спрашивает:

— А из каких он, Антигной энтот, будет? В богах бурсурманских числился либо на какой штатской должности?

— При крымском императоре Андреяне в домашних красавцах состоял.

Покрутил Бородулин головой. Скажет, тоже... При императоре либо флигель-адъютанты, либо обер-камердинеры полагаются. На кой ему ляд при себе хахаля такого в локонах содержать.

А барыня к окну подошла, в сад по грудь высунулась, чтобы ветром ее обдуло: тоже работа не легкая — пуд глины месить, не утку доить.

Слышит солдат за спиной писк-визг мышиный, портьерка на кольцах трясется. Покосился он взад на оба фланга, чуть с табуретки не скovyрнулся: с одного конца барынина горничная, вертеха, в платочек давится, с другого денщик адъютантский циферблат высунул, погоны на нем так и трясутся, а за ним куфарка — фартуком пасть закрывает... Повернулся к ним Бородулин полным патретом — так враз всех и прорвало, будто по трем сковородкам горохом вдарили... Прыснули, да скорее ходу по стенке, чтобы барыня не застигла.

Обернулась барыня от окна, Бородулина спрашивает:

— Вы что же это, солдатик, фырчите?

И ответить нечего... Кто фырчит, а кто обалдуем на табуретке сидит. Обруч набок съехал, глаза как гвозди: так бы всех идолов в палисадник вместе с барыней к хрену и высадил. Вздохнул он тяжело — Бог из глины Адама лепил, поди Адам и не заметил, а тут барыня перед всей кувней на позор выставила...

Эх ты, гладкая! Сколько у ерша костей, столько и барских затей... Знак за отличную стрельбу выбил, по гимнастике, по словесности первый в роте, и вот достиг, — из-за адью-

тантской политуры в Антигнои влип и не вылезешь... Не барыниным каблучкам присягал, чего ж в простыню-то заворачивает?

Видит барыня, что солдат совсем смяк. Полепила еще с малое время, передничек сняла и деликатным голосом выражает:

— Ежели вам, например, невмоготу, чего ж зря сопеть-то... Энто с простого звания людьми часто бывает — от умственного занятия до того иного с непривычки в полчаса расшатает, будто воду на ем возили... Да и мне лепить трудно, ежели натура на табуретке простоквашей сидит. Для фантазии несподручно. Идите, солдатик, в лагерь. А завтра с утра беспременно приходите. Я завтра постановку головы вам сделаю, а что касаемо ног, уж я их вам наизусть с какого-нибудь крымского болвана приспособлю.

И полтинничек новый Бородулину из портмонетки презентовала. Барыня была справедливая, тоже она не любила, чтобы около ее даром потели...

\*

Заявился Бородулин в лагерь — около передней линейки стоит ихней роты фельдфебель, брюхо чешет, в бороду речет.

— С легким паром. Отполировался?

— Так точно. Столик в полную форму произвел.

— Ты мне столиком не козыряй... Барыня-то до коих пор тебя вылепила? Антигноем заделался. Смотри, в Питер на выставку идола твоего пошлет, заказов не оберешься.

Взводные тут которые, свои и чужие, — в руку похихатывают, земляки ухмыляются...

Сгорел Бородулин... Вот так пуля! Стало быть, по денщицкому полевому телефону уже дошло... В городе рубят, по посадкам щепки летят.

Тронулся он было дальше, в свое отделение, а сзади так и поддают.

— Ишь ты доброход! Такие-то тихие, можно сказать, и достигают.

— В карсет его засупонила. Лепись!

— Ён и сам вылепит... Ай да Бородулин, первую роту не посрамил!

Прибавил солдат ходу — сколько ни брешут, еще и на завтра останется.

Ан тут ротный с батальонным, старичком, по песочку мимо палаток прогуливаются.

Стал Бородулин во фронт. Батальонный на него глазами ротному показывает.

— Антигной?

— Он самый. Ну что ж, Бородулин, потрафил?

— Не могу знать, ваше скородие!

Тянется солдат, а сам, как вишня, наскрозь горит.

— Ну, ступай отдохни. Замайлся поди. Ишь, орел какой... Можно сказать, выбрала!

А уж какой там орел — курицей в палатку свою заскочил, куска хлеба не съел, до самой вечерней поверки винтовку свою чистил, слова ни с кем не сказавши.

Утром, только на занятия вышли, Бородулин ни гу-гу, будто вчерашнее во сне привиделось. Однако фельдфебель пальцем его к себе поманил.

— Собирайся, гоголь! Адъютант вестового присылал, чтобы непременно тебе каждое утро у барыни лепиться... Портянки-то свежие надень — либо носки тебе фильдебросовые из штаба округа прислать. Павлин ты, как я погляжу!

Взмолился тут Бородулин, чуть не плачет:

— Ослобоните, господин фельдфебель... Заставьте за себя Бога молить. За что ж я в голой простыне на весь полк позор принимать должен? Уж я вашей супружнице в городе опосля маневров так кровать отполирую, что и у игуменьи такой не найти.

— Не подсыпайся, братец, не могу. Ты солдат старательный, сам знаю. Да как быть-то? Ротный из-за тебя с полковым адъютантом в раздор не пойдет... Потерпи, Бородулин, экой ты щекопливый. Солдат только на морозе да в бане краснеть должен. Однако ты там смотри — в адъютантский котел с солдатской ложкой не суйся... Адъютант у нас серьезный. Ступай!

Вот и позавтракал: селезень и тот упирается, когда его резать волокут, а солдат и серьгой тряхнуть не смеет.

\*

Помаршировал Бородулин к барыне, в каждом голенище словно по пуду песку, — до того идти неохота. Слободую проходил, слышит из белошвейной мастерской звонкий голос его окликает:

— Эй, кавалер! Что ж паричок-то не надели, мы для вас бантик розовый заготовили...

Обернулся он, а в окне четыре мамзели, одна на другой лежит, пальцами на него указывают.

— Антигной Иванович! Зашли бы к нам, что брезгаете? Чай, мы не хуже барыни, красоту бы свою нам показали...

— Плечики у вас, сказывают, пуховые... Может, голь-кремом смазать прикажете? Что ж так барыне в сыром виде показываться?

Наддал солдат, щебень под каблуками так сахаром закрипел. А вслед самая озорная, девчонка шелудивая, которая утюжки подает, на всю улицу заливаается:

— Цып-цып-цып!.. Солдатик! В случае глины у вас нехватит, пришлите к нам, у нас на дворе свињи свежей нарыли!..

Ишь, уксус каторжный!.. На всю слободу оскоромила. Взял он наперерез проулком к адъютантской фатере направление, в затылок мальчишки в два пальца свистят, приказчики из москательной лавки на улицу высыпали:

— Эвона! Монумент глиняный на занятия вышел... Что к чему обычно — брюхо в опояске, солдат к барыниной ласке.

— На соборной площади тебя, сказывали, поставят — смотри не свались!

Развернулся было Бородулин, хотел одного, который более всех наседал, с катушек сбить, ан тот в лабаз заскочил. Сел, пес, в дверях на ящик, мешок через плечо перекинул, ноги раскорячил — показывает, как солдат на табуретке в позиции сидит...

Прямо, можно сказать, убил. Грохот, свист... Сиганул Бородулин через забор, да пустырями, по задворкам, на барынину улицу, как петух из капусты, вынырнул.

Зашел с черного хода, будто его на аркане топить волокни. Только мимо кувни проскочить нацелился: горничная за куварку, куварка за денщика, — трясутся, заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин словно босыми ногами по битой посуде... Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал бы он ее по прямому проводу, да нижним чинам в барском доме деликатные слова заказаны...

В два счета обрядила она его по-вчерашнему — локонцы эти собачьи промеж ушей натянула, на правом плече бляха, левое окороком вперед.

— Как сомлеете, скажите... Я зря человека мучить не люблю.

Добрая, что и говорить! А сама такую муку придумала, что кабы не служба, кота б она на крыше лепила вместо Бородулина...

Мнет барыня глинку, миловидно дышит. Туловище кое-как обкорнала, на патрет перешла... Чиркуль со стенки сняла и для проверки дистанции стала солдату между губой

и носом да промеж глаз тыкать... Наизусть, значит, не умела — а тоже берется...

Злой он сидит, как волк в капкане. Да волку, поди, легче — лапу отгрыз и поминай как звали. А тут, отгрызи-ка! На чиркуль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал, и все ухом к портьерке: не рогочут ли там эти гадюки домашние... Хорошо ему, денщику адъютантскому, — курносый да рябой, как наперсток, — в Антигнои-то не попал.

Встрепенулась тут барыня:

— Ах-ах! Совсем из памяти вон. Портниха ж меня там в будуварном покое дожидается!.. Делов столько, что почесаться некогда. Вы уж, солдатик, посидите, ручки-ножки поразомните, а я там мигом по своей женской части управлюсь. Орешков пока не желаете ли погрызть, только на паркет не сорите!

С тем и упорхнула. Сидит Бородулин, преет, табурет под ним побрякивает. До орешков ли тут, кажись бы, самого себя с досады перегрыз. Нечего сказать, поднесла ему барыня: и проглотить тошно, и выплюнуть не смей.

А за спиной фырк да фырк... Ляпнуть бы туда туловищем своим глиняным.

Ан тут портьерка в сторону — старая старушка, которая при барыниной дочке в няньках состояла, на пороге стоит, в коридор зычным голосом командует:

— Кыш, пошли прочь на куфню! Еще и чужих понавели смотреть — эка невидаль, — с солдата мерку симают... Вон отседова, не то барыне доложу, она вас живо распатронит.

И в монументальную комнату колобком вкатилась. Посмотрела на Бородулина, аж чепчики заскребла:

— Тьфу ты, нечистая сила! Ишь, как живого солдата в крымскую девку обработала...

Солдат, бедный, так голенищами с досады и хлопнул:

— Что ж, бабушка, самому не сладко... По городу не пройти — так и поливают. Привязала меня твоя барыня через адъютанта, как воробья на нитке, куда ж подашься...

— А ты не гоноши... Какой роты?

— Первой, бабушка. Под арестом ни разу не был, стрелок хоть куда — из пяти пуль все пять выбиваю... Вот и дождался производства. Барыне б твоей полпуда мышей за пазуху!

Пожевала старушка по-заячьи губами, обсмотрела со строгостью Бородулина, однако ж смягчилась.

— Внучек у меня в Галицком полку служит тоже в первой роте. Вроде тебя. Винтовку за штык в вытянутой руке подымает... Ну, что ж, сынок, надо тебе ослобониться. Барыня

у нас ничего, да вот блажь на нее накатывает, все норовит кобылу хвостом вперед запречь...

— Да как же, бабушка, ослобониться-то?

— А ты старших не перебивай. И не такие винты развинчивала... — Походила она по комнате, морскому богу в морду с досады плюнула и вдруг — хлоп! — на прюнелевых ботинках подкатывает к табуретке, веселым шепотом скворчит:

— Нашла, яхонт... Ей-богу, наша! Куда дерево подрубил, туда, милый, и свалится! Барыню нашу нипочем не сколупнешь — адъютантом вертит, не то что солдатом на табуретке. Однако есть и на нее удавка: запахов простых она не переносит — субтильная дамочка. Почитай, с самого детства, чуть что, чичас же из комнаты вон...

— Да где ж я, бабушка, запахи энти-то возьму?

— А ты, Скобелев, вперед не заскакивай... Завтра спозаранку, прежде чем на муку свою идти, редьки скобленой поешь, сколько влезет да еще полстолько... Понял? Да луковицу старую пополам разрежь и под мышками себе натри до невозможности. Вот как вспотеешь, не то что барыня, мухи на паркет попадают. Чу, идет... Пострадай уж, сынок, сегодня, а завтра помянешь ты меня, старуху, добрым словом.

И с тем на прюнелевых ботинках выкатилась, будто светлый ангел.

Барыня взошла и опять за свою глинку. Воззрилась она раз-другой, сережками потрясла:

— Чудной вы, солдатик. То как сыч сидел, а теперь вишь веселость какую в лице обнаружил. Посурьезнее нельзя ли? Антигнои, они веселые не бывают.

А как тут серьезным сидеть, когда все нутро у солдата от старушкиных слов так и взыграло...

\*

Далее что и рассказывать?.. Как на другое утро стал солдат на посту своем табуретном редькой отрыгивать, да как потным луком от него, словно из цыганского табора, понесло — барыня так и взвилась. Да еще на евонное счастье дождик шел — окна не откроешь...

Стала она с ножки на ножку переступать, да кружевным платочком вентиляцию производить, да глину с тоски не в тех местах мять, где полагается...

К грудям ей подкатило, насилу успела выбежать — можно сказать, аж люстра матом покрылась, до того солдат нянькин рецепт по всей форме произвел.

Ждет он, пождет, нет барыни. То ли ему одеваться, то ли дальше редькой икать... Да и совесть покалывает стала: барыня к нему «солдатик-солдатик», а он так со шкуркой ее от глины и оторвал. Что ж, сама виновата, хочь бы, скажем, Ермака с него лепила, либо генерала Кутузова, а то такую изменную вещь...

Стал он деликатно каблуками постукивать, чтоб редьку заглушить, ан тут нянька гимнастерку ему несет, глаза, как у лисы, когда она из курятника с полным брюхом ползет.

— Ну, милый, полный расчет. Оболакайся да ступай в лагерь, нам ты более не надобен... Ух, и начадил ты, однако, — сига закоптить можно.

Курительную монашку зажгла и в угол отвернулась, пока солдат с себя поганую одежду сымал.

Затянул он поясок, обернулся, полушалок с турецкими бобами из кармана вынул и старушке с поклоном преподносит:

— Примите, бабушка, за совет, за беспокойство. Из волчьей ямы, можно сказать, вытащили!..

— Ах, свет мой! Глазастый-то какой — вот уж угодил старухе... Спасибо, сынок. Кабы с плеч лет пятьдесят скинуть, я б тебя, ландыш, и не так отблагодарила. Однако ступай — до того от тебя простой овощью разит, что и разговор вести невозможно.

Встряхнулся Бородулин, налево-кругом повернулся, подошвой о пол хлопнул — аж все голые мужики-бабы по стенкам затряслись...

## ОСЛИНЫЙ ТОРМОЗ

Притаилась, стало быть, наша головная колонна в Альпах в непроходимом ущелье. Капказ не Капказ, а горы этак с полтора Ивана Великого. Облака, которые потяжелее, поверху цыпаются, ни взад ни вперед. Водопадина сбоку шумит. Чего же ей, дуре, больше делать? Суворов-фельдмаршал самой собой в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход поднебесным путем пошла, чтобы французу в зад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое, Суворову через правый рукав наплевать. Потому прочие начальники — генералы, а он — генералиссимус, никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и

мои чудо-богатыри ползком-швырком взойдут, скатятся. Дыхания хватит, а не хватит, у себя же и займем...

Сидят это солдатики под скалами, притихли, как жуки в сене. Не чухнут. За прикрытием кое-где костры развели, заслон велик, не видно, не слышно. Хлебные корочки на штыках поджаривают, чечевицу эту проклятую в котелках варят. Потому австрийские союзнички наш обоз с гречневой крупой переняли, своим бабам гусей кормить послали. Сволота они были, не приведи бог! А нам своей чечевицы подсунули — час пыхтит, час кипит, — отшельник, к примеру, небрезгающий, и тот есть не станет. Дерьмовый провиант!..

Ходит Суворов-князь по рядам, кому кусок леденца из специального кармана ткнет: «Соси за мое здоровье!» Кого по лядунке хлопнет, пошутит: «Знаешь меня, кто я таков?»

— Как же нам своего отца не знать! Вас, Ваше Сиятельство, по всей Рассеи последний черемис и тот знает...

— А может, я вражеский шпиён под Суворова подзаделался... Ась? Что же ты — спорынья в квашне, сто рублей в мошне, — как зуй на болоте, нос вытянул? Стой не шатайся, говори не заикайся, ври не завирайся!

— Разве ж шпиён так по-русски чесать может?.. Да и по глазам кто ж Ваше Сиятельство сразу не признает...

— Какие такие у меня глаза? Один плачет, другой дремлет, третий за всех вас не спит.

— Такие глаза, будь здоров во веки веков, — отвечает чудо-богатырь, — что прикажи мне чичас, батюшка, чтоб я самого себя на шомпол насадил и на костре изжарил, — и глазом не моргну!

Ухмыльнулся Суворов в сухой кулачок, треух свой поперек передвинул.

— Уж ты, сват, лучше не жаривайся! Авось и живьем пригодишься.

Обошел линию, посты проверил, задумался. Адъютант любимый ему чичас табакерку на ладошке поднес для прояснения мыслей. Чихнул Суворов, эхо ему за горой: «Будьте здоровы-с!» Рассмеялся старик: «Обоз в порядке?» — «Так точно, за вашим шатром расположившись».

А тут лунный месяц из-за гребешков альпийских выплыл, снежинки перепархивают, будто белые мотыльки в синьке кипят. Одним словом, красота. Ветер на буйных крылах за гору перемахнул, над хребтом грохочет, в ущелье не достигает. Солдат, значит, не подморозит. Перекрестил Суворов адъютантову голову: «Ступай спать, Христос с то-

бой!» И пошел к себе в киргизский шатер, что всегда за им в обозе возили.

Отвернул вестовой Сундуков кошму, тихим голосом рапортует:

— Зайчиху я тутошнюю в силок поймал. Жирная, не уколупнешь! С каких харчей она тут в горах раздобрела, господь ее знает.

— Ну что ж, — говорит князь Суворов. — И женись на своей зайчихе. Меня в посаженные отцы позовешь.

— Никак невозможно, Ваше Сиятельство, потому я ее зажарил, аржаной корочкой нашпиговал. Окажите боже-скую милость, погрызите хоть лапку. Силы вам, батюшка, беречь надо, а вы, можно сказать, одним сквозным воздухом изволите питаться.

Принахмурился Суворов, сальную свечку поднял, морду вестовому осветил:

— Смотри, Васька!.. Загадки гадки, а отгадки с души прут. Я раз в году сержусь, да крепко. Ты что ж, поведения моего не знаешь? Турок ты, что ли?

— Лайтесь не лайтесь. Ваше Сиятельство! Хоть жареным зайцем меня по скуле отхлещите, только извольте скушать.

— Эх ты, Васька! Семь в тебе душ, да не в одной пути нет. Даром что при мне состоишь... Когда ж я своих солдат по скуле хлестал? Хочь в нитку избожись, не поверю! Я свою солдатскую порцию чечевички съел, сладкая, брат, пища! Австрийцы хвалят — с нее они такие и храбрые... А жаркое сам съешь, я тебе повелеваю.

Взял Сундуков зайца за задние лапки, сало с него так и каплет, прямо сердце зашло. Вышел на мороз и первый раз за всю службу приказания самого Суворова не сполнил: кликнул обозную собачку и шваркнул ей зайца: «Жри, чтоб тебя адским огнем попалило!»

Собачка, само собой, грамотная: хряп-хряп, только и разговору. Посмотрел Сундуков, слезы так бисерным горохом и катятся, к штанам примерзают. Махнул рукой и сел на мерзлый камень звезды считать: какие русские, какие французские...

Тут-то, братцы мои, и началось. Сидит Суворов, горные планты рассматривает, — храбрость храбростью, а без ума бобра не убьешь. И вдруг музыка: ослы энти обозные как заголосят — заревут — зарыдают: будто пьяные черти на волынках наяривают... Да все гуще и гуще! Обозные собачки подхватили в голос, с перебоями, все выше и выше забирают, словно кишки из них через глотку тянут.

Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столику, летит Сундуков, в свечу вытянулся.

— Что там за светопреставление? Ведьма, что ли, бешеного быка рождает?

— Никак нет!.. Ослы поют. Погонщик через переводчика сказывает, будто они завсегда в полнолунную ночь в восторг приходят, кто кого перекричит. Занятие себе такое придумали, Ваше Сиятельство...

— Ишь ты, скажи на милость. А у меня, сват, свое занятие: соснуть на часок надо, тоже и я не двуличный. Дай-ка пакли из тюфячка, уши заткнуть.

Покрутил Сундуков гловый... Ах ты, Царица Небесная! Ужели русскому генералиссимусу из-за такой последней твари не спать?.. Ишь, как притомился!

Паклю подал, вздохнул и на мелких цыпочках прочь вышел.

Да разве ж против ослиной команды пакля действует? Месяц встал выше, сияние на полную небесную дистанцию, ослы-стервы только в силу вошли, будто басы-геликоны мехами раздувают, да с верхним подхватцем...

Тетку твою поперек! Сел Суворов на койку, щуплые ножки свесил, сплюнул, под пушечный гром спал, под небесный спал, а тут — хочь воском уши залей, не всхрапнешь. Чего делать? Приказать им в мешки морды завязать? За что ж тварь мучить, погонщика обижать... Поколеют, не солдат же в дышла впрягать. И животная полезная, из жил тянется, в гору ли, с горы ли, — ей наплевать. Соломы дадут — схряпает, не дадут — солдатскую пуговку пососет. Экая оказия!.. Спасибо создателю, ветер над горой ревет, ослов заглушает. А то бы беда, враг близко...

Вынырнул тихим манером Сундуков из кошмы, стоит, искоса на начальника любимого смотрит. Шагнул ближе, в свечу вытянулся.

— Не извольте, Ваше Сиятельство, беспокоиться, чичас они замолчат.

— А ты что ж, с обоих концов из соломой заткнешь?

— Никак нет! Голос у них такой, никакая солома не удержит.

— Как же так они, сват, замолчат? Они ж только во вкус вошли — ишь как наддают, хоть вприсядку пляши.

— Не извольте беспокоиться. Чичас полную тишину Вашему Сиятельству предоставлю.

Ушел вестовой. И что ж, братцы, как по отделениям, в одном конце закупорило, в другом... Чуть последний осел сверчком рипнул и — стоп.

Вынул Суворов паклю, прислушался: ни гу-гу. Ухмыльнулся он, походную думку-подушку поправил, плащом ножки прикрыл и как малое дитё, ручку под голову, — засвис-тал-захрапел, словно шмель в бутылке. Какой ни герой, а и сам Илья Муромец, надо полагать, сонный отдых имел.

\*

Утречком, чуть серый день наступил, по горам-скалам до ущелья дотянулся, скочил князь Суворов, сухарик посо-сал, вестового кликнул. Ледяной воды в рот набрал, в ла-дони прыснул, ночную муть с личика смыл и спрашивает:

— Что ж, Василий Панкратъич, ослиный капельмейс-тер... Как же ты их, свет, ночью угомонил? Ась? Шаман ты сибирский, что ли?

— Никак нет! А как при лунном сиянии позицию их мне разглядеть потрафилось, заметил я, что ежели он, стер-ва-осел, рыдает, в восторг входит, чичас он хвост кверху штыком... Нипочем иначе не может. Такой у него, Ваше Сиятельство, стало быть, механизм. Ну, тут уж штука не-хитрая: по камешку я им к хвостам вроде тормоза подвязал, они и примолкли...

Рассмеялся Суворов звонко, так личико морщинками и залучилось.

— Ах ты, ослиный министр, чертушка, милый человек! Расскажу вот австрийцам, утиным головам, пусть с зависти полопаются. Разве ж им, козодоям, за русской смекалкой угнаться! Ась? Утешил ты меня по самое горлышко. Чем же мне тебя, сват, наградить? Проси чего хочешь, пона-тужься, — ежели только власти моей хватит, честное слово, не откажу... Ну!

Вестовой Сундуков осклабился, а сам руку за спину за-вел.

— Так точно, Ваше Сиятельство! Награждение мое в вашей полной власти, действительно. Вчерась ночью вто-рой заяц в силлок попался — заяц ничего, форменный. Не спал я, для вас изжарил, старался, авось смилуетесь. Будьте отцом родным, наградите вашего верного слугу, извольте откусать!

И зайца из-за спины вытаскивает.

Насупился было Суворов, посмотрел на вестового и от-таял.

— Хитрый ты, Васька, до невозможности! У лисы ухо срежешь да ей же скормишь... Счастье твое, слово дал, солдатское слово не олово. Давай, сват, походную вилку-

ножик. Только чур, половина мне, половина тебе. А то три дня разговаривать с тобой не буду... Согласен?

— Так точно, согласен.

Насупился было и Сундуков, да что ж поделаешь.

А ослам приказал князь Суворов по гарнцу чечевицы выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли.

## КАВКАЗСКИЙ ЧЕРТ

Читал у нас, земляки, на маневрах вольноопределяющий сказку про кавказского черта, поручика одного, Тенгинского полка, сочинение. Очень всем пондравилась. Фельдфебель Иван Лукич даже задумались. Круглым стишком вся как есть составлена, будто былина; однако ж сюжет более вольный. Садись, братцы, на сундучки, к окну поближе, а то Федор Калашников больно храпит, рассказывать невозможно...

\*

Пирует грузинский князь Удал — на триста персон столы понаставлены, бык жареный на медном блюде лежит, в быке — жареные утки, в утках — жареные цыплята. С амбицией князь был!.. Вином хочь залейся, по всем углам кахетинское в бочках скворчит, обручи еле сдерживают. Кто мимо ни идет, вали к князю, пей, ешь, хочь облопайся. Потому Удал единственную дочку просватал, к вечеру милого жениха ждут, а пока что, не зря ж сидеть, — песни, пляс, пиновение. Под простыми гостями туркестанские ковры постланы, под княжеской родней — дагестанские.

Дочка Тамара меж подруг на собольем одеяльце сидит, ножки княжеские под себя поджавши, черные брови, как орлиные крылья, взлет легли, белое личико будто фарфоровое пасхальное яичко, скромные ручки на коленках держит, — девушка высокого рода, известно, стесняется.

Подходит к ней старший гость, дядя ейный по матери князь Чагадаев, сивый ус за ухо закинул, чеканным кавказского серебра поясом поигрывает.

— Что ж, Тамара... Другие-прочие пляшут, а ты будто жар-птица привинченная. Уважь дядю, пройдишь, что ли, рыбкой!..

Защелкал он мерно в ладони, словно деревянными ложками брякнул. Мужчины, стало быть, подхватили: раз-раз!..

Музыканты брызнули. Взмыла Тамара, господи твоя воля!

Летает это она пушинкой, шароварки легкими пузырями вздуло, косы полтинниками звякают, ножка ножке поклон отдает, ручка об ручку лебедем завивается. Слуги, которые гостей обносили, с подносами к земле приросли, а гости осатанели, суставами шевелят, каблуками землю роют... Сплясал бы который, да вино ножки спеленало.

Не выдержал тут дядя ейный, князь Чагадаев, даром что сивый; затянул пояс потуже, башлык за плечо — бабу твою на шашлык! — пошел кренделять... Занозисто, братцы, разделывал, до того плавно, что хочь самовар горячий ему на папаху поставь — нипочем не сронит.

Разожгло тут и Тамару. Стеснения своего окончательно лишилась, потому лезгинка танец такой — кровь от его в голову полыхает... По кругу плывет, глазами всех так без разбору и режет: старый ли, молодой, ей наплевать.

Щечки факелом, грудь облаком, носком вострым под себя подгребают, одним глазом приманивает, другим холодит, поясница пополам, косы ковер метут... То исть, бубен ей в душу, пронзительно девушка плясала!.. В остатний раз свободу свою вихрем заметала.

\*

В ту пору одинокий кавказский черт по-за тучею пролетал, по сторонам поглядывал. Скука его взяла, прямо к сердцу так и подкатывается. Экая, думает, ведьме под хвост, жисть! Грешников энтих, как собак нерезаных, никто сопротивления не оказывает, хоть на проволоку их сотнями нижи. Опять же кругом никакого удовольствия: Терек ревет, будто верблюдов голодный, гор наворочено до самого неба, а зачем неизвестно... Облака в рот лезут, сырость да серость, — из одного вылетишь, ныряй в другое...

Сплюнул он с досады, ан тут в синюю дыру вниз глянул, на край тучи облокотился, туча его к самому княжескому замку подвезла. Покрутил черт головою: «Эх, благодать!»

Пир у князя Удаля только в полпирование вошел, музыка гремит, факелы блещут, гости с ковшами на карачках по всему двору разбрелись... А на крыше княжеская дочка Тамара, красота несказанная, лезгинку чешет, месяц любит, звезды над тополями вниз подмигивают, ветер не шелокнет.

Обидно черту стало, хочь плачь! Да у чертей слез-то нету... На-кось, поди у людей веселье, смех, душа к душе

льнет. Под ручку, дьяволы, пьяные ходят, а он, как шакал ночной, один на один по-над горами рыскать должен.

А как Тамару, пониже спустившись, со второго яруса поближе разглядел, так даже сомлел весь: отродясь таких милостивых не видывал, даром что весь Кавказ с Турцией-Персией наскрозь облетел. В сердце ему вступило, будто углей горячих горсть глотнул, чуть кубарем сверху на княжеский двор не свалился. Сроду его к бабам не тянуло — ан тут и заело!..

Так вот, стало быть, к кому за Арагвой молодой Синодальный князь скачет, карабахского коня нагайкой ярит!..

Ладно, думает: «Ты, брат, скорый, да и я не ползучий...» Не тот, мол, курку ест, кто к столу спешит, а тот, кто ее за крылышко держит.

\*

Летит Синодальный князь, к луке пригнувшись, на брачный пир поспешает. Алый башлык за спиной ласточкой вьется, борзый конь хвостом версты отсчитывает... За князем верблюды свадебными подарками бренчат, свита коней нахлестывает... Ан, князя Удала замка все не видать — давно бы, кажись, ему время за Арагвой светлыми окнами, брачными факелами блеснуть. Стало быть, черт через своих подручных все повороты спутал, тропинки вбок отвел, карабахскому коню в морду из-за тучи дует, направление сбивает. Чистая беда!

Да еще часовенка древняя в ущелье стояла — отшельник ее один в стародавние времена склал, сам по обещанию камни снизу на спине таскал. Которые путешествующие беспрерывно перед ней шаг замедляли, шапки сымали, молитву читали — против ночного набега, против внезапной пули, против чеченца гололобого. Черт и тут постарался: скрыл часовню туманом, будто чадрой покрыл. Князь без внимания мимо и проехал...

Едут да едут. Стал молодой князь сумлеваться. Попридержал коня, пену с черкески белой перчаткой смахнул, золотые часы вынул — время позднее.

Дал приказ:

— Стой! Оправься, слуги мои верные!

Ночь пала, месяц за горы сгинул, карабахский конь задыхается. Не иначе, как нам на бивак до рассвета располагаться придется. Скидывая тюки, закусим по малости, утро вечера мудренее... Ночь холодная, жертвую по чарке на каждого — более не могу, потому вокруг небезопасно.

Верблюды посапывают. Всхрапнули и дозорные, против дьявола никакой караул не устоит. А тут, братцы мои, с обоих флангов не то чечня, не то осетины — во тьме и пес не разберет — пластунами подобралась, кинжалы в зубах, да как ахнут! «Халды-балды!..» Черт им тут на самую малость месяц приоткрыл, чтоб способнее было жениха-князя найти!.. Лязг, свист, — где тыл, где фронт, где свои, где чужие — ничего не известно, потому сражение кавказское, никакого плана, одна резня.

Проснулся князь, на коня неоседланного пал, звизганул шашкой — хрясь, брясь! — улочку себе сквозь неприятеля прорубил...

— За мной, — кричит, — ребята! Мы им хвост загнем...

А какие там ребята — почитай вся свита без голов лежит, руки-ноги по утесам разбросаны. Так во сне в полном вооружении ни за понюшку и пропали. Который и жив, тому за кустом руки вяжут, к седлу приторачивают...

Эк, Калашников-то расхрапелся! Закрой его, Бондаренко, шинелью, а то собьюсь к чертям. Самое главное сейчас начинается.

Вынесся князь из сечи, борзый конь к князю Удалу направление взял, ан и черт не дурак. В ночной мгле перехватил у чеченца с правого фланга винтовку, да князю в затылок, с колена не целясь, с дистанции шагов, братцы, на триста. Как в галку! Ахнул Синодальный князь, к гриве припал — вот тебе, можно сказать, и женился. Ночь просватала, пуля венчала, частые звезды венец держали...

\*

Влетает, стало быть, карабахский конь, верный товарищ, к князю Удалу на широкий двор, залиvisto ржет, серебряной подковой о кремень чешет: привез дорого гостя, принимайте! А пир, хоть час и поздний, в полном разгаре. Бросились гости навстречу, князь Удал с крыльца поспешает, широкие рукава закинул... Тамара на крыше белую ручку к вороту прижала — не след княжеской невесте к жениху первой бежать. Не тако́го она воспитания.

Что ж молодой жених с коня не сходит? Тестю поклона не отдает? Невесту не обнимет? Или порядков не знает?..

Соскользнул он на мощенные плиты, кровь из-за бешмета черной рекой бежит, глаза, как у мертвого орла, темная мгла завела... Зашатался князь Удал, гостей словно ночной ветер закружил... Спешит с кровли Тамара, а белая ручка все крепче к вороту прижимается. Не успел дядя ейный, князь

Чагадаев, на руку ее деликатно принять — пала, как свеча, к жениховым ногам.

Повел дядя бровями, подняли ее служанки, понесли в прохладный покой, а у самих слезы так бисером по галунам-лентам бегут... Поди каждому жалко на это такое смертоубийство смотреть-то.

А черт рад, конечно: в самую мишень попал! Из-за туч, гад, снизился, по пустому двору ходит, лапы потирает. Собака на цепи надрывается, а ему хоть бы что. Подкрался к угловой башне, мурло свое к стеклам прижал — интересуется... Оттедова, изнутри-то, его не видать, конечно.

Лампочка на подоконнике горит, Тамара на тахте пластом лежит, полотенце с уксусом на лбу белеет, а сама с лица полотенца белей. Омморок ее зашиб, значит.

Делать нечего, стала она кое-как в себя приходить. Руки заломила, рыдает в три ручья, — вещь не сладкая, братцы, жениха потерять — всей жизни расстройство.

А тут в фортку черт голос подает, умильными словами поет-уговаривает.

— Ты, — говорит, — девушка, не плачь напрасно. Помер твой князь, в рай попал, там ему полный покой, об тебе и не вспомнит... Женихов в Грузии не оберешься, а ты по здешней стороне первая красавица, да еще с во каким приданым, — есть об чем тужить!.. Все помер, а пока что жить надоть. В небе звезды ходят, хороводы водят, ни скуки, ни досады не знают, ты бы с них, девушка, пример брала. А я тебя, между прочим, каждую ночь до первых петухов утешать буду, пока утренняя пташка не стрепенется, — потому днем мне несподручно...

Вскочила княжна на резвые ноги, туда-сюда глянула. Кот под лавкой урчит — ходит-ходит, о подол трется, над головой князь Удал в расстройстве чувств шагает, а боле никого и не слышать. Выскочила она на крыльцо. Терек под горой поигрывает, собачка на цепи хвостом машет, княжне голос подает: «Не сплю, мол, не тревожься!» Кто ж в фортку, однако, пел?

Караульный тут, который в доску для безопасности бил, подходит. Княжна к нему: — Не проходил ли кто незнакомый через двор. По какому случаю в поздний час пение?

— Никак нет, — отвечает караульный, — седьмой раз дом обхожу. В доме такое несчастье, как можно... Уж я б его, певца, чичас князю Удалу представил, он бы ему прописал!

С тем и ушла. Головку к шелковой думке приклонила — к подушечке махонькой, — вздохнула, об судьбе своей

горькой призадумалась, однако ж слеза не идет: черт свое дело сделал!

В лампочке керосин вышел, дрема ее стала клонить. Заснула она тихо-благородно, косы-змеи под себя подостлавши. Ан тут черт ей в сонном видении и является.

И не то что в своем обнаковенном подлом виде, а во всей, можно сказать, неземной красоте. Кудри вьются, глаз пронзительный, ус вертит, в бессловесной любви ей признается... Девушке много ль надо? Испужалась она спервоначалу, а потом огонь у нее по жилам пробежал, потянулась она к нему, как дитё...

Да, видишь, черт времени не рассчитал: петух тут первый закукарекал, — сгинул бес, как дым над болотом. Так на первый раз ничего и не вышло...

Терек шумит, время бежит, никакого княжне облегчения нету. Подруги ее уговаривают: «Пойдем, Тамара, хоть к речке, смуглые ножки помыть!» Она упирается: «Нет мне покоя, днем об женихе тоскую, по ночам тайный голос меня душит. Никуда не пойду!»

Испужались подружки, пошли к князю Удалу. Так, мол, и так, неладное с Тамарой творится, надо меры предпринять. Князь чичас к ней, дочка единственная, нельзя без внимания оставлять.

— Что ж, — говорит, — дитё... Я мужчина, человек старый, слов настоящих не знаю. Кабы твоя мать покойная была жива, она бы тебя в минуту разговорила. Однако не тужи, достаток у нас, слава тебе господи, немалый, девичьи слезы — вода. Надо себя в порядке содержать, а не то, чтобы по ночам неизвестные голоса слушать.

У Тамары, однако, характер твердый, грузинский.

— Я, папаша, резоны ваши понимаю. Совсем я от хозяйства отбилась, вас, старика, без попечения оставляю. Не могу с собой совладать... Пойду в монастырь, а то как бы чего не вышло. Девушка я, сами знаете, горячая... Лучше вы меня и не отговаривайте.

Три дня хмурился князь, весь ковер протоптал шагавши, — сына б приструнил, на милую дочку рука не подымается... Пускай, думает, идет. В монастыре хоть честь свою княжескую по крайности соблюдет, бога за меня помолит... Поперек судьбы сам царь не пойдет.

Снарядил он ее богато, дары в монастырь на десяти верблюдах вперед послал. Дочку в горную обитель сам под конвоем предоставил, чтоб головорезы-чеченцы, не приведи бог, в горы ее в плен не угнали. Народ аховый, наживы своей не упустят.

Живет это она в келейке своей месяц-другой тихо, скромно, лучше и быть нельзя. На рассвете утренняя заря белую стенку над изголовьем румянит. Чинар сбоку шумит, светские мысли отгоняет. Пташки повадились крошки клевать. Горы вдали будто мелким сахаром посыпаны, снеговая прохлада от них идет — в жару самое от них удовольствие. Знай одно: службы не пропускай, об остальном не твоя забота. Чистота, пища легкая, ясные мысли облаками плывут, пей себе чай с просфоркой, будто ангел бестелесный, смотри на горы, ручки сложимши, — боле и ничего.

Однако от черта и монастырь не крепость. Прознал он, само собой, что княжну Тамару в подоблачный монастырь укрыли, ан доступу ему туда нету, — сторож, отставной солдат, по ночам с молитвой ограду обходит. Княжна воску белей все молится да поклоны кладет — в церкви ли, в келье ли своей глаз не подымет, об земном и не вспомнит.

Изловчился черт, стал ей с вечерним прохладным ветром шепоты свои да поклоны посылать...

— Очнись, княжна!.. От себя никуда не уйдешь. Ты месяца краше, миндаль-цвет перед тобой, будто полынь-трава, — ужель красота в подземелье вянуть должна? Который месяц по тебе сохну, и все без последствий. Все свои дела через тебя забросил, должна ты меня на путь окончательно наставить, а то так закручу, то чертям тошно станет. Себя, девушка, спасаешь, а другого губишь — это что ж такое выходит?..

Стревожилась тут и Тамара окончательно. На то ль она в подоблачный монастырь шла, чтоб невесть от кого такие слова слушать?.. Однако ж и ее зацепило. Ева, братцы, тоже, может, по такому случаю, погибель свою приняла.

Зажгла она восковую свечку, поклоны стала класть, душой воспарила, а ухом все прислушивается, не будет ли еще чего. А ветер сквозь решетку в темные глаза дышит, гордую грудь целует — никуда от него не укроешься. Куст-барбарис за окном ласково об стенку скребется, звезды любовную подсказку насылают, фонтан монастырский звенит-уговаривает, ночной соловей сладкое кружево вьет. Со всех сторон ее черт оплел — хочь молись, хочь не молись.

\*

Видит черт, что полдела сделано, а дальше окончательно затормозило. Не юнкер он какой, в самом деле, чтоб по ветру с девушкой перешептываться да во сне ей являться, об любви своей докладывать. Тоже и он гордость свою имел.

Пустился он, песья голова, на хитрости. Штоф кизлярки украл да отставному солдату, сторожу, который обитель в ночное время с молитвой обходил, — и подсунул. А ночь, милые мои, прохладная была, кавказские ночи известные. Отставному солдату, хочь он и при монастыре состоит, тоже выпить хочется — не святой. Хлебнул он с устатку, намаялся, которую ночь-то ходивши, хлебнул в другой, согрелся — в кизлярке этой градусов, поди, с пятьдесят было, — к стенке притулился да и захрапел, как жук в соломе. Слабосильный старичок был, да и от вина отвыкши.

Черту только того и надо. Без обходной молитвы ему чего ж бояться. В трубу втиснулся, к княжне в келью проник, об паркетный пол вдарился и таким красавцем-ухарем объявился, что против него и покойный Синодальный князь ничего не стоил.

Княжна Тамара так ручками и всплеснула — удивляется:

— Кто вы такой есть и почему в неположенное время в келью мою тайно проникли? У нас этого не полагается.

Тут ей нечистый все как есть и выложил.

— Я, — говорит, — тебе в сонном видении неоднократно являлся... Я тебе по ночному ветру чувства свои объяснял. Ты, девушка, однако, не сомневайся. Я не из простых чертей, а вроде как разжалованный херувим. Потому за гордость свою и поступки наказание понес. Однако, как я теперь в тебя без памяти влюбившись, — все поведение свое переменяю, добрей тихого младенца стану, только бы на красоту твою непрерывно любоваться... Тоже и мне пожить по-человечески хочется — со скуки одинокой давно б удавился, да черти смерти не подвержены... Сжался, княжна, я тебя во как возвеличу, по всему Кавказу слава трубой пройдет!

Принахмурила Тамара гордые брови, сердце у нее мотыльком бьется, ан доверия полного нету.

— Сгинь, — говорит, — сатана, прахом рассыпья! Почему я тебе доверять должна, ежели вся ваша порода на лжи стоит, ложью сповита? Сызмальства я приучена чертей гнушаться, один от вас грех и погибельная отравка. Чем ты, пес, других лучше?.. Скройся с моих прекрасных глаз, не то в набат ударю, весь монастырь всполошу!

Побагровел черт, очень ему обидно стало, — за всю жисть в первый раз на хорошую линию стал, а ему никакого доверия. Однако голос свой до тихой покорности умаслил и полную княжне присягу по всей форме принес:

— Клянусь своим страстным позором и твоим черноокиим взором, клянусь Арарат-горой и твоей роскошной

чадрой, что от всей своей дикой подлости дочиста отрекаюсь, буду жить честно, в эфирах с тобой купаться будем, и все твои капризы сполнять обещаюсь даже до невозможности!..

Ахнула тут Тамара, видит, дело всерьез пошло, — самого главного кавказского черта, шутка ли сказать, приручила.

Разожгло ее насквозь — в восемнадцать, братцы мои, лет печаль-горе, как майский жук, недолго держится. Раскрыла она свои белые плечики, смуглые губки бесу подставляет — и в тую ж минуту — хлоп! С ног долой, брякнулась на ковер, аж келья задрожала. Разрыв сердца по всей форме — будто огненное жало сквозь грудь прошло.

Закружился бес, копытом в печь вдарил, пол-угла отшиб. Вот тебе и попировал!.. Однако ж дела не поправишь! Душу из княжны скорым манером вынул да к окну — решетку железную, будто платок носовой, в клочки разорвал. Да не тут-то было... Навстречу ему с надворной стороны княжны Тамары Ангел-Хранитель тут как тут! Так соколом и налетел:

— По какому такому праву ты, окаянный, сюда попал, почему душу ейную тащишь?

— По такому праву, что княжна со мной по своей воле обручилась. А ты где раньше был? Крепость сдалась. Что ж ты не в свое дело суешься?

— Нипочем, — отвечает Ангел-Хранитель, — не сдалась! Она, Тамара, как птенчик глупый, за поступки свои не отвечает. Я за нее ответ держу!.. А с тобой разговор короткий...

Да как хватит его справа налево огненным мечом наотмашь, так во всю щеку шрам ему и сделал... Локтем отпихнул черта и воспарил с Тамариной светлой душой в кавказскую поднебесную высь.

Очнулся черт. Щека горит, смола в печенке клокочет... Двинул в сердцах отставного солдата, что под руку подвернулся, вдоль спины, так что с той поры тот солдат на карачках до конца жизни и ходил.

Взмыл к тучам и прочь с Кавказа навсегда отлетел. Только молоньи хвостом за ним, будто фейерверк, сигнанули...

В Персию, говорят, переселился, потому там народ более мягкий, да и девушки не хуже грузинских. Может, и взаправду остепенился, какую хорошую за себя взял, ремесло свое подлое оставил и в люди в свое удовольствие вышел. Кто их там, чертей, разберет, братцы!..

## С КОЛОКОЛЬЧИКОМ

Папашу моего в нашем округе каждый козел знает: лабаз у него на выгоне, супротив больницы, — первеющий на селе. Крыша с накатцем, гремучего железа. В бочке кот сибирский на пшене преет — чистая попадья. Чуть праздник, в хороводе королевича вертят — беспременно все у нас рожки да подсолнухи берут.

По делам прилучится куда папаше смотаться, не то чтобы в телеге об грядку зад бил, мыша пузастого кнутовищем настегивал, — выезжал пофорсистее нашего батальонного. Таратаечка лаковая, передок расписной, дуга в елочках, серый конек — вдоль спины желобок, хвост двухаршинный, селезенка с пружиной... Сиди да держись, чтоб армяк из-под облучка не ушел... Кати, поерзывай да вожжи подергивай. Колокольчик под дугой, будто голубь пьяненький, так и зайдется. С амбицией папаша ездил, не то чтобы как...

Покатил он как-то в уездный город соль-сахар закупать. Пыль пылит, колесо шипит, колокольчик захлебывается. Только в городок вплыл, ан тут на первом повороте у исправникова дома и заколодило. Ставни настезь, новый исправник — бобровые подусники, глаза пупками — до половины в окно высунулся, гремит-кричит:

— Стой! Язви твою душу... Аль ты, мужицкое твое гузно, не слышал, что я простого звания людям форменно воспретил по городу с колокольчиками раскатывать? Подвернуть ему струмент!.. На первый раз прощаю, на второй — самого в оглобли запрягу...

Выскочил тут стражник, холуйская косточка, колокольчик за язычок к кольцу привертел — смолкла пташка. Обидно стало родителю, аж коня на задние ноги посадил. Да что тут скажешь: поев крапивки, поскреби в загривке... Маленький начальник страшной сатаны. Повернул он с досады таратайку, ну ее, соль-сахар, к темной матери, — взгрел коня, вынесся за околицу... Скажи на милость! Что ж, папаша мой, Губарев патенту за лабаз не платит, пар у него свинячий заместо души, зад у него липовый, что ли, чтобы он не смел по городу с легким колокольчиком проехать? Чай, и в Питере закону такого нету — хочь соборный колокол к дуге подвяжи, ежели капитал тебе дозволяет...

Летит папаша по столбовой дороге, коня шпандорит, направление к станции держит. Про село свое и думать

забыл, до того его амбиция распирает. Докатил до водокачки, вожжи работнику бросил.

— Вертайсь, Сема, домой! Лабаз на три дня замкнешь, пока я в Питер, туда-сюда, смахаю. Удавлюсь, а не поддамся.

\*

Навернула машина на колеса, сколько ей верст до Питера полагается, — и стоп. Вышел родитель из вагона, бороду рукой обмел, да так, не пивши не евши, к военному министру и попер. Дорогу не по вехам искать: прямо от вокзалу разворот до Главного Штабу идет, пьяный не собьется. Вошел он в прихожую, старший городской — медали от плеча к плечу так и прыщут — спрашивает:

— Эй, любезный, чего надоть? С черного хода бы пер, а сюда одни господа достигают. Фамилия твоя как?

— Губарев, братец. К военному министру по личному делу. Доложи-ка, почтенный.

— Гу-ба-рев? Не сынок ли ваш в пятой роте Галицкого полка изволит служить? Знак за отличную стрельбу имеет?

— Он самый. Стало быть, о нем и в Питере известно?

— Как же-с, помилуйте. Ах ты, господи...

Бросил тут городской и пост свой, веничком папашу почистил да галопом за адъютантом, адъютант — за флигель-адъютантом. Повели моего родителя под локти, будто сдобного архиерея, к самому министру. Генералы, которые в очереди дожидались, только с досады отворачиваются.

Министр, жидкий старичок в густых эполетах, сам навстречу двери распахивает:

— Губарев?! С легким вас приездом... Как же, как же, слышали. Сынок ваш, можно сказать, по параллельным брусьям первый, по словесности первый, запевало знаменитый, знак за отличную стрельбу имеет... В креслице не угодно ли... Да, может, вы с дороги, с устатку не перекусите ли чего, пока до разговора дойдем?

Отчего же моему папаше и не перекусить. Харч генеральский, да в дороге он с амбицией, не пивши не евши, аппетит-то нагулял...

Затрезвонил тут генерал во все кнопки — денщику самовар заказал, — поворачивайся! Генеральша с закусками вкатывается.

— Ах, ах! Какого бог гостя послал! Супруга ваша в добром ли здоровьице? Ножки у нее все затекают, слышала. Бычок ваш черненький, поди, совсем в возраст вошел?! Сынок-то ваш все отличается... Скоро, поди, в ефрейтора его произведут, отделенным назначат...

Известно, женщина интересуется.

Дочка генеральская тут, про сынка услыхавши, про меня то есть, из-за портьерки хрящики высунула — сухопарая, питерская жилка.

— Ах, мамаша! Не прихватили ли они солдатика энтова фотографию? Очинно интересно. Сказывали — чистый шантрет, рост гвардейский, взгляд злодейский... Петрушей зовут...

Ну, генерал тут на них зыкнул, бабий ихний департамент за дверь выставил.

Выпил он с родителем чашек по пяти с кизилковым вареньем, чашки перевернули, генерал и говорит:

— Вали, Губарев! В чем твоя до меня надобность? Кому же и услужить, как не тебе, голубю. По сыну и отцу честь.

Папаша ему доподлинно про исправника да про колокольчик и доложил. Разбульонился тут генерал, не знает, в какую кнопку и звонить...

— Ах он, воевода дырявый! Да что ж он — о двух годах? Тебе, Губареву, да колокольчики воспрещать?.. Который сына такого произвел, пятой роты Галицкого полка, Петра Губарева? По всей империи из всех солдат первый. Обдумай сам, гордый старик, — как исправника порешишь, так и будет. Хочь с места его долой, хочь в женский монастырь на покаяние. Воля твоя.

Папаша, конечно, бороду надвое распустил, солидным голосом выражает:

— Мы, ваше превосходительство, не черкесы, какие. Без молитвы и комара не уьем. Пусть он, ерыкала, на своем месте сидит. Только желаю я бумагу от вас получить форменную насчет колокольчика. Чтобы права свои определить. А то он мне завтра, серого звания человеку, и чихать воспретит, как я мимо его дома проезжаю.

— Ладно, не воспретит. Как бы сам не расчихался.

Кликнул генерал старшого писаря, настрочил папаше орлёную бумагу: хочь по всей империи с бубенцами раскатывай, не то что по своему уезду.

Папаша полой усы обтер, крест-накрест с генералом почмокался да на ухо ему кой-чего и сказал: «Приписку, мол, на обороте, такую и такую нельзя ли сделать по энтому самому делу?»

Усмехнулся военный министр, однако перечить не стал — приписал. Выдали тут родителю обратный билет по первому классу, генеральша холодных каклет на дорогу выслала да мне шелковый платочек.

Доехал папаша благополучно. Из первого класса на своей станции с узелком вышел — борода вперед, живот гоголем, — начальник в красной фуражке так глаза и вы-лупил. Не иначе как Губарев подряд в Питере взял: на всю аглицкую нацию мятные пряники поставлять. Однако ж экипажа на мягких рессорах ему не подано...

Зашкандыблял старый хрен в свое село. Пташки поют, телеграфная проволока гудёт, а папаше наплевать. Отмахал пять верст, достиг до своей резиденции. Мамаша ко-лобком с крыльца скатывается: «Ах да ох! Да куда же ты, орел, запропастился? Да чайку, соколик, не соизволишь ли? Да баньку, голубчик, не истопить ли?»

Отстранил он мамашу категорически — какая тут баня... Одно у него в думке: как бы ему скорей исправника выпарить, а сам-то успеет.

Приказал работнику в тую же минуту Серого запрягать. Сам в лабаз взошел, выбрал два бубенца-глухаря, которые побасистее, да к дуге их по бокам колокольчика и прикрутил. Для перебойного рокота, для густой политуры...

Покатил в уезд. Работник рядом на облучке кишки подобрал, удивляется: в игумны, что ли, хозяина произвели, экое дело он затеял. Однако молчит. Потому мой папаша поведения кроткого — чуть на него не потрафишь, такую тебе выволочку задаст, что и фельдфебеля родной матерью назовешь.

Подъезжает он к городку, бубенцы скворчат, колокольчик подзыкивает. Серый наш так пухом и стелется. Влетел с перезвоном в улочку, перед исправничьим домом чуть попридержался. Трах — ставни настезь, — его скородие в архалуке весь фасад на улицу выставил, баки по ветру, глаза пьявками, клюквой весь так и залился.

— Стой! Трах-тах-тарарах... ты, что ж, шило тебе в глаза, гвоздь в душу, нож в печень, — с тройным звоном едешь? Над начальником каланчу строишь? Приказаний не исполняешь? Эй, стражник!

Не успел служивый холуек штанцы подтянуть, из сарая выскочить, ан родитель мой к самой оконнице подкатил да исправнику в баки орлёную бумагу и сунул:

— Не шуми, роща, дубраву разбудишь... Теперь захочу, хочь Серому весь хвост бубенцами изукрашу. Читай, ваше скородие!

Глянул исправник в бумагу, архалук запахнул да ко-та любимого, который с подоконника лапкой его теребил,

так об пол и шваркнул. На ком боле злость сорвать...

А папаша, умильный старик, тут пару и поддал:

— Переверни, господин, бумагу-то. Там для тебя самый смак-то и обозначен.

Обернул исправник папашин патент, а там и прописано, — хвост Фоме залупили да репей прицепили:

«Исправнику, имя рек, за то, что папашу рядового Губарева пятой роты Галицкого полка напрасно изобидел, — форменно воспрещается с колокольцами по своему городу-уезду раскатывать. Езжай, сукин кот, вглухую».

Съел он блин, даже и в масле не омакнувши. Как у нас, братцы, говорится: приданое на грядке, а увечье на спине...

Засвистал папаша, покатыл с громом-звоном соль-сахар закупать. Население из окон смотрит, рты настезь, собачки из подворотен уши торчком — удивляются, городовые, стражники в затылках скребут. А папаше с высокого облучка наплевать. Ишь, как колокольчик наяривает:

«Трень-брень, теле-пень, на нос валенку надень...»

## КАБЫ Я БЫЛ ЦАРЕМ

Встал бы я утречком, умылся, чаю с бубликом напился, кликнул бы нашего фельдфебеля:

— Здорово, Ипатыч. Чай пил?

— Так точно, ваше величество. Какой же русский человек утром чаю не пьет?

— А солдаты пили?

— Никак нет. По раскладке в армейских частях натурального чайного довольствия не полагается.

— Вишь ты, Ипатыч. А они, поди, тоже не венгерцы. Русские не хуже тебя. Отдай чичас через старшего писаря приказ, чтобы каждому солдату утром-вечером чаю полную миску выдавали, хочь залейся. И сахару по четыре куска.

— И по одному хватит, ваше величество. Солдат и вприкуску попьет. А то вся армия в день пуда четыре схряпает — расход-то какой!

— Эх ты, барабан пузатый. Тебе с ротного котла, не то что внакладку, и на варенье с приплодом твоим хватает. А солдатские куски на весах прикидываешь? Сию ж минуту распорядись, чтоб парадный мой золотой портсигар в империялы перелить, на чай-сахар солдатам, поди, на год хватит. Я в случае надобности и из серебряного покурю.

— Как же, ваше величество, возможно! Ежели к вам шах персидский в гости приедет, у него портсигар весь червон-

ного золота, алмаз на алмазе, а у вас простого серебра. Несоответственно выйдет.

— Не бубни, Ипатыч. Фазана, поди, видал: зад у него да хвост весь золотистый, аж солнце перешибает, а что он против русского серого орла может. Ась?

\*

О полдень ко мне адъютант с докладом заявляется. Кого чином повысить, какому полку шефские вензеля за отлично-усердную службу презентовать.

— Ну, это дело не важное. Не горит. Морсу, ваше скородие, не угодно ли?

— Покорнейше благодарим.

— А вы стульчик возьмите. Я хочь и царь, однако обращения простого... Хочу я, ваше скородие, распоряжение по всем войскам сделать, чтоб солдат под гребенку до голого места не стригли. Пущай каждый с фантазией себе прически делает, кому что по вкусу.

— Да ведь по уставу, ваше величество, не полагается. Другой себе такой дикий чуб отпустит, что всю линию строя испортит...

— А ты мне уставом глаза не коли. Как захочу, так устав твой и поверну. Завидно тебе, что ли? Сам небось паклю себе взбил, девушкам на погибель... Опять же казаки во какие чубы носят, однако же империи от этого никакого убытка.

— Так то ж кавалерия, ваше величество. Казакам для форсу начес полагается. Для устрашения супротивника...

— А пехота, по-твоему, шиш собачий, что ли? Не перечь, а то прикажу тебя самого под нулевой номер обкарнать, вот тогда, сокол, и поговоришь...

Насупился мой адъютант, морсу не допил, вон вылетел. Ну, что ж... Ужели я, царь, у адъютанта на поводу ходить буду?

\*

Только я его сбыл, в дверь специальный зауряд-военный чиновник вкатывается.

— Эстафета от шведского короля. Хочет он свою племянницу, природную принцессу, к вашему величеству в гости прислать. Как она себя во всей форме в девицах сохранивши, а вы человек холостой, желает король, надо полагать, вас на брак подбить. Ему лестно, да и нам не зазорно... Хочь мы шведов и били, однако ж держава не последняя.

— Пошли, — говорю, — ты шведского короля на легком

катере к шведской матери... Ежели мне в голову вступит, на своей, русской, женюсь. Шведки ихние из себя голе-настые, разве с нашей пшеничной сравнить!

— Никак, ваше величество, невозможно. Министры вас воспретят. Потому им желательно по ходу политики со Швецией марьяжный интерес вести...

— Звание, — говорю, — у тебя полуофицерское, а в голове тараканы портянку сосут. Мои министры пушай хоть на венгерских козах женятся, а я патреот. Что ж ты мне политикой козыряешь? Сам-то небось на русской женат?

— Так точно. На Авдотье Кузьминишне. Дамочка из себя очень авантажная.

— Ну вот видишь... А сам ко мне с эстафетой суешься. Разжалую вот тебя в первобытное состояние — и следа от тебя не останется...

— А может, ваше величество, шведскую-то хочь для просмотра пригласить? Чай, не слиняет? Не контракт же с ней заключать с одного маху... А вдруг она из себя антрекот с изюмом? На сливках вскормлена, обхождение специальное, одним словом — принцесса.

— Дадено, видно, тебе в ручку. Да как же я с ней без языка легкий любовный разговор вести буду?

— Переводчика к вам, ваше величество, из генералов приставят.

— Ну вот, братец, сразу и видать, что окромя чернильницы да Авдотьи Кузьминишны ты ни к одному женскому предмету не прикасался. Какой в таких делах переводчик? Как же это я на гармонии через чужие руки играть буду... Проваливай ты к псам... Житья от вас царю нету. Ступай на конский завод, там и распоряжайся, а я когда хочу, на ком хочу и сам женюсь...

До того он меня, братцы, разбередил, что цельную бутылку мадеры я один без закуски выцедил, дверь на крючок замкнул, под царским балдахоном распростерся и до самого обеда, как бугай, провалялся.

\*

Просыпаюсь. Чего, думаю, закусить-выпить. А ты у меня, стало быть, Сидорчук, в денщиках. Чего ж ты, дурак, заржал? Не в фельдмаршалы же тебя, вахлака, сразу определять.

— Эй, — кричу, — Сидорчук! Индюшка у нас со вчерашнего дня осталась?

— Так точно, ваше величество... Лапки я, действительно, сгрыз, а около гузка еще сладкого мяса наскрести можно.

— Тащи сюды. Экой ты до лапок интересующийся. Да рябиновой новый штоф откупори. Садись супротив, хватим по лампадке. Спешить в летнее время некуда...

— Как же я, ваше величество, при вашей должности выпивать с вами буду? Сокол когда пьет, — мелкие пташки за кустами трепещут!

— А я тебе повелеваю. Все, брат, теперь в моей власти. Сегодня ты денщик, а завтра, захочу, — хочь в бабы тебя произведу.

— Покорнейше благодарим.

Само собой — лохань ты свою чичас настезь и мало что не с рюмкой рябиновую заглотал.

Выпили мы по второй. Две сестры милосердия над нами веерами для температуры машут.

— Что ж, Ваня, — спрашиваю я тебя. — Теперь я царь, пользуйся. Отчего ж для землячка не постараться. Только ты не очень загибай, линию свою помнить надо.

— Да вот, ваше величество, — отделенный, ефрейтор Барсуков, оченно уж себе позволяет. Вчерась я бляху на поясе не до жару заворонил, так он меня бляхой, извините, в скулу.

— Своротил?

— Никак нет. Я завсегда назад поддаюсь. Да обидно уж очень — давно ли его самого хлестали...

— Ладно. Барсуков, говоришь. Назначаю я его при тебе в денщиках состоять. Вот и отыграешься... Чего рыгочешься-то? Шиш какой твой отделенный. Захочу, хочь в водовозную бочку его запрягу, ежели он моих солдат почем зря бляхой потчует.

Охватили мы с тобой штоф. Генералы в дежурной комнате покашливают. Да мне куды ж спешить? Чай, все с кляузами, друг под дружку подкапываются. Глянул я в фортку — а на дворе все та же хреновина: солдатики с разгону чучелу колят.

— Эй! — кричу. — Отставить. Будет вам, черти, соломенную кровь проливать. Распускаю всех на три дня, три ночи... Каждому по рублю, а кто из моей губернии — четвертак прибавлю... Вали в город. Только чтоб без безобразий: кто упьется, веди себя честно, — в одну сторону качнись, в другую поправься.

Рота, само собой, довольна. Сгрудились земляки под окошком, морды красные, орут, аж дворец золотой трясется:

— Покорнейше благодарим, ваше величество! А уж на счет поведения, будьте покойны — не подгадим... Только позвольте доложить, нельзя ли всем по рублю с четвертаком, а то обидно. Чай, и прочие губернии не хуже твоей...

Вышел я на малахитовый балкон, с ласковостью отвечаю:

— Пес с вами. Мне четвертаков не жалко, сколько захочу, столько и начеканю.

Грохнули землячки, аж железо на крыше загудело:

— Уррра! Сейчас тебя, ваше величество, качать придем.

— Нельзя, братцы, должность моя не позволяет... Смирно! В одну шеренгу стройся. На первый и второй рассчитайся. Какой там хлюст на правом фланге разговаривает? Я тебе поговорю! Ряды вздвой! Отставить. Чище делай! Сидорчук, вали с ротой за старшого. В случае чего, я тебе голову отвинчу... Спасибо, орлы, за службу!.. С богом... Ать-два, ать-два... Дай ножку!

Упарился я, в кабинет свой взошел. Сестер с веерами к лысой матери отпустил — тоже их, поди, женихи в городском саду дожидаются. Вышел я к генералам, за ручку поздоровался:

— Эк вы, ваши превосходительства, бумаг нанесли, все на нашу солдатскую голову. Ведь вот турки без канцелярии живут, а войско у них знаменитое... На три дня вас распускаю, авось государство не треснет.

Генерал-майорам по два рубля роздал, генерал-лейтенантам — по трешке. Полным генералам, старичкам малокровным, — ни полушки: не пьют, не курят, барышню встретят — губу на локоть, слюнка по сапогам. Футляр парадный, а скрипка без струн. Куды таким деньги?

— Валите, ваши превосходительства, а я пока сосну. Рябиновая водка — нежная. Простой штоф раздавивши, «соловья-пташечку» петъ заставил... А теперъ ничего. Счастливо оставаться.

\*

К закату очухался. Изжога у меня, не приведи бог, — будто негашеной извешки нажрался. В баню, что ли, сходить, либо для перебоя чувств цымлянское выпить? Однако ж сам себя и осадил: главные законы, думаю, писать надо, а цымлянское от нас не уйдет. Министры — им что, абы жалованье получать да царю что ни попало подсовывать. Один, скажем, на своем посту находясь, на голой ладони волос бреет, другой, на его должность заступивши, — на той же ладони волос сеет. Только и разницы. А я что ж? Печать к пустой бочке, что ли?..

Сел я за столик. Задумался. Перво-наперво, как я человек военный, об войске подумал. Срок службы решил вдвое урезать. В четыре года перебежкам да бегу на месте и верблюда обучить можно, а русский солдат не идеот вяле-

ный, и двух лет ему с горбушкой хватит... Пусть за сбавку службы население пополняют да землю пашут, чем зря казенными подметками хлопать.

Кавалерию, особливо легкую — мыльное войско, — начисто срежу... Только пыль от них, да горничные пухнут. Однако ж для царских парадов, по случаю приезда афганских принцев, чтоб плац расцветить, — три легкоженских гусарских полка сформирую. Баба к лошади в линию фигуры вполне подходит, тыл у нее крутой... А ежели по всем швам бляшки да шнурочки, очень это ей соответствует. На войну брать их не буду — по всему фронту пойдут крутить, ни один солдат в окопах не усидит.

Морячкам тоже фитилек вставлю: год во флоте, год в армейской пехоте. Чтоб, ежели придется, вровень с нами страдали. А то ленточки пораспустили, штаны с начесом, порция усиленная. Война грянет — он кой-когда, пес, по пустой воде выпалит, а у нас, сухопутных, что ни день — полный урок...

Летчикам — первое место. Серебром обложу, золотом прикрою. В строю каждый гунявый — герой, — не откажешься. А он в одиночку на стальном жуке в неизвестном направлении орудует. Облака да бог — сам бы Скобелев призадумался.

Насчет фельдфебелей по всем частям приказ отдам: чтобы когда по ротным школам солдаты над грамотой преют, они б, жеребцы стоялые, нижних чинов за уши не тянули. Вольноопределяющий только по картонбуквам слогам обучит, а фельдфебель за ухо: «Тяни, сукин кот, гласную букву, чтоб гласно выходило!..» Этак и ушей не хватит. И чтобы библиотечки ротные везде заведены были. Для чего ж и грамота, ежели в шкапчике, кроме уставчика внутренней службы да жития преподобной Анфисы-девы, — ни боба. Что же это за модель: печку завели, а топить воспрещается.

Опять же насчет солдатских жен... Я, скажем, холостой, сердце у меня вакантное. А другой, женатый, наплачется. Он тут прыжки да плавное на носках приседание делает, царскую службу несет, а жена евонная в деревне рассусоливает. То семинарист к батюшке на легкие каникулы припрет — к кому ж ему, как не к солдатке, припаяться? Сладкая водочка да стручки — в рощу пойдут комаров считать, — ан глядь, ей теплым ветером и надуло. Снохачи тоже попадают лакомые: днем поплавок в лампадке поправляет, а ночью к рыбке по стенке пробирается. Альбо в город которая сама подается в черные куфарки — кто мимо ни

пройдет, норовит ее за подол: почему аршин ситца? Как горох при дороге...

Занятие это, ребята, я форменно прекращу. Всех солдаток по уездам велю в одну фатеру сбить, правильных старушек к ним, на манер старших, приставлю. Шей, стряпай, дите свое качай, полный паек им всем от казны. Солдаты ихние в побывку раз в полгода заявляются. Честь честью. А какая против закона выверт сделает, в гречку прыгнет, — в специальный монастырь ее на усмирение откомандировать, чтоб солдатских чистых шей дегтем не забеливала...

В ротях прикажу для легкости прохождения службы всем желающим балалайки выдать, либо гармонии, что кому по вкусу. Освещение удвою, что ж после поверки утопленниками по темным койкам сидеть... Дисциплина дисциплиной, а час в сутки и дятлы веселятся. По булке с маслом каждому предоставляю, ужели в России пшеницы на нижних чинов не хватит?.. Струнки бренчат, чаек кишки греет, кто грамоте горазд — сонник читает, кто земляку на койке салазки загибает. Унтера в стороне за своим чайничком сидят, глазами зыркают, — а насчет замечаний ни-ни... Потому час не ихний.

А по праздникам я сам все роты самолично обойду. Да чтоб не тянулись — смотри у меня! Поздоровкались — и будет. Понанесут мои лакеи и жареного и пареного, корзин со сто. За провизией не постою — не таковский... Барышень городских пригласим — Сидорчук у нас мастак. Да как грянем в шесть гармоний кудрявую польку — аж до офицерского собрания докатится. «Ти-ли, ти-ли, черта брили, завивали хохолок...»

Жалованье вам всем, само собой, утрою. На полтинник в месяц и мышь не разгуляется. Солдат, хочь и нижний чин, чай, из того же ребра сделан. Выпить да покурить и ему хочется и мылом-резедой в праздник умыться всякому антересно. В орлянку опять же на пуговку от штанов не сыграешь...

Да еще вот. Ежели под ружье солдата ставят, полную выкладку на него навьючивают — чтобы у чистого крыльца его на потеху фельдфебельским дочкам не выставляли! А на задворках. Чтоб тихо-мирно он наказание отбыл, чтоб в душу ему помету не подсыпали... Обязательно приказание отдам.

А по гражданской части уж я, братцы, и не знаю... Созову разных сословий старичков — умственные из них попадают. Так, мол, и так, отцы... Государство наше, поди, по-

более Турции, а живем кисло. Голова в золоте, тело в коросте. Дворцы да парады, кумпола блестят, в театрах арфянки гремят, гостиные дворы финиками-пряниками завалены, а у нас в деревне кругом шестнадцать. Леший в дырявом лапте катается, сороковкой погоняет, онучей слезы утирает... Афганскому прынцу пирожок на золотом блюде показываем, а начинка тараканья. Я царь, мне это досадно. Ежели надо, жалованье мне урежьте, я из солдатского котла попитаюсь — только полный порядок наведите.

Да засажу их, чертей-старичков, в отдельный дворец — пей-ешь, хочь пуговку напроць, — а кругом строгий караул поставлю. До той поры их, иродов сивоусых, не выпущу, пока до настоящей точки не дойду... Аль у нас в России золота под землей не хватит, аль реки наши осокой заросли, али земля наша каменная, али народ русский в поле обсевок? Почему ж эдакую прорву лет из решета в сито переливаем, а так до правильной жизни и не достигли?..

\*

Обдумал я все главные дела, ан тут и ночь накатила. Дежурные сестры перину взбили, горностаевое одеяльце отвернули:

— Пожалуйте, ваше величество. Простым солдатам редька с квасом снится, а вам пушай рябчик в сметане. Счастливо оставаться. Завтра чуть свет щиколаду мы вам миску принесем да сала полфунта. Рубашка ночная у вас под подушкой, потому цари в дневной не спят.

Фукнули они за дверь. Однако я, как клоп, на одеяле остался. Тоска-скука меня распирает. Спать не хочется — днем я нахрапелся, аж глаза набрякли. Под окном почетный караул: друг на дружку два гренадера буркулы лупят — грудь колесом, усы — шваброй. Перед опочивальней опять же двое. Дежурный поручик на тихих носках взад-вперед перепархивает. Паркет блестит... По всем углам пачками свечи горят — чисто, как на панихиде. То ли я царь, то ли скворец в клетке...

Хлопнул я в ладони — из задней дверки денщик Сидорчук появляется, сам, стерва, жует чтой-то. До царской куфни дорвался...

— Пойди в роту. Отдай чичас приказание, чтоб койку мою сюда приволокли. А энта бабья мякоть мне без надобности.

Горностай за хвост на пол сдернул, перинку носком поддал.

— Неудобно, ваше величество. Фельфебель и тот на мягком спит. А при вашей должности...

— Ты, что ж это, присягу забыл? Без рассуждений! Как двину тебя по мордовской волости, так до самой роты и докатишься. Шарика с собой прихвати, развлекусь хоть с собачкой...

— Да как же, ваше величество, возможно? Разве ж дежурный поручик простого ротного пса пропустит?

— А я тебе свой перстень дам. Покажешь — так и кобылу пропустит.

Через пять минут, слышу, волокут мою койку. Шарик, обормот, так козлом с радости на часовых и сигаает. Вскочил в опочивальню да меня в губы. Эх, ты, собачка, друг закадычный!

Расклали солдатики койку — Курослеп да Соленый, нашего взвода. Столбами вытянулись, глазами меня так и едят.

— Садись, — говорю, — ребята. Чего там. Чичас нам Сидорчук белую головку откупорит. В остатний раз с вами выпью. Садись, не бойся. Я вам повелеваю.

Только это мы расположились — Сидорчук нам моментальную закусочку соорудил, — сало поджарил, так на сковороде и скворчит... Глядь, из-за двери рука в галунах просовывается, пакет подает.

— Что такое?! Ни днем ни ночью царю от вас передышки нет. Видишь, люди закусывают. Положь пакет на ларь в передней, авось не примерзнет.

Однако за рукой сам курьер так лапшой в щель и тянется.

— Спешно, секретно, в собственные руки — прочитайте от скуки. Расписание занятий вашему величеству на завтрашний день.

Принял я бумагу, водку с досады пробкой заткнул, чтобы градус не выдыхался. Курьеру на чай гривенник дал — человек подначальный: хочь бешеную собаку ему за обшлаг сунь — обязательно доставит.

Вскрыл я конверт, а там скоропишущей машинкой цельная колбаса отбита, лопатой не проворотишь:

— В семь утра — в манеж гусарскую фигурную езду смотреть; в восемь — дагестанскому шаху тяжелую антиллерию показывать; в девять — юнкерей с производством поздравлять; в десять — со старым конвоем прощаться, в одиннадцать — свежий конвой принимать; в двенадцать — нового образца пограничной службы пуговки

утверждать; в час — с дворцовым министром расход проверять; в два — подводный крейсер спускать; в три — греческого короля племяннику ленту подносить...

Да два парада гвардейских, да один армейский, да вечером бал, — бык с елки упал! — турецкий посол за моего конвойного есаула троюродную внучку отдает... Анчутка вас задави! Дале я и читать не стал. Дорожки без колес, в оглоблях пес — вертись, как юла, вокруг овсяного кола...

Подошел я к царскому телефону, шарманку повертел, снова зауряд-чиновника вызвал:

— Дзынь-дзынь. Царь говорит. Реестр я ихний получил, бабку их под каблук. А что мне будет, ежели я наряда этого не исполню?

— Никак невозможно, ваше величество. Солнце цельный день по небу бродит, тоже много чего зря освещает. Не откажешься.

— Да когда ж при таком расписании я настоящее исполнять буду?

Слышу я, усмехается он, стрекулист, по проволоке, шершавым голосом с почтительностью отвечает:

— А может, это по реестру — настоящее и есть? По всем странам один прейскурант. Поперек койки, ваше величество, не ложись — а то ножки замлеют...

Плюнул я в трубку, к землячкам отошел:

— Ну, что ж, землячки, выпьем... Пошлины взяты, товар утонул. Дело это еще обмозговать надо.

Скука-тоска меня распирает — аж сало горчит. Допили мы сороковку, не пропадать же царскому добру. Походил я по ковру, жука майского, что сдуру в царскую опочивальню залетел, в окно выпустил... Ан тут меня и осенило:

— Тащи, ребята, койку обратно. Простите, что зря потревожил...

Что ж, думаю, власть моя еще при мне. Не все карты биты, один козырь остался. Авось отыграюсь...

Сел за столик да и стал приказ писать: самого себя в рядовые приказал разжаловать, да в свою же роту тую же минуту откомандировать. А за беспокойство повелел себе из царского сундука сапоги на ранту выдать. И сразу ж, братцы, точно утюг отрыгнул, — легко мне стало просто до невозможности...

Вот, можно сказать, и поцарствовал. Как у нас говорится: нашел леший клобук, а взять убоился...

## КОРНЕТ-ЛУНАТИК

Кому что, а нашему батальонному первое дело — театры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на масленую представлять. Прочих солдат завидки берут, а у нас в первом батальоне лафа. Потому батальонный, подполковник Снегирев, начальник был с амбицией: чтоб всех ахтеров-плотников-плясунов только из его первых четырех рот и набирали. А прочие — смотри-любуйся, в чужой котел не суйся.

Само-собой, кто в список попал, послабление занятий. Взводный уж тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики короткие. И вообще жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка!..

\*

Словом сказать, столовый барак весь в ельнике, лампы-молнии горят, передние скамьи коврами крыты, со всех офицерских квартир понашарпали. Впереди полковые барыни да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают. А за скамьями — солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают — интересно.

А на помосте — кипит... Вольноопределяющий — подсказчик из собачьей будки — шипит-поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки на зубок раздраконены, аж сам батальонный удивляется. “Ах, — говорит, — и сволочи у меня, лучше и быть нельзя”.

Все, само собой, в вольном платье: кто барином в крахмале, кто купцом пузастым, кто служающим половым-шестеркой. Бабы рольки тоже все свои сполняли. Прямо удивления достойно... Другой обалдуй в роте последний человек, сам себе на копыта наступает, сборку-разборку винтовки, год с ним отделенный бьется — ни с места. А тут так райским перышком и летает — ручку в бок, бровь в потолок; откуль взялось...

А всех чаще вестовой батальонного командира, Алешка Гусаков, разделывал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала: то ли ей хрену с медом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулится, мужа своего, надо быть, для поднятия супружеской любви, дразнила... Мужчины за ей, конечно, как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что ж?.. Пожевать да выплюнуть!

Плечиком передернет, слово с поднамеком бросит, аж весь барак от хохота трясется. Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается, батальонный уж и смеху лишился — только хрюкает. А адъютант полковой столбом встал и все взад оборачивается, солдатам знак подает:

— Тише вы, дуботолки, из-за вас никакой словесности не слышно!

Чистая комедия!.. Как развязка то развязалась — барин в густых дураках оказался, на коленки пал. А Алешка Гусаков в бюстах себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает — прямо к полковому командиру рыло поворотил, — смелый-то какой, сукин кот... Расхлебали, стало быть, всю кашу, занавеску с обеих сторон стянули — плеск, грохот, полное удовольствие.

Ну, тут батальонный по-за сцену продрался, Алешку в свекольную щеку чмокнул, руками развел:

— Эх, Алешка! Был бы ты, как следует, бабой, чичас бы тебя на свой счет в Питербург на императорский театр отправил... В червонцах бы купался. Не повезло тебе, ироду, родители подгадили...

\*

Комедия отвалила, вертисмент пошел. Кажный, как умеет, свое вертит. Солдатик один на балалайке “Коль славен” сыграл до того ладно, будто мотылек по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин дрессированного кота первой роты показывал: колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается — благородство свое доказывает. А как Бородулин в барабан грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь всю как есть с веревочкой слопал. Опосля на игрушечного конька влез, Бородулин перед им церемониальный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет — парад принимает. Так все и легли!..

Между прочим, и Алешка Гусаков номер свой показал: как сонной барыне за пазуху мышь попала... Полковница наша в первом ряду так киселем и разливается, только грудку рукой придерживает... Кнопки на ней все напрочь отлетели, до того номер завлекательный был.

Потом то да се — хором спели с присвистом:

*Отчего у вас, Авдотья,  
Одеяльце в табачке?*

Гусаков за Авдотью невинным фальшщетом отвечает. Хор ему поперек другой вопрос ставит, а он и еще погуще... С припеком!

Батальонный только за голову хватается, а которые барыни — ничего, в полрукава закрываются, иначе не уходят...

Кончилось представление. Господа офицеры с барыньками в собрание повзводно тронулись, окончательно вечер пополировать. Гусаков Алешка земляков, которые уж очень руками распространялись, пораспихал. «Не мыльтесь, братцы, бриться не будете!» И, дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой под мышку, да и к себе. Батальонный евоный через три квартала жил — дома, не торопясь, из юбок вылезать способней...

\*

Вылетел Алешка за ворота, подол ковшиком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит, над забором кусты в инее, как купчихи в бане расселись. Сбил Гусаков с дождевой кадки каблучком сосульку, чтобы жар утолить. Сосет-похрустывает, снег под ним так ласточкой и чирикает.

Глядь, из-за мутного угла наперерез — разлихой корнет: прибор серебряный, фуражечка синяя с белым, шинелька крыльями вдоль разреза так и взлетает... Откель такой соболь в городе взялся? Отпускной, что ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку полыхает.

Разлет шагов мухобойный — раскатывает его на крутом ходу, будто черт его оседлал, — а между прочим и не так уж близко. Врезался он в Алешку, ручку к бровям поднес, честь отдал.

— Виноват. Напоролся!.. Куда ж это вы, Хризантема Агафьевна, так поздно? И как это вас мамаша-папаша в такой час одну в невинном виде отпускают?

Ну, Алешка не сробел, в защитном дамском виде ему что ж!..

— А что, — grit, — мне папаша с мамашей могут воспретить? Я натуральная сирота. А припоздала по случаю театра... И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются!..

Корнет, само собой, еще пуще разыграл.

— Ах, ландыш пунцовый! Да я что же? Сироту всякий военный защищать обязан... Грудью за вас лягу!

Алешка тут, конечно, поломался:

— Мне, сударь, ваша грудь ни к чему. У меня и своя неплохая...

— Ах, Боже ж мой... Да я ж понимаю! А где, например, ваш дом?

— За дырявым мостом, под Лысой горой, у лешего под пятой.

— Скажи, пожалуйста... В самый раз по дороге.

И припустил за Алешкой цесарским петухом, аж шпоры свистят.

Видит Алешка — дело мат! Обернул он вокруг руки юбку, да и деру. До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул, глядь, корнет за плечами... Иного вино с ножек валит, а его, вишь ты, как окрылило.

Испугался солдат, плечом деликатно дверь придерживает.

— Уходите, ваше благородие, от греха. Дядя мой в баню ушедши. С минуты на минуту вернется, он с нас головы поснимает.

— Ничего! Старички, они долго парятся. А насчет головы не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена. Да и вашу придержим.

И в дверь, как штопор, взвинтился. Шинельку на пол. За Алешку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол дорогим званым гостем, как галка в квашню, ввалился. Выскользнул у него Алешка из-под руки. Стоит, зубками лязгает. Налетел с мылом на полотенце... А что сделаешь? Хоть и в дамском виде, однако, простой солдат, — корнета коленом под пуговку в сугроб не выкатишь...

Сидит корнет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает. А потом, черт вяленный, разоблакаться стал: сапожки ножкой об ножку снял, мундир на ковер шмякнул...

Гостиницу себе нашел. Сиротский дом для мимоходящих... Шпингалет пролетный! И все Алешку ручкой приманивает:

— Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь. А вы б со мной рядом присели. На всякий случай... У меня с вами разговор миловидный будет...

Пятится Алешка задом к дверям, будто кот от гадюки, за портьерку нырнул — и на куфню. Дверь на крючок застебнул, юбку через голову — будь она неладна. Из лифчика кое-как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпчочкой смыл, забрался под казенное одеяльце и трясется. «Пронеси, господи, корнета, а за мной не пропадет! Нипочем дверь не открою, хоть го-

ловой бейся!» Да для верности скочил на голый пол и шваброй, как колом, дверь под ручку подпер.

А корнет покачался на спружинах, телескопы выпучил, муть в нем играет, в голове все потроха перепутались. Сирота-то эта куда подевалась? Курочка в сережках... Поди, плечики пошла надушить, дело женское.

Глянул он в уголок — видит, на турецком столике чуть початая полбутылки шустовского коньяку... С колокольчиком. Потянулся к ней корнет, как младенец к соске. Вытер слюнку, припал к горлышку. «Клю-клю-клю...» Тепло в кишки ароматным кипятком вступило — каки уж девушки! Да и давнешний заряд немалый был.

Снежок по стеклу шуршит. Барышня, поди, ножки моет — дело женское. Ну и хрен, думает, с ней... И не таких взнуздывали!

Бурку подполковничью на себя по самое темя натянул, ножками посучил. Будто в коньячной бочке черти перекачивают. Так и заснул под колыбельный ветер, словно мышь в заячьем рукаве. Жернов-камень тяжелый, а пьяный сон и того навалистей.

\*

На крыльце калошки-ботики скрипят. Ворчит батальонный, ключом в дырку попасть не может. Однако добился. Не любит зря середь ночи денщика будить... Да и без того Алешка сегодня в театре упарился.

Ввалился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинет-покоя свет ясной дорожкой стелется: Алешка, стало быть, ангел-хранитель, постель стлал — лампу оставил. И храп этакий оттудова залиvistый; должно, ветер в трубе играет.

Ступил подполковник Снегирев на порог, глаза протер — отшатнулся... Что за дышло! Поперек пола офицерский драгунский мундир, ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки, валяются... А на отомане, под евоенной буркой, живое тело урчит... Кто такой? По какому случаю? Сродников в кавалерии у батальонного отродясь не было... Что за гусь сквозь трубу в полночь ввалился?

Поднял он тишком край бурки — личико неизвестное.

А на корнета свежим духом пахнуло — потянулся он, суставами хрустнул и, глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит:

— Пришли, душечка? Ну что ж, ложитесь рядом, а я еще с полчаса похраплю...

Но тут батальонный загремел:

— Какая-токая я вам душечка? По какому-токому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали, и почему я с вами рядом спать должен? Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать!

Да бурку с него на пол.

Корнет, само собой, от трубного гласа да от ночной прохлады вскочил репкой, зеньки вытаращил... Равновесие поймал, ручки по швам, и хриплым голосом в одних носках выражает:

— Извините за ради бога, господин полковник, вы, стало быть, ейный дядя?

— Кому я, псу под хвост, дядя?.. Ежели вы, корнет, из сумасшедшей амбулатории сиганули, так я, слава Создателю, подполковник Снегирев, еще по потолку пятками не хожу! Кто вы такой есть, и почему я вас под своей буркой, как подброшенного младенца, нашел?

Зарумянился корнет: однако вылезать-то из невода надо.

— К племяннице вашей я точно подкатился. Однако будьте без сумления. Все честь честью! Потому как на вокзале, по случаю заносов, застрял, — сразу, к вам ввалившись, на отомане и заснул. А насчет намерений ничего у меня не было. Они девушки хладнокровные даже до невозможности.

Рассвирепел тут батальонный, крючок на воротничке сорвал:

— Да вы что ж это, корнет, со мной в чехарду играете?.. Отродясь у меня племянницы не было. Я человек вдовый и над собой таких надсмешек не дозволю! Да, может быть, вы и не корнет, а, извините, жулик маскарадный? Да я чичас всю вашу сбрую запру, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных рейтузах отправлю... Эй, Алешка!..

Почернел гость залетный в лице, ан тут не взовьешься. Потерял голову — поиграл желвачком. Однако сообразил: из тылового кармана билет свой отпускной вынул. Так, мол, и так — занапрасно позорить изволите. А насчет племянницы, бог ей судья. Либо я перепил, либо недопил — наваждение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососет.

Повертел батальонный офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился:

— Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алешка в этом разе узелок развяжет. Эй, Алешка! Горниста за тобой спосылать, что ли?

\*

Является, стало быть, Алешка. В темном углу у портьерки стал, шароварки оправил, руки по швам, стрункой. Батальонный ему форменный допрос делает:

— Дома был все время?

— Так точно. На куфне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул.

— Роба у тебя почему в саже?

— Самоварчик для вашего высокородия ставил... В трубу дул, а оттедова от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда ж ей деваться?

— Ладно, не расписывай. Господина корнета видишь?

— Так точно.

— Хорошо видишь? Возьми глаза в зубки.

— Явственно обозначается. Мундир ихний и сапожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоять изволят. Прикажете подобрать?

— Не лезь, рукосуй, пока не спрашивают! Как их благородие к нам попал?

— В гости с вашим высокородием, надо полагать, явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны, либо каклетки со сладким горошком разогреть?

— погоди греть, как бы я тебя сам не взгрел... А вот я тебе расскажу. Дверь я ключом сам открыл — была на запоре. Понял?

— Так точно. Сам на два поворота замкнул. Замок у нас знаменитый.

— Так-с... Взошел в кабинет, ан у меня на отоманке под буркой теплый корнет храпит. Вот они-с. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что ли?

— Никак нет. Замочную дырку я завсегда с внутренней стороны бляшечкой прикрываю...

Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел — сел на стул сапожки натягивать. Ишь какой, мол, солдат аккуратный.

— Так-так. Мозговат ты, Алешка, да и я не на глине замешен. Каким же манером, еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком — чудом здесь пахнет.

— Не могу знать! Насчет чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозвоьте разъяснение сделать...

— Говори. Ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам.

— Весной, ваше скородие, случай был: полковой капельмейстер по случаю полнолуния на крыше у городского головы очутились. Извольте помнить?

— Ну-с?

— Сняли их честь-честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковой разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачнения. Лунный свет в них играл...

— Ну-с?

— Может, и их благородию таким же манером паморки забило...

Посмотрел батальонный на корнета, корнет на батальонного, оба враз рассмеялись.

— Ну, это ты, ангел, — говорит корнет, — моей гнедой кобыле рассказывай! Какое же теперь полнолуние, луны и на полмизинца нынче нет.

— Да, может, ваше благородие, в вас это с запрошлой луны действует? Вроде лунного запоя...

Махнул батальонный рукой:

— Заткнись, Алешка! Не то что полтинника, гривенника ты не стоишь. Посадил корову на ястреба, а зачем — неизвестно... Тащи-ка сюда каклеты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость богоданный от волнения чувств пожует. Прошу покорно!..

Тронулся Алешка легким жаворонком: пронесло, слава тебе, господи. А батальонный ему в затылок:

— Стой! А чего это ты, шут, между прочим, все хрипишь? Голос у тебя в другую личность ударяет...

— Виноват, ваше скородие. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил... Папироски на подоконнике, не извольте искать.

Да поскорее от греха два шага назад и за дверь.

\*

Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, каклетки на вилках покачиваются. Пожевал батальонный, к коньяковой бутылке руку потянул: гнездо цело, да птичка улете-ла...

— Однако... И здоровы энти лунатики пить-то! Чокнуться даже нечем. Да вы будьте без сумления, пехота не без запаса... Эй, Алешка, гони-ка сюда зверобой, в сенях на полке стоит. Сурьезная водочка!.. А между прочим, корнет, здорово вы, надо быть, дрозда зашибли, допрежь того как в лунном виде под бурку мою попали. Ась?

— Так точно! По случаю заносов, на вокзале флакона два-три пристроил.

— Конечно! Чего же их жалеть... А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом изволили все ж таки дуть? Я по службе вас старше... Сам кобелял в свое время. Валите!..

— Так точно! Был грех.

— А в чем она, племянница, одевши-то была?

— В черной тальме. А может, и в белой. Снег в глаза бил и я, признаться, на раскатах очень заносился... Вот платочек запомнил: в павлиньих узорах, округ головы зеленые махры...

Затопотал батальонный каблуками, глазки залучились, по коленке корнета хлопнул.

— Так и есть. Это ж вы за племянницей нашего старшего врача лупили. В тиатре она на камедь смотрела... Через дом от нас живет. Ах, корнет-пистон, комар тебя забодай! Ну и хват! Ань потом снежком ее занесло, ветром сдуло, а вы в мою калитку с двух бортов с разлета и попали... Ловко!.. Эй, Алешка!.. Что ж зверобой? Протодиакона за тобой спсылать, что ли?

А Алешка за портьеркой задержался, разговор ихний слушавши. Спервоначалу так весь сосулькой и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден, -- взошел бесстрашно, рюмками звякнул. Встал перед ими — душа на ладони — и дополнение светлым голосом сделал:

— Запамятовал, ваше скородие, виноват. Как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился — черный ход на самую малость у меня был не замкнут. Может, в эту самую дистанцию их благородие к нам в лунном виде и грохнули. Больше неоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан и тот не пролезет.

Объяснил чистосердечно, батальонный окончательно повеселел — военный начальник точность любит, а не то чтоб на чудесном помеле корнеты сквозь штукатурный потолок под бурку ввалились. Отпустил он Алешку сны досыпать, а сам по пятой зверобой-рюмке невинный вопрос задает:

— Ну что ж, сынок, пондравилась тебе докторская племянница? Лимон с гвоздикой!

— Так точно! Сужет приятный, да с крючка сорвалось... Руку только нацелился поцеловать — чуть зубов не лишился. Огонь девка!

Батальонный так и покатился.

— Эх ты, вьюнош скоропалительный! Да она ж горбунья! В градусах да в снежной завирушке ты и не разглядел... Ручку? Ее ж потому одну домой доктор из театра отпустил, что все ее в городе знают... Кто ж на такую вилковатую березу окромя мухобойного залетного корнета и польститесь?

Насупился корнет, губу щиплет. Досада!.. Да скорей за шестую рюмку. Зверобой конфуз осаживает, известно.

Поднял тут батальонный голову: ишь как в сенях ветер скворчит. Сквозь портьерку ему невдомек, что не в ветре тут суть, а энто Алешка, гнус, морду себе башлыком затыкает... Смех его разбирает — вот-вот по всем суставам взорвется!..

## БЕСТЕЛЕСНАЯ КОМАНДА

Шел солдат на станцию, с побывки на позицию возвращался. У опушки поселок вилами раздвоился: ни столба, ни надписи — мужичкам это без надобности. Куда, однако, направление держать? Вправо, аль влево? Видит, под сосной избушка притулилась, сруб обомшелый, соломенный козырек набекрень, в оконце, словно бельмо, дерюга торчит. Ступил солдат на крыльцо, кольцом брякнул: ни человек не откликнулся, ни собака не взлаяла.

Наддал он плечом, взошел в горницу. Видит, на лавке старая старушка распространилась, коленки вздела, на полати смотрит, тяжело дышит. Из себя словно мурын, совсем почернела. В переднем углу вместо иконы сухая тыква висит, куриные лапки в одну шеренгу прибиты.

— Здравствуй, бабушка... Куда на станцию поворот держать — вправо, аль влево?

— Ох, сынок... На обгорелый дуб целиной-лугом ступай. Пешему не заказано... Да не подашь ли мне, старой, водицы испить? Совсем, сынок, помираю!

Зачерпнул солдатик ковшиком, сам все на передний угол посматривает.

— Что ж у тебя, бабушка, иконы-то не видать? Из татарок ты, что ли?

— Тьфу, тьфу, служивый!.. Русская я, орловской породы, мценского завода. Да знахарством все промышляла по слабости здоровья. Рукоделие такое: бес ухмыляется, ангел рукой закрывается. Стало быть, образ мне в избе держать несподручно. Всухомятку молюсь — на порог выйду, звездам поклонюсь, «Славу в вышних» пошепчу... Авось господь бог услышит.

— А по какой части, бабушка, ты орудуешь больше? По штатской, аль по военной?

— По штатской, яхонт, по штатской. Отстуду, скажем, между мужем-женой прекратить, альбо от зубной скорби заговорить... Деток кому подсудобить, ежели потребуется. Худого не делала. А по военной, что ж... В стародавние годы заговоры по ратному делу действовали, пули свинцовые отводили. А ныне, сынок, сказывают, кулеметы какие-то пошли. Так веером стальным и поливают. Управься-ка с машинкой этакой!..

Вздохнул солдатик.

— Ну, бабушка, ничего. На себе поснесем, да вас побережем. Кланяйся родителям, в случае чего... В запрошлом году они скончавшись. Будь здорова, бабушка, помирай себе с богом...

Только встал, обернулся — слышит, у ног тварь какая-то мяучит, о сапог мягкая шуба трется, а ничего не видит... Протер он обшлагом буркалы — что за бес... Плошка пустая у порога подпрыгнула, метла прочь сама откатилась, голос шершавый все пуще мяучит-надрывается.

— Ох, — говорит, — бабка! Что ж это за наваждение? Душа кошачья у тебя по избе без лап, без хвоста бродит...

— А это, соколик, кот мой, Мишка. Плесни-ка ему молочка в плошку. Я сегодня по слабосильности и с лавки не вставала. Голоден он, чай.

— Да где кот-то, бабушка?

— Плесни, плесни. Экой ты, солдат, надоеда...

Налил солдат из крынки полную плошку. Глядит: молоко стрепенулось, кверху подпрыгивает, будто ложечкой кто сливки взбивает. Брызги во все стороны... Дрожит плошка, молоко убывает да убывает, глядь-поглядь — само в себя ушло, края подлизаны, даже до сухости...

Обалдел солдат, на бабушку уставился. Усмехается старушка.

— На войне был, а пустякам удивляешься. Настой-зелье я по своей секретной надобности сварила, остудить под лавку поставила. А он, дурак Мишка, сдуру лизнул — вот и бестелесным стал. Да пусть так бродит, мне все одно помирать. Авось в бестелесном виде промышлять ему способнее будет.

Загорелась солдатская душа до чужого ковша — по какой причине, и сам не знает...

— Ох, родненькая... Дай-ка мне состава энтого, умора ведь какая... Солдатикам на позиции тошно, тоска смертная. А тут этакая забава... Уж я за тебя в варшавском соборе рублевою свечу поставлю: окопный солдат вроде как святой — тебе это не без пользы будет.

Закашлялась старушка, зашла, поплевала в тряпочку, отдышалась и говорит:

— Экий ты младенец стоеросовый... Ну что ж, бери! Свои бросили, чужой пожалел, водой попоил. Только смотри, шути да откусывай... Ежели какую тварь либо человека в бестелесный вид приведешь, помни, орел: только водкой зелье мое и прополаскивается. Рюмку-другую вольешь, сразу предмет в тело свое войдет, натуральность свою обнаружит...

Солдат одной рукой за чашку, другой за баклажку. Перелил, бабушке в пояс поклонился, и за дверь — целиной-лугом на обгорелый дуб, к своей станции. Зелье на боку в баклажке булькает — аж селезенка у солдата с радости заиграла, до того забавная вещь.

С этапа на этап — докатился солдат до своего места, в аккурат час в час в свою роту заявился. О ту пору полк ихний в ближний тыл на отдых-пополнение оттянули. Старослужащим вольготнее стало — винтовку почистил, шинель залатал и вались на свою койку, потолочные балки в бараке пересчитывай.

А свежих бородачей во дворе обламывают. Занятие идет, соломенное чучело колоть учат: штык по шейку всади да назад одним духом с умом выверни. Ходит ротный, присматривает, не очень и ему весело запасных вахлаков обтесывать. Зевнул в белую перчатку, фельдфебеля спрашивает:

— А что ж, Назарыч, Шарика нашего не видать?

— Не могу знать! Второй день в безвестной отлучке. Тоже тварь живая, амуры, надо быть, тыловые завелись.

Повернулся ротный на подковках, Назарычу занятия предоставил, в канцелярию ротную пошел приказы полковые перелистывать. Слышит, за перегородкой в углу кто-то посвистывает. Шарика кличет — в ответ собачка урчит, веселым голосом огрызается. Поглядел он в щелку: сидит это солдатик Каблуков, что намедни с отпуска вернулся, на сундучке. Одна нога в сапоге, другая в портянке. Свистит, пальцами прищелкивает, а перед ним, — господи, спаси-помилуй! — пустой сапог в воздухе носится, кверху носком взметывается.

Дрогнул ротный, а уж на что храбрый был, самому дьяволу не спустит. За столик рукой придержался. Дошел до порога, за косяк ухватился... Стрепенулся Каблуков, вскочил, вытянулся, а сапог округ него так вприсядку и задувает, уши по голенищам треплются, а из голенища, будто из граммофонной дыры: «Ряв-ряв!» Да вдруг сапог прямо на ротного, будто к родному брату — по коленке его хлопает, в руку подметкой тычется...

Побелел ротный — на елку бы влез, да елки нетути...

— Ох, — говорит, — Каблуков, плохо мое дело... Прошлогдняя контузия, вот она когда себя оказывает. Беги за Назарычем, пусть меня скорей в лазарет свезет... А то, пожалуй, оборони бог, кусаться начну.

Оробел Каблуков, к земле прирос. Однако кое-как губы расклеил:

— Не извольте, ваше высококородие, тревожиться. Сапог натуральный, интендантской кожи. А что он сам летает, будьте без сумленья, собачку я бестелесную учил поноску носить. Да тут вы сбоку взошли, не заметил я, напужал только ваше высококородие занапрасно.

Выпучил ротный глаза.

— Что ты... окстись!.. Какая-токая бестелесная собачка?

— Да наш Шарик! Я его, ваше высококородие, наскрозь прозрачной настойкой для забавы обработал. Скажем, как стекло: виду нет, а в руку взять можно.

Ротный так на сундучок и опустился:

— Ну, Каблукѡв, придется, видно, нас двоих в тихое отделение на лазаретной линейке везти. Я телесные сапоги в воздухе ловить буду, а ты бестелесной собачкой забавляться. Видишь, что война из людей делает.

Однако Каблуков, хочь и подчиненный, поперек тут врезался, видит, чем дело тут плохим пахнет. Обсказал все, как есть, про помирающую старушку да про кошкино молоко.

— Я ж, ваше высококородие, против присяги не пошел. Мог в лучшем виде сам себя смыть, стеклянным студнем по всей Рассеи перекачываться... Поймай-ка у сокола на плече, у бабы под мышкой... Ан к окопной страде вернулся. Вы, ваше высококородие, извольте сундучок ослобонить, я вам чичас все наружу произведу — от своего начальника какие секреты!..

Звякнул сундучок веселой пружиной. Каблуков одной рукой шкалик вытащил, другой невидимую собаку к себе притянул, бестелесную пасть ей раскрыл.

— Ишь ты, ртуть курчавая!.. Ротный армейский цуцик, а насчет водки отворачивается. За пальцы меня хватать? Своего отделенного начальника? Готово, ваше высококородие, извольте получить.

И, действительно... Бабушке твоей Хны-Хны, преподобной Печерице! Сапог сам собой наземь швякнулся, а промеж пальцев у Каблукова мясная собачка Шарик вьется, пасть раззявила, нос морщит, лапой по языку мажет, винный дух соскребывает.

Ротный по сторонам глянул, воздуху глотнул, Каблукову в самое ухо выпалил:

— Никому не показывал?

— Никак нет! Я, ваше высококородие, всей роте сюрприз готовил. В балагане на ярманке и за двугривенный такого сюжета не покажут. Пусть, думаю, узнают, кто есть таков Егор Каблуков...

— Эх ты, — говорит ротный, — телятина с косточкой... Смотри ж, чтобы мышь не прознала, чтоб муха не догадалась... Чтоб ветер не подсмотрел. Ох, Каблуков, чего это мы теперь с тобой разделаем... Наград в штабе не хватит!

И пошел к дверям, будто в мазурке поплыл — один глаз лукавый, другой задумчивый...

\*

Часы заведи, а ходить сами будут. К закату из полкового штаба вестовой в барак вкатывается: экстренно, мол, Каблукову явиться, да чтоб с ротной собачкой пожаловал. Фельдфебель удивляется, землячки рты порасстегнули, однако Каблуков ни гу-гу... Ноги шагают, а рука в затылке скребет: беспокойства-то сколько от старушки этой помирающей произошло.

Переступил он через штаб-крылечко, писаря за столами переглядываются, полковой адъютант, насупившись, усеребит — почему, мол, такая секретность? Через него же первого всякие тайности проходили, а тут на-кось, — серый солдат со сверхштатной собачкой, и хочь бы слово... Обидно.

Провели Каблукова в дальний закуток. Сам командир полка коридорную дверь на два поворота замкнул, вторую прикрыл. Ох, милый друг, Егор Спиридонович, что-то будет?.. И ротный тут же: один глаз лукавый, другой и того лукавее.

Дернул командир плечом, щеки пламенем отливают. Дать бы ему, Каблукову, промеж глаз, а ротного налево-кругом на гауптвахту, суток на десять, пока не очухается... Ан сначала-то проверить надо.

— Ну что ж, показывай, голубь. А уж потом и я тебе по-ка-жу...

И зубом золотым скрипнул.

Подтянулся Каблуков. Он что ж, худого не замышлял. Схватил Шарика поперек живота, баклажку вынул, да в пасть ему пропорцию и влил: сгинул Шарик, как дым разошелся.

Повеселел тут солдат совсем, а командира полка аж в малиновый румянец вдарило.

— Разрешите, ваше высокородие, фуражечку вашу?

Насмелился Каблуков, снял со стола да бестелесной собачке в зубы. И пошла, братцы мои, командира фуражка козлом по всей горнице скакать, будто нечистая сила в нее из-под половиц поддувает...

Перекрестился командир мелкой щепотью.

— Тьфу, тьфу!.. Простая деревенская баба, кочерга ей под пятое ребро, а какую военную химию надумала!..

Глаз у него, конечно, по-иному заиграл: та же опара, да другой кисель. Потрепал Каблукова по защитному погону, ротного к грудям прижал.

— С богом! Валите в мою голову! Только, чтоб и воробей на телеграфной проволоке до поры-времени не услышал... Убью!

Обратил Каблуков Шарика в первобытное состояние, шкалик-то с собой прихватил, и за ротным на вольный воздух выкатился.

А ротный так и кипит. Чичас через фельдфебеля десять отчаянных самохрабрейших охотников вызвал. В баню их собрал, потому к бане рощица примыкала, — очень это по

диспозиции способно было. Выстроились молодцы, один к одному — хоть в Семеновский полк в первую роту — и то не подгадят. Разведчики рьяные — блоха за немецкой пазухой повернется, и то уследят.

Про помирающую старушку ротный им, само собой, обсказывать не стал. Зачем православных землячков в сумление вгонять — по нечистой линии сам Скобелев сдрейфит...

— Вот, — говорит, — львы, слышали небось — аеропланы теперь наши в краску-неведимку красить начали. Достигаем до точки. Разговор был, что и наушники такие к моторам приспособлять начали. Глушители то исть! Фыркнет он в небо, ни цвета, ни зуда, ни стрепета. Врагу каюк, нам чистая польза... Ан теперь в главном штабе у нас новую вещь удумали... Состав такой безвредный один доктор химический сообразил. Хлебнешь рюмку, сразу тебя в бестелесность ударит — ни ногтей, ни пупка, будто столб воздушный на невидимых подметках. Поняли, львы?

— Так точно, поняли. А как же опосля, ваше высококородие, когда замирение произойдет? У нас у всех жены-дети. Неудобно по домашности...

Усмехнулся ротный.

— Ничего, не робей. Вернемся с разведки, всем по чарке поднесу. Водка вмиг состав этот створаживает, опять все в теплое тело войдем. Ужель стану я солдат своих самолучших портить? Да я ж с вами... Из приварочной экономии командир всем по десяти целковых обещал, окромя награды, — да и я от себя прибавлю... Подошвы войлоком все подшили?

— Так точно, подшили.

Повеселели львы. Да и Каблукова взмыло: ишь ты, с какой малости такое дело развернулось... А насчет доктора, может, ротный и правду сбrehнул: доктор этот в мирное время, может, в орловском земстве служил — старушка от него и позаимствовалась.

— Ну, Каблуков, — говорит ротный, — действуй... Только как же насчет обмундирования? Немцы ж по пустым штанам-гимнастеркам палить будут. Это нам, друг, не модель.

— Не извольте тревожиться! Обмундирование я, ваше высококородие, спрысну! Уж насчет этого сам призадумывался — однако действует... На Шарике ж ошейника и видом не видать было. Винтовок, между прочим, брать не придется. Сталь-дерево нипочем не поддается. Старушка-то не доглядела...

Сверкнул ротный глазом.

— На кой ляд нам винтовки! Не в них в этом деле сила... Только, ребята, друг дружку на аршин дистанции бечевками связать надо, а то разбредемся, как туман в поле. Говорить-то только тихим шепотом придется. Господи, благослови! Действуй, Каблуков.

Выстроились десять охотников в ряд. Каждому Каблуков по деревянной ложке налил, ротному последнему. Спрыснул всех, сам остатки хлебнул... Пронзительный состав!..

Скрипнула дверь. В рощице за баней кусты зашуршали, будто ветер зеленую дорожку надвое распахнул. А ветра, между прочим, и с детское дыхание не было: на лугу спокой-тишина, пушинку оброни, сама наземь падает и не дрогнет. Огни кое-где по окраинным халупам зажглись, туман вечерний у моста всколыхнулся — воздух сам с собой разговаривает:

— Эх, покурить бы теперь, ваше высокородие...

— Я тебе покурю. Попролам перерву, да еще надвое...

— Кто там с правого фланга споткнулся?

— Ничего... Держалась кобыла за оглоблю, да упала. Вали, землячки, дальше...

\*

Отмахали верст с десять. Притомились солдатики, потому хоть видимости в них не было, однако пятки горят, как у настоящих. По дороге, как через местечко шли, баба полька — из себя мед на рессорах — руками всплеснула, к фонарю отскочила, глаза выкатила... «Иезус-Мария! Плечо горит, будто медведь облапил, — а на улице никого!..» Затряслась, подол собрала и — ходу.

Зыкнул ротный, по голосу сразу признать можно:

— Какой там кобель на правом фланге озорует? Смотри, Востяков, как в тело войду, морду тебе за это самое набью окончательно. Зачем бабу обижаешь?

— Подвернулась она, ваше высокородие. Виноват! Эх, горе, на веревочке идем, а то занятно уж очень, как в этом самом виде ежели бы подкатиться к ней по-настоящему...

— Я тебе подкачусь... Обменяйся с ним, Козелков, местом. Разыгрался он что-то, как бугай в клевере.

У крайних домов на взгорье спохватился ротный:

— А ну-кась, Каблуков! Веревочку я тебе приспущу. Смотайся-ка в лавочку, колбасы возьми конец, а то, окромя хлеба, провианту с собой не прихватили.

— Да как, ваше высококородие, брать-то? Колбаса по воздуху поплывет, купец с перепугу крик подымет, лавку замкнет. Попаду я тогда, как козел в прорубь.

Двинул его ротный невидимым локтем в невидимую косточку.

— Порассуждай у меня! Ты, хлюст, думаешь, что ежели скрозь тебя фонарь видать, так ты и разговаривать можешь? Каблуки вместе! В походе кур-гусей слизываешь, ни одна бабка не встрепенется, — а тут учить тебя. Рупь смотри в кассу вбрось, не азиаты мы колбасу даром брать...

Слетал Каблуков тихо-благородно. Рупь за колбасу, конечно, многовато... Полтинник подкинул, семь гривен сдачи себе отсчитал.

Пошли дальше. Собачки к следам их принюхиваются, воют. Растолкуй-ка им, в чем тут секрет... Камнями кое-как отогнали — неудобно ж команде по такому делу со свитой идти.

К самым, почитай, позициям нашим подошли. Темень кругом, не приведи бог. Прожектор кой-где немецкий из-за речки светлым хоботом рыщет. Сползет, и совсем ослепнешь... Хочь ты телесный, хочь бестелесный, а ежели сам не видишь — куда пойдешь?

Свернул ротный командир в бор.

— Ложись, братцы! Пожужем малость, да и спать. Завтра чуть свет перейдем линию. Лопатки-то с собой прихватили?

— Так точно — как приказано. Под гимнастерки подоткнули.

— То-то! Первым делом под их пороховой погреб подкоп подведем. Верстах в двух он от ихнего расположения, это нам доподлинно известно. Бог поможет, и начальника их дивизии в лучшем виде скрадем — и не фукнет. Наде-лаем, львы, делов! Только смотри у меня — ни чихать, ни кашлять... К бабам ихним ни-ни! Знаю я вас, бестелесных... Ежели у кого ненароком бечевка лопнет, помни: сигнал-пароль «А вы, сени мои, сени»... По свисту своих и найдешь... Из подвигов подвиг, Господи благослови!

К сосне притулился, шинельку подтянул — и готов. На войне заснуть — люльки не надо, проснуться и того легче...

. . . . .  
. . . . .

Только это серая мгла по низу по стволам пробилась, вскочил ротный, будто и не спал. Глянул округ себя, да так по невидимой фуражке себя и хлопнул. Вся его команда не то чтобы львы, будто коты мокрые стоят в одну шеренгу во всей своей натуральности... Даже смотреть тошно. Веревочка между ними обвисла, сами в землю потупились, а Каблуков всех кислее, чисто как конокрад подшибленный.

Дернул бестелесный ротный за веревочку — хрясь!.. — от команды отделился да как загремит... Хоть и не видать, да слышно: лапа перед ним так и всколыхнулась. С пять минут поливал, все пехотно-армейские слова, которые подходящие, из себя выдул. А как немного полегчало, хриплым голосом спрашивает:

— Да как же это, Каблуков, случилось?! Стало быть, состав твой только от зари до зари действует. Стало быть, старушка твоя...

И пошел опять старушку благословлять. Не удержишься, случай уж больно сурьезный.

Вскинул Каблуков глаза, кается-умоляет:

— Ваше высокородие! Без вины виноват! Хоть душу из меня на колючую проволоку намотайте, сам больше того казнюсь. Вчерась, как колбасу покупал, штоф коньяку заодно спроворил. Старушка-то помирающая, оглобля ей в рот, явственно ж сказала: только водкой политура эта бестелесная и сводится. А про коньяк ни слова. Выпили мы ночью без сумления по баночке. Ан вот грех какой вышел...

Что ротному делать? Не зверь ведь, человек понимающий. Ткнул легонько Каблукова в переносье.

— Эх ты, вареник с мочалкой... Что ж я теперь полковому командиру доложу? Зарезал ты меня!..

— Не извольте, ваше высокородие, огорчаться. Немцы, допустим, газовую атаку произвели — состав наш и разошелся. Так и доложите...

Голос за сосной ничего, добрее стал:

— Ишь ты, дипломат голландский! Ладно уж! Только смотри, ребята, никому ни полслова. Ну что ж, давай и мне коньяку, надо и мне слюду бестелесную с себя смыть.

Смутился Каблуков, подал штоф, а там на дне капля за каплей гоняется. Опрокинул ротный, пососал, ан порции не хватило. Заголубел весь, будто лед талый, а в тело настоящее не вошел.

— Ах, ироды!.. Слетай, Каблуков, на перевязочный, спирту мне добудь хоть с чашечку. А то в этом виде как же

ворочаться-то: начальник не начальник, студень не студень...

Благословил этак в полсердца Каблукова, в вереске под сосной схоронился и стал дожидаться.

## СОЛДАТ И РУСАЛКА

Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить — очень фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил солдат лучину, искры так и сигают, тухлое мясо на палке-кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, мясом духовитым не каждую ночь полакомишься...

Только было солдат приноровился черных квартирантов сачком поддать, на вольный воздух выдрать, — шашть! Кто-то его из воды за сапог уцепил. Тащит, стерва, из всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосья ухапил — нога-то самому надобна... Мясо живое кое-как из сапога выпростал, а сапог, к теткиной матери, в воду рыбкой ушел...

Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит русалка, мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:

— Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то б не ушел... Уж в воде я б с тобою в кошки-мышки наигралась.

— Да на кой я тебе ляд, дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный.

— Понравился ты мне очень! Морда у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила...

Рассердился солдат, босой ногой топнул:

— Отдай сапог, рыба кровь!.. Лысого беса я там под водой не видал — у тебя жабры, а я б, как пустая бутылка, водой налился. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь?

На хвост-то свой погляди.

Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то... Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.

Солдат чуть не в плач:

— Отдай сапог, мымра! На кой он тебе, один-то? А мне, полураздетому, хоть и на глаза взводному не показывайся... Съест без соли.

Зареготала она, сапог на хвост вздела — и одного ей достаточно — да еще и помахивает. Тоже и у них, братцы, не без кокетства...

Что тут сделаешь? В воду прыгнешь — залоскочет, просить не упросишь — какое ж у нее, у русалки, сердце...

А она, с камешка повернувшись, кое-что и надумала:

— Давай, солдатик, наперегонки гнаться! Я вплавь по воде, а ты по берегу — вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?

Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то!.. Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь плавучую не одолеют?

— Идет! — говорит.

Подплыла она ближе, равнение по солдату сделала, а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтобы бежать способнее было...

Свистнула русалка. Как припустит солдат — трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце — колотушкой, медяки в кармане позвякивают... Уж и ракита недалеко — только впереди на воде, видит он, вода штопором забурлила и будто рыба чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит... Добежал, штык ей в спину! — плещется русалка супротив ракиты, серебряным голоском измывается:

— Что ж вы, солдатик, запыхавшись? серьгу бы из уха вынули, бежать бы легче было... Ну что ж, давай повернем! Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает...

Повернулся солдат и отдышаться не успел, да как вдруг горядь дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит... Врешь, язви твою душу, — в первый раз не долет, во второй перелет — разницей подавишься!

Достиг до первоначального места, глянул в воду, так фуражку оземь и шмякнул. Распростерлась рыба девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:

— С легким паром! Что ж ты серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги лопнешь.

Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит... Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял, — слышит, под портянкой хрустит чтой-то. Сунул он руку — ах, бес! Да это ж губная гармония — за голенищем она у солдата завсегда болталась... У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, в городе купил.

Приложился с горя к звонким скважинам,дохнул, слева-направо губами прошелся — русалка так и встрепенулась.

— Ах, солдатик! Что за штука такая?

— Не штука, дура, а музыка... Русскую песню играю.

— Дай мне. Ну-ка, дай!.. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду...

«Ишь, студень холодный, чего выдумала! Чтоб землякам на погибель солдат ей и способ предоставил же!..» Однако без хитрости и козы не выдоишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.

— Сапог вернешь, тогда, может, и отдам...

Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.

— Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю.

Так он тебе и сошел... Добыл солдат из кармана леску — не без запасу ходил, — сквозь гармонь продел, издали русалке бросил.

— На, поиграй... Я тебе — даром что чертовка — полное доверие оказываю. Дуй в мою голову!..

Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам — глаза так светками и загорелись. Ан вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармонии бегут. Само собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела... Зря в одно место дует — то в себя, то из себя слюну тянет.

— В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня — будто жаба на луну квохчет?

— А потому, красава, что башка у тебя дырява... Соображения у тебя нет! Гармонь в воде набрякла, а я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни — да на лунный камень поставь. Она и

отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент-от подсохнет.

Подплыла она, дуреха сырая, к камешку, гармонь в сапог, в самый носок честно забила — к бережку вернулась, хвостом, будто пес, умиленно виляет:

— Так обучишь, солдатик?

— Обучу, рыбка! Козел у нас полковой дюже к музыке неспособный, а такую красавицу как не обучить... Только что мне за выучку будет?

— Хочешь, земчугу горстку я тебе со дна добуду?

— Что ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.

Мырнула она под кувшинки, круги так и пошли.

А солдат не дурак — леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать — гармонь поперек в сапоге стала... Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился.

Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул... Эх, ты, выдра тебя загрызи!.. Ваша сестра хитра, а солдат еще подковырестее...

Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.

Вынырнула русалка, в ручку сплюнула — полон рот тины, в другой горсти земчуг белеет...

Бросил он ей фуражку, не самому ж подходить:

— Сыпь, милая... Да дуй полным ходом к камешку, гармонь в сапоге-то, чай, на лунном свете давно высохла.

Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет всыпал — вот он и с прибылью...

Доплыла она, шлендра полоротая, на камешек тюленем взлезла, да как завоет — будто чайка подбитая:

— Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник тебя задави-и!..

А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:

— Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю! Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит... Счастливо оставаться, барышня! Раков, ваших подданных, тоже прихватил — фельдфебель за ваше здоровье полускает...

Сплеснула русалка лунными руками, хотела пронзительное слово загнуть — да какая ж у нее супротив солдата словесность.

## АРМЕЙСКИЙ СПОТЫКАЧ

Осмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки: лети, сокол, в свое село... Бедро ему после ранения как следует залатали — однако ж настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось деревенский ветер окончательную разминку крови даст.

Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как к куме за пазуху. На палочке ясеновой винтом кору снял — ходи себе барином да постукивай. Хочешь, на завалинке сиди, табачок покуривай, — полковница вдовая на распределительном пункте два картуза махорки ему пожертвовала. Хочешь, в коноплянике на рогоже валяйся, легкие тучки считай да слушай, как кудрявый лист шипит... Окопы словно в темном сне снились — русский воздух, бадья у колодца звенит. Ручей за плетнем воркочет, петух домашний штаны клювом долбит — тоже, дурак, нашел себе власть.

Семейство у солдата было ничего — зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали, молоко свое, немеренное, в праздник — убоина, каждый день — чаек. Известно — воин. Он там за них, вахлаков, в глине сидючи, что ни день со смертью в дурачки играл, как такого не ублажить. Работы, почитай, никакой, нога ему не позволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердия из редьки выкроит, то георгиевский крест на табакерке вырежет — одно удовольствие.

А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кряжистые — лапы во все концы, глазом не окинешь. По низу гущина: бересклет, да осинник, да лесная малина, — медведь заблудится. На селе светлый день, а в чашу нырнешь, солнце кой-где золотым жуком на прелый лист прыснет да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло... Одним словом — дубрава.

Сидит так-то солдат под вечер на завалинке. Овцы с лужка через выгон серой волной к своим дворам катятся — которая овца на солдатское голенище уставится, которая ясеневую палочку понюхает. Забава!..

Подсела тут старушка одна знакомая — черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачиком.

— Что ж, бабушка, — говорит солдат. — Внушки твои малинки лесной хочь бы кузовок принесли... С молоком — важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетки выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы насышил, да фельдфебелю нашему, с дачи на фронт вернувшись, в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским сметкам соответствует.

Пожевала старушка конец платка, головой покачала.

— Эх, сынок, ясная кокарда! Стало быть, ты про беду нашу и не слыхал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дите — и сам кузнец шагу теперь не ступит...

— Вот так клюква! Медведи к вам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли?

— Эк, сказал! На медведей бы мы всем селом облавой пошли, нам же прибыль была б. В аптеке, сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Какие там медведи... И свои лохматые, какие были, из лесу невесть куда ушли. Не то что человек, зверь лесной, и тот не выдержал!

— Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж, милая, бессемейные — сам от себя не расплодишься...

— А ты говори, да оглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие... Допрежь того спокон веку мы спокойно жили. В лесу хочь люльку поставь: дятел на сучок сядет, чуб набок, да и прочь отлетит. Только и всего! Да, вишь ты, ненароком правду сказал: не иначе, как с прифронтной полосы на нас накатило... Волостной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят — покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пушают. Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит! Лошади ли, медведи, вся тварь живая до подземного, скажем, жука, вся как есть мрет. Стало быть, и нежить лесная — тоже и ей дышать надо — смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и подалась. Вот и поди в лес теперь по малинку!..

— Да видал ли их кто, бабушка? Може, попритчилось кому с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил, да и ходу.

Обиделась баба, локтем пыль взбила — натурально старому человеку хрена в квас не клади.

— Воевать ты, сынок, воевал, а ум-от свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, что ли, чтоб зря цокотать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, — при церкви на должности состоит — в лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Средь белого дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли... Он под куст, а лесовик его за штанцы — он под другой, а там его невесть кто ореховым прутом по сахарнице. Гоняли-гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался.

— А он бы им чего-нибудь на глас шестой спел, они б и отстали...

— Тебя не спросился! Каки там гласы, когда его в цыганский пот ударило; как шкалик называется, только на третий день вспомнил...

— Контузия, бабушка, по-военному это будет.

— Что пузо, что брюхо — мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да, спасибо, догадался: через левое плечо себя обсвистал да черным словом три раза навыворот выругался — только тем и отшиб... С неделю опосля того на пятку ступить не мог.

Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался.

— Что ж у вас, меры какие принимали?

Заахала тут старушка, раскудахталась:

— Принимали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косой, — чай, сам его знаешь — уж чего не делал... Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолуние и вытряс. Крику-то что было! Опосля семи живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал — да от семи осин, что на Лысой Поляне растут, в разные стороны с наговором и спустил. Средствие верное! Собрали мы ему на винцо, на пивцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. «Теперь, — говорит, — дело крепко припаяно, ни на полшиша они мне беды не делают!» Из дыма, вишь, веревку свил: лесовики пришлые — военный крючок им не по мерке пришелся... Только это Ерофеич на бережку под ивой переобуваться стал — глядь, сбоку самые матерые лешаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а лешие к нему да за жабры: «Ага, сват, сто шипов тебе в зад, — тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло да как в два пальца засвистят, так раки к ним со всего озера и выползли... «Эвона, — кричат, — вам закуска! Вон он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит... Дня на три вам, поди, хватит!..» Так бы и источили. Однако и знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи утоплого пьяницы мозоль — на всякий случай за всегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил: дупло пополам, будто бомбой его разодрало. Самого себя, как свинью, опалил, — однако случай такой: на мягкой карете не выедешь... Дополз домой, все село сбежалось, — по всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий... Вот и сунься! Грибами теперь у нас, хочь сам архиерей прикати, не полакомишься.

«Неладно, — думает солдат, — выходит! По городам, по этапным дворам, по штабам-лазаретам и слухом о таких

делах не слышать. Порядок твердый, все как есть одно к одному приспособлено. Будь ты хочь распролеший, — в казенное место сунешься — шваброй тебя дневальный выметет, и не хрюкнешь. А тут коренное русское село, в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось...»

— Ну, а к батюшке, бабушка, обращались?

— Обращались, розан мой, обращались. Насчет лесной погани, — говорит, — это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло, третий караул кричит. Серая брехня! Да и как вы к Ерофеичу обращались, пушай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил.

Обиделся, значит... Да вишь брехня-брехней, однако ни попадья, ни ейные ребята тоже в лес и носу не кажут. А небось в былое время одной лесной малины в лето с куль засушивали... Стало быть, третий суевер караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит.

Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок ни скакал, а у девки дите... Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу машет, тихим голосом спрашивает:

— А здесь в селе не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?

— Наблюдалось! Ох, наблюдалось!.. Чай, им в лесу, оголтелым, скучно, озоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет... То калитку с погоста повивальной бабке на крыльцо приволокнут. А намедни у учительши курица петухом запела, срам-то какой. Чай, тоже и у учительши амбиция своя есть. В стародавние времена леший кой-когда в лесу с девушки платок стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче — откуль их нанесло — тоже осатанели. Чистые фулиганы!.. А вот еще случай был... Да ну тебя, сынок, к богу — не путем спрашиваешь, не ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, невесть что померещится... А всё из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пушают. Вот и дождались!

Доставил солдат божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели в сам деле с прифронтовой полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить?..

В пустую кадку постучи, пустота и отзовется — ан солдатская голова не без начинки, братцы... На заре, чуть

ободняло, прокрался он к бабке-доказчице. Брякнул в оконце. Высунула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки.

— Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня, старушки, про вас, солдат, не припасено.

— А ты, мать, поищи — найдется! Бочонок самогону, ведра в два, уважь, выкати. За мной не пропадет.

Всполошилась она, пискариком затряслась — один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит:

— Да что ты, герой, окстись! Каки у меня самогоны? Окромя толокна да квасу, нет у меня и припасу.

Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется:

— Ты, бабка, не рассусоливай. Не урядник я! Для общества, не для себя, стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альбо сам пропаду, альбо лес наш по всей форме очищу... Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось.

Засуетилась старушка, видит, дело всурьез пошло. Мырнула в подполье — бочоночек выволокла, — жилистая была, лахудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по-за плетнями, аж колесо запицало. Час ранний, ни на кого не наскочишь... Правой ногой хромлет, однако ж ему наплевать: суставы-то у него во как действовали...

Докатил до опушки, одежду с себя долой. Сел под куст в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом да в пакле и вывалялся. Чисто как леший стал — свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха веничком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленью отливают, потому на голову, вместо фуражки, цельный куст вереску нахлобучил.

Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять: махорки с полкартуза всыпал да мухоморов намял, туда ж и запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера!

Покатил он бочонок в чашу, палочкой подпихивает, козлом подпрыгивает, сам пьяную песню поет:

*А кто там идет?  
Леший бородач!  
А что ён везет?  
Чертов спотыкач!*

Слышит — по орешнику будто ползучая плесень шелестит, с дуба на дуб невесть кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает.

Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползет, глаза заливает — а утереться нельзя, потому все лесное обличье с себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил, бочоночек на попу поставил, застучал в донушко — на весь лес дробь прокатилась.

С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить — животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом вокруг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один из них, попузастее, — старший, должно быть, потому у него светлая подкова на грудях висела, — хвост свой понюхал, словно табаком затянулся, и спрашивает:

— Ты, милачок, откудава прибыл?

— Для собственного ремонта с западного фронта, из Беловежской Пуши... У вас здесь погуще!

— А в бочонке у тебя что за узвар?

— Армейский спотыкач, ковшик выпил — дуешь вскачь. В гродненской корчме подцепил да сюда прикатил.

Леший рот и расстегнул, а на животе у него, глядь, — второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали.

«Ловко, — думает солдат, — энтó у них приспособлено!..»

— А почему от тебя, — спрашивает пузатый, — пехотным солдатом пахнет?

Лешие, конечно, не потеют — солдатский-то букет ему в нос и бросился.

— Да я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах... Да вы не скулите! Вона у пнядохлый крот, вы ноздри натрите — авось отшибет.

Подобрались лешие поближе, а солдат втулку приоткрыл, нацедил пеннику с полчерпака, стоит поплескивает — так они кругом на хвостах и заелозили.

— Ну что ж, подноси, — говорит старший. — Чего дразнишь? А то мы тебя в компанию свою не примем...

Как гаркнет солдат:

— Встать! Становись в затылок... Да чтоб по два раза не подходить, знаю я вас, сволочей одинаковых!..

Потянулись они к бражке, как старушки к кашке: кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться, знай льет — кому в рот, кому в живот, абы вошло.

И минуты не прошло, взошел им градус в нутро, забрало их, братцы, аж до кончика. Похохатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, — будто кошка на шомполе над костром надрывается... А потом играть стали: кто на бочке, брюхом навалившись, катается, кто старшего лешего по острым ушам черпаком бьет... Кто, в валежник морду сунувши, сам себе с корнем хвост вырывает. Мухомор с махоркой на фантазию, братцы, действует...

Назюзились окончательно. В кучку сбились, друг с дружкой, как раки, посцеплялись — шерсть-то у них дремучая, — покорежились раз, другой и аминь. Будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер да и прочь ушел.

«Запалить их, что ли? — думает солдат. — Спирт внутри, пакля наружу — здорово затрещит!» Однако ж не решился: ветер ключья огненные по всей дубраве разнесет — что от леса останется? Нашел он тут на бережку старый невод, леших накрыл, со всех концов в узел собрал, поволоком в озеро. Груз не тяжелый, потому в них, лесных раскоряках, видимость одна, а настоящего веса нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком-штопором так и вбуравливалась.

Подбавил он в невод камней — для прочной загрузки — да всю артель веслом щербатым в самый водоворот и спихнул. Так и захлюпала! Прощай, землячки, — пиши с того света, почем там фунт цыганского мяса...

Обмыл с себя солдатик паклю да крахмальную слизь, морду папоротником вытер, пошел одеваться: нога похрамывает, душа вприсядку скачет... Ловко концы-то сошлись. На войне раненого полуротного из боя вынесешь, Георгия дают, а тут за этаким мирный подвиг и пуговкой не разживешься. А ведь тоже риск: распознай его лешие, по косточкам бы раздергали, кишки по кустам, пальцы по вороньим гнездам...

Добрел он до села, у колодца общественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеновой палочкой:

— Сходись, старый да малый! Бог радость послал: грибами-малиной теперь в лесу хочь облопайся...

Сбежался народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, — дело-то в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивляются: солдат трезвый, а слова пьяные.

Однако, как он про свою победу-одоление рассказал, так все и дрогнули. Солдат достоверный был, сроду он не брехал — не такого покроя.

— Да как же ты их, легкая твоя душа, обошел-то? Ерофеич, на что мастак, и тот, как колючей проволоки наглотавшись, из лесу задом наперед еле выполз.

Смеется солдат, глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся.

— Военный секрет, милые! Авось и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вертаться будете, — в ней главная суть.

Тронулось тут все население беглым маршем в лес — и про обед забыли. Только портки да платки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у дружки рвут, через головы кувыркаются. В лес нырнули, так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось.

\*

Сидит солдат на завалинке, прислушивается. Ишь гомон какой над дубами висит. Дорвались...

Покосился он тут вбок — Ерофеич по плетню к нему пробирается, тяжело дышит, будто старшину в гору на закорках везет... Добрался до завалинки, сел мешком, ласково этак спрашивает, а у самого морда такая, словно жабой подавился:

— Что ж ты, служивый, хлеб у меня перебиваешь?

— Да я, папаша, не для ради хлеба — ради удовольствия! Хлеба у нас и своего хватит...

— Как же ты их, милый человек, обчекрыжил? Умственности у тебя никакой нет... Правил ты настоящих не знаешь...\*

— Никак нет. Умственности, действительно, за собой я не замечал.

— Да как же ты все-таки распорядился? — спрашивает Ерофеич, а сам все придвигается, ушми шевелит: вот-вот солдату в рот вскочит.

— Очинно просто! Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравой наскочили — «Кто такой да откуда?» А я к стволу стал да так им бесстрашно и ляпнул: «Села Кривцова, младший подмастерье знахаря Ерофеича!» Перепугались они насмерть, имя-то твое услышавши, — да как припустят... Поди верст за сорок теперь к западному фронту пятками траву чешут.

Насупился Ерофеич, глазом косым повел — нож в сердце!

— Н-да! Ну, как знаешь! Не плюй, брат, в колодезь, авось он и не высох. На фронт ты вернешься, а может, я б тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал.

— Спасибо, папаша! Да мне оно ни к чему. Я там, в окопах сидючи, так приспособился, что германские пули голой рукой ловлю да им же обратно и посылаю...

Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит.

— А не мог ли бы ты, друг, беде моей пособить — уж я отслужу, будь покоен. Тело у меня после того случая все синими бобами пошло. Средства у тебя нет ли какого? Очень уж обидно!

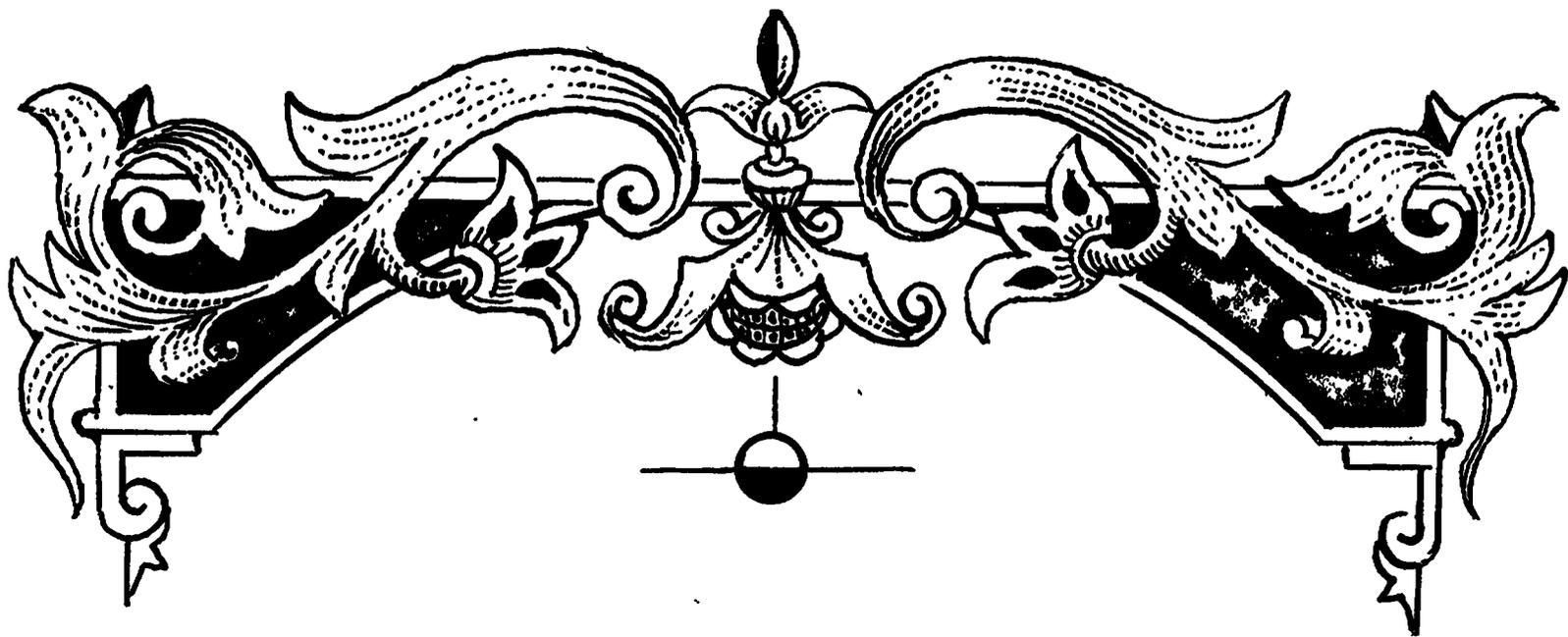
Поиграл солдат сапогом, плечом передернул.

— Средства и без меня найдется. Слышал я тут, что ты к солдатке одной не путем, сладкий старичок, подкаты-ваешь. Так вот, как ейному мужу бог приведет невредимо с фронта воротиться — отполосует он тебя, рябого кота, кнутом, — вот весь ты синий и станешь. В ровную, стало быть, краску войдешь..

Вскочил Ерофеич, горьку слюнку проглотил — аж портки у него затряслись. А солдату что ж? Чурбашку из-за пазухи вынул да и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким сговоришься?







## ИВАН-ЧУДО



старину было дело: и тогда жили люди. Жили крестьянин с женой; жили они по-доброму, жена от мужа обиды не знала, и сыты были, хоть и не вдосталь: трудно земля рожала хлеб. Сторона их была дальняя, лесная, люди там жили смиренно.

Всем жили ладно муж с женой и прожили они лет пять без малого, да не было у них детей, а без детей жить нельзя, без детей совестно.

Стал муж сердчать на жену, а жена плакать; уйдет она, бывало, в овин, чтоб не видел ее, и плачет там одна: поплачет, никому ничего не скажет и перед мужем молчит. И чего ей мужу сказать? Нечего: бездетная жена и с мужем сирота.

А на шестой год жена забеременела и понесла ребенка.

Тут муж совсем рассерчал: не от меня, дескать, этот ребенок будет, а гляди-ко, от другого кого, ступай, говорит, чтобы глаза мои тебя век не видали!

А куда бабе деваться? К отцу, к матери нельзя было: в старину и мать с отцом не примут замужнюю дочь, а велят ей к мужу воротиться и слушаться его.

Надумала жена: «Пойду, куда глаза глядят, зайду в темные леса, встречу там лютого зверя, а зверь съест меня!»

Пошла она в темные леса, идет, голодная, простоволосая, идет и думает: «И жить-то я путем не пожила, а ведь я еще молодая, и первенца во чреве на смерть несу!»

Идет она далее в черные неохватные леса, ест помалости, что на полянках растет — ягоду, травку, коренья.

Приходит ей последнее время, рожать надо. Собрала она бересты да веточек всяких, устроила себе шалаш и там родила.

Родился у матери сын, назвала она его, как отца ее звали, Иваном. Завернула она сына в подол, отогрела его и к груди поднесла. Поел Иван материнского молока, поспал и опять к груди потянулся. Дала ему мать свою грудь. Иван опорожнил ее и к другой потянулся.

Проходит день и два. Мать смотрит, а сын ее Иван, как тесто на опаре, растет. На третий день Иван уж стал разговаривать с матерью; на четвертый — мать сама рассказала ему, как люди на свете живут да как она жила-была. Матери-то грустно было в лесу, а сын у нее, видит она, и не живя веку, понятливый родился. Живут они в лесу и беседуют как равные. Глядь, а сын-то Иван уже не ровня матери стал: больше нее вырос. А времени прошло мало: одна неделя, либо всего две, как Иван родился на свет.

Поднялся Иван с земли, потянулся, посмотрел в лес, видит — бежит серый волк. Иван вышел навстречу волку, схватил его за холку, прижал к земле и вдавил в нее; волк тут же, как был, сразу околел.

Мать видела, что сделал Иван.

«Понятливый сын у меня, — думает, — да сильный еще! А добрый ли он, уж узнаю после!»

Ободрала мать шкуру с волка и постелила ее в шалаше, а Иван вынес волчье мясо и бросил его недалеко.

Вот приходят два медведя, потянули мясо — один к себе, другой к себе, и подрались.

Увидела мать медведей, страшно ей стало.

— Съедят нас медведи, сынок.

— Не тронут. Я им разделю мясо-то, они смирные будут.

Вышел Иван, разорвал говядину пополам, бросил ее медведям — каждому поровну — и пошел к матери. Медведи увидели, как Иван волчье мясо разорвал, только кости полетели прочь, и оробели: как бы, дескать, Иван их тоже пополам не разорвал, и пошли медведи в лес, не поевши волчьего мяса.

Стал Иван дальше ходить. Ему нужно было ягоды собирать и копать сладкие корни, чтобы мать свою кормить. А еще он желал оглядеть землю, где он на свет родился, что

на ней было; ведь он, кроме родной матери да темного леса, ничего и не видел. А мать говорила Ивану, что не все лес, есть и чистое поле.

Пошел Иван искать чистое поле. Увидел он тропинку. «Пойду, — думает, — по топтаному месту, никогда не ходил». Прошел он малость, вдруг слышит стук, топот, листва на деревьях вздрагивает. Остановился Иван, не знает, что думать.

Бегут мимо него дикие кони на водопой. А Иван коней сроду не видел; кто они такие — не знает. Схватил Иван одного коня за гриву, чтоб он остановился и разглядеть его можно было. Конь рванулся было вперед, руку бы мог вырвать у человека из плеча, да Иван крепок был родом: как дернул, как тряхнул коня за гриву, конь на ноги припал перед ним, а потом поглядел одним глазом на Ивана и встал как вкопанный.

Подошел Иван к матери; сам пешим идет, а коня за гриву возле себя держит:

Мать увидела сына и говорит ему:

— Чего ты водишь коня, на нем ездить можно!

Сказала мать сыну, как верхом ездить нужно. Иван вскочил на коня, крикнул ему в ухо, конь испугался его голоса и помчался, только деревья навстречу дрожат, а кусты из-под копыт прочь отлетают.

Выехал Иван в чистое поле: в поле светло, небо над ним просторно стоит, не то что в лесу: глядит Иван и радуется. А конь под ним все далее мчится. Смотрит Иван — незнакомые люди ходят, а возле них шалаши на земле стоят, покрытые желтой травой: Иван-то не видел прежде, кроме себя да матери, ни людей, ни деревни с избами, крытыми соломой.

Крикнул Иван коню в ухо:

— Окоротись!

Конь тут же встал от испуга.

Иван велел коню ожидать его, а сам пошел по деревне; хотелось ему поглядеть на свет, и на людей, и на то, чего никогда не видел.

И видит Иван — малые дети ходят по деревенской улице, а сам-то он тоже был малым ребенком, хоть и большой ростом и силой.

Пришел он на улицу, стал посреди малых детей и начал забавляться. Поднял он одного ребенка, повернул рукой голову его к себе, хотел его приголубить, либо так что по-детски сказать ему, глядит — а у него голова упала на зем-

лю. «Что такое? — думает Иван. — Голова, что ль, у него неприросшая была? Ишь ты, и отлетела!»

Взял он за руки другого мальчика, вроде бы сверстника себе, у того рука отвалилась. Жалко стало Ивану малых детей. Поднял он голову с земли, приставил ее безголовому, вжал в шею, голова и приросла, как была прежде. А безрукому вправил руку, откуда она росла, и рука прижилась.

Сел Иван на своего коня и помчался вскачь. Конь бежит — под ним земля дрожит: у кого кривые избы — падают, у кого худые печи — разваливаются.

Видит Иван, не к добру так ехать. Крикнул он в ухо коню:

— Ах ты, волчий корм, травяной мешок: не стучи по земле, лети по ней!

Еще шибче помчался конь, травы под собой не тревожит.

Выехал Иван далеко. Смотрит вокруг — всюду чистое поле и небо касается края земли. А на краю земли стоит одна избушка. Поехал Иван к избушке. Окоротил он коня и вошел в ту избу. Видит, на столе еда собрана и винное питье стоит. Испытал Иван еду — понравилась ему; и соленая еда была, и сладкая, всякая была. Хлебнул он вина — не понравилось, во рту горько. Увидел Иван гладкую тростинку, она в углу была. Взял Иван тростинку в руку: крепка ли, думает, может, мне годится! Стукнул он тростинкой о половицу. Выскочил тут из-под пола некто Яшка — Красная рубашка.

— Чего делать прикажешь?

Иван ему в ответ:

— А ты чего умеешь? Покажи мне все, что есть на свете.

Открыл ему Яшка — Красная рубашка вид: все, что есть на свете; а сам спрятался, откуда явился.

Стукнул опять Иван тростинкой в половицу, выскочил тут же Яшка — Красная рубашка.

— Чего прикажешь?

— Я нагляделся. Закрой вид. Пускай матери останется, чего глядеть.

Ничего не стало. «Поеду, — думает Иван, — мать сюда приведу, в поле жить светлее».

Только он на порог, навстречу ему богатырь — здешней избы житель.

— Ты кто? — спрашивает. — Чего в избе без хозяев гостишь? Откуда невежа такой?

— Я невежей не был, — отвечает Иван, — а я у родной матери сын!

Рассерчал богатырь: хватить Ивана кулаком.

— Эх! — сказал Иван. — Не ты меня на свет родил, не тебе меня со света сживать!

Схватил он богатыря поперек, взмахнул им и забросил его далеко от себя, в чистое поле. Богатырь ударился сразу о землю и помер.

Пошел Иван к своему коню. Глядит — навстречу ему другой богатырь — брат прежнего, а силой еще злее первого.

— Ты чего незванным явился? Ишь, невежа неумытый!

Бросился было богатырь на Ивана, а Иван взял его да тут же обзЕМь — из богатыря и дух вон, только пар пошел вверх. Тогда схватил Иван пар, а в руке — ничего. Жалко стало Ивану, что нету ничего от человека. Что делать теперь? Пусть будет еще — что случится, ему ничего не страшно. «Однако, — думает Иван, — как сделать, чтобы не вредить человеку до смерти, а научить его еще прежде: пусть жив будет и знает».

Тут приехал еще богатырь, брат тех, кто были.

— Это что за невежа?

— Я невежей не был, я Иван, у родной матери сын!

Схватил его хозяин-богатырь, чтобы убить, а Иван его взял на ответ в охапку и думает — что делать с ним: глядь — на стене сума большая висит. Иван засунул богатыря в ту суму, смял его, чтобы ладнее богатырь в ту суму вошел, а суму на стену, на дубовый сучок повесил, — пусть висит там богатырь, согнутый в три погибели.

Повесил Иван суму, закрыл ее на запор железный, а ключ в окошко кинул.

Вышел Иван наружу, видит, никого больше нету. Сел на коня и поехал домой.

Мать увидела Ивана и сперва не узнала его, хоть и мало времени прошло, как он уехал. Да и мудрено было узнать Ивана: от борьбы с богатырями еще более возмужал он силой, а на лицо его легло раздумье.

Сказал Иван матери:

— Поедем, матушка, со мною. Я жизнь вам хорошую нашел.

Поехали они в избу, где богатыри жили. Иван на коне едет, а мать на руках держит, чтобы она не утомилась в дороге. Подъезжают они: мать видит — изба хорошая стоит: у разбойников избы хорошие.

Оставил Иван коня и повел матушку в избу. Вот вошли они в горницу, Иван стукнул об пол тростью, что и прежде была. Выскочил тут немедля Яшка — Красная рубашка: чего, дескать, прикажете?

Иван велит ему:

— Покажи все, как мне показывал.

Показывает им Яшка все, что есть на свете, что видимо и невидимо. Мать глядит, дивится и радуется. А когда нагляделась, Иван велит опять Яшке:

— Собери на стол угощение.

Собрал Яшка угощение, поставил хлеб-соль, яства и вино, а сам пропал, пока снова не позовут: видно, он богатырями к покорности приучен и смиренный был.

Мать Ивана откушала пищи, запила ее вином, сама веселая стала и плясать пошла. Иван глядит на мать и радуется, что мать молодая у него и сердце у нее счастливое.

— Тут, мама, вам жить веселее будет.

— Кто знает, сынок, неведомо еще, где лучше. Боюсь, разбойники здесь.

— И то правда, — говорит Иван. — А я поеду, гляну — нет ли кого.

Осталась мать одна; ходит по избе и осматривает похозяйски, где что положено, сколько добра припасено. А изба просторная, две горницы, кухня и закутки есть. Видит мать, на стене сума большая висит: не добро ли в ней какое? Потрогала она суму, сума на железный запор закрыта, и в скважине ключа нету. Вспомнила она про Яшку — Красную рубашку, взяла трость и постучала о половицу.

Явился Яшка:

— Чего прикажешь?

— Отыщи ключ.

— Я сейчас!

Отыскал Яшка ключ и скрылся. А мать Ивана отомкнула железный запор, глядит — подымается из сумы человек, расправляет плечи, потягивается, собою видный и здоровый, на лицо белый. Не видала еще мать такого, в деревне мужики худые жили, их земля работой ела, а жизнь — заботой. «Вот он, богатырь-то, знать, какой бывает! — подумала Иванова мать. — Небось у него хозяйка есть, а я-то как гостья буду!»

А богатырь как вышел из сумы, так за стол и доел, что на столе осталось: оголодал в пустой суме-то. Поел богатырь, щеки у него порозовели, со лба пот пошел.

— Наелся аль еще будешь? — спросила у богатыря Иванова мать.

— Еще, — говорит богатырь, — кликни Яшку-то.

Постучала мать тростью: явился Яшка, принес пищу, питье и яства, — и еще дважды ходил, еды добавлял.

— Сыт, что ли? — спросила мать у богатыря.

А сама глядит на богатыря, любит его, и тронулось ее сердце к нему, полюбила она его.

— А что, — говорит богатырь, — изба у меня большая, добра много, а хозяйки нету.

— А у тебя Яшка есть, — говорит мать, — он тебе и стряпает и по дому угождает.

— Яшка слугою служит, — богатырь говорит, — да у него души нету, он всякому годится. А живи-ка ты, право слово, хозяйкой у меня!

— Я бы стала хозяйкой твоею, — отвечает мать богатырю, — да сын у меня есть, его надо спроситься. Уж коли он не захочет тебя в отчимы, так ты с ним не совладаешь, он тебя одолеет.

— А сына твоего мы со света сживем, — сказал богатырь. Испугалась мать; стала она слушать, что ей сердце скажет и что совесть. Молчит ее совесть, зато сердце говорит, а сердце богатыря любит.

Спрашивает мать:

— А как ты Ивана со света сживешь?

— Я тебя научу, — богатырь говорит.

Научил он мать Ивана, что сыну надо сказать, а сам опять в суму залез и спрятался.

Приезжает Иван: видит — матушка его хвора на полатах лежит.

— Аль недужится, матушка?

— Недужится, сынок. Вот есть, давно мне люди сказывали, лес темный, да отсюда он далече, туда только пешему дорога, а конному езды нету. В лесу том волчица-богатырь с волчатами живет. Вот если бы молока из груди той волчицы мне принес, я бы испила его и здоровой стала!

Иван послушал мать и ответил ей:

— Для вас, матушка, я и с того света, чего надобно, достану.

Отпустил Иван своего коня в чистое поле: пусть-де он на воле живет и досыта ест, не все ему подо мной скакать, а сам пошел пешим в темный лес.

«Вот, — думает богатырь в суме, — разорвет волчица Ивана, она человека одним духом за версту сшибает, не станет тогда никого на свете сильнее меня!»

Вылез богатырь из сумы.

— Кликни Яшку-то, — говорит он своей хозяйке, матери Ивана. — Да потчевай меня!

А Иван идет по темному лесу: видит он — лежит под деревом волчица-богатырка и дремлет, а четверо волчат припали к ней и грудь ее сосут.

Открыла волчица глаза и глядит на Ивана.

Подошел к ней Иван, сел возле и говорит:

— Дай мне твоего молока, а не дашь, я сам из груди твоей надою. Матушка у меня захворала, сказывается, молоком ей твоим надо лечиться.

Подумала волчица: кроме комара да птички лесной, никто к ней не приближался в лесу, а этот близко явился. Хотела было волчица подняться и растерзать человека, да детей жалко тревожить: пусть сосут.

— А во что тебе молока надоить? — спрашивает волчица.

Подумал Иван: не во что.

— А пусть, — говорит, — волчонок твой в пасть молока наберет, да бежит следом за мной.

Привстала тут мать волчиха.

— Чай, он детеныш мой. Тебе жалко мать, а мне сына. Не пушу его с тобой!

Встал Иван, в рост, вырвал прочь с корнем старый дуб и отбросил его далеко.

— А я тебе детеныша назад ворочу, — говорит, — я его не обижу.

Видит волчица — не сладить ей силой с Иваном.

— Пусть идет, — отвечает; полизала она языком одного волчонка и говорит ему: — Порадей человеку, как мне радел, — набери в рот молока, да не глотай его, а иди, куда нужно, и ко мне скорей возвращайся.

Насосал волчий детеныш в пасть молока, встал с земли, глядит на него Иван, а волчонок без малого с лошадь будет.

Пошли они с волчонком, а потом и побежали, чтобы скорее дело было.

Под вечер прибралась мать Ивана в избе и глядит в окошко. Смотрит, а сын ее на волке верхом едет, и волк под ним от страха бежит.

— Вот, — говорит она своему богатырю, — ты думал, Ивана волчица разорвет, а он на волке домой едет. Полежай опять в суму!

Сказала мать такие слова, а сама легла на полати и стонет, как хвора.

Иван явился, взял деревянную миску и велел волчьему детенышу вылить из пасти молоко в миску.

Поднес Иван к матери молоко и говорит:

— Кушайте, матушка, ваша болезнь пройдет.

А мать отвечает ему:

— Обожди, сынок, ослабела я, сейчас и питья не проглочу.

Иван ей:

— Как вам угодно, — говорит, — матушка, а я по лесу волчонка гнал, чтоб вам скорее помощь была.

Вышел Иван к волчонку во двор. А мать взяла миску с волчихиным молоком и хотела было вылить молоко в подполье. Богатырь выглянул из сумы и говорит:

— Дай мне испить, может, я тогда сильнее стану.

И выпил он звериное молоко.

А мать опять легла и лежит, как хвора. Ей тогда и говорит богатырь:

— Скажи теперь сыну-то, Ивану, не помогло, дескать, тебе волчихино молоко. Пусть он завтрашний день ко львице за молоком идет. Со львицей-то он не совладеет. Она его разорвет и кости его сглохнет.

Наутро мать велела сыну идти ко львице.

— Может, сынок, я тогда встану и жить буду.

Кликнул Иван волчонка и пошел с ним в лес. Идут они мало, идут они долго, а Иван не знает, где львица живет. Спрашивает у волчонка — и тот не знает.

— Должно, матушка моя знает, — сказал волчонок.

Пошли они к матери-волчице. Волчица обрадовалась, что Иван к ней сына-детеныша привел. И Иван спрашивает у нее: где львица живёт?

— Знаю, — отвечает волчица, — сын мой тебе дорогу покажет.

Научила мать-волчица волчонка, куда надо ко львице идти.

И вот бежит впереди волчонок, ростом с лошадь, а Иван — следом.

Бежали они дни и ночи, в сумерки и в утренние зори, в полдень и в полночь. Видит Иван — не стало ничего: ни леса, ни чистого травяного поля, а одни голые камни вокруг. И лежит там под одним камнем львица и львят-детенышей грудью кормит.

Волчонок оробел, остановился. А Иван подошел ко львице, схватил ее за пасть и руками хотел напрочь пополам разорвать звериную голову. Смотрит Иван, у матери-львицы слезы из глаз льются. Отвел Иван свои руки.

— Не убивай меня, Иван-чудо, — говорит ему львица, — не оставляй моих детушек сиротами: скажи, чего тебе нужно.

— Дай мне твоего молока. Пусть детеныш твой в пасти своей за мной его несет.

Львица и говорит:

— Не жалко мне молока, мне сына своего жалко.

— А я его к тебе назад приведу, — обещал ей Иван, — и опять положу его к тебе под грудь, как было.

Обрадовалась львица и отпустила детеныша-львенка с молоком во рту.

Пошел Иван домой: сам третий теперь идет.

Увидела мать в окошко — опять Иван живым возвращается, и звери за ним бегут. Велела она богатырю в суму на стене прятаться, а сама легла и лежит — стонет, как хвора.

— Чего теперь делать будем? — спрашивает она у мужа своего — богатыря.

Полез богатырь в суму и отвечает ей оттуда:

— Пусть Иван от орлицы яйцо ненасиженное достанет. Орлица на скале живет, а скала на горе, а гора на холме стоит, а под холмом есть пропасть, он со скалы в пропасть упадет и расшибется.

Ночью мать отдала мужу-богатырю молоко львицы, а наутро велела Ивану идти к орлице за ненасиженным яйцом. Как это яйцо она выпьет, так станет здоровой, а львицино молоко ей не в пользу.

Пошел Иван к орлице, и звери его за ним ушли. Пришел Иван туда, где львица жила, и сказал ей:

— Я тебе сына привел. Ответь мне — ты далеко по земле ходила, — где орлица в гнезде живет?

Львиная мать научила сына-львенка, куда надо в горы идти, и отпустила его с Иваном.

Пришел Иван к холму. Холм был крутой, да Иван был ловок и терпелив. Взошел он на холм, вскарабкались за ним волчонок со львенком. А на холме стоит каменная гора, высокая и гладкая, как стена, а на той горе еще скала, а уж в скале — гнездо орлицы. Поглядел Иван на каменную гору, видит — ловкостью на нее не взойдешь, ухватиться не за что: на нее можно лишь взлететь, а у него крыльев нету. Постоял Иван, подумал, однако не опечалился, а улыбнулся: силой он скоро возрос, а разумом и добротой еще скорее. Понял он, чего ничем нельзя одолеть, то можно одолеть работой.

Тогда велел Иван волчонку и львенку, чтобы они выгрызли из каменной горы по одному острому камню. Стали звери гору грызть, а выгрызть не могут, зубы у них еще не выросли, они дети были. Побежали они вниз, нашли камни в ручье, ухватили их в пасть и принесли Ивану.

Начал Иван теми камнями бить гору и рушить ее. Сперва гора рушилась малыми крошками, потом и крупнее пошло, а вскоре Иван обрушил и целую глыбу. А тою глыбою он

уже большие скалы стал выбивать из горы — и гора начала оседать, пока Иван ее всю не разобрал. Когда вершина горы сравнялась с плечами Ивана, он увидел орлицу в расщелине верхней скалы. Там орлица сидела в гнезде.

— Чего тебе надобно, Иван-богатырь? — спрашивает орлица.

Иван ей:

— Дай, — говорит, — яйцо ненасиженное.

— Ненасиженных у меня нету, — орлица говорит, — у сестры моей есть. Обожди, я к сестре на другую полечу и яйцо займу для тебя, а то ты у нас все горы поломаешь.

— Поломаю, — сказал Иван.

Полетела орлица к сестре на другую гору, принесла Ивану ненасиженное яйцо. А сестра-орлица дала не свое яйцо, а яйцо змея-ехидны; она скупая была и хотела, чтобы изо всех яиц у нее дети-орлята рождались.

Взял Иван яйцо от орлицы и пошел к матери. И звери за ним побежали, что были с ним, волчонок и львенок.

— Ступайте теперь к своим родителям, — говорит им Иван.

А звери ему отвечают:

— Не пойдем, — говорят, — ты добрый, и мы к тебе привыкли.

Принес Иван матери яйцо орлицы.

Взяла мать яйцо и говорит:

— Я уже выздоровела, сынок, да вот ветер меня охватил, я опять заболела.

А потом еще говорит, как ей муж велел:

— Ступай теперь в некое царство. Там весь народ, люди говорят, вымер: может, царство тебе достанется.

Удивился Иван, что мать ему так говорит: не нужно ему было чужое царство. Однако он боялся послушаться матери. Кликнул волчонок и львенка и пошел в чужое царство. Как ушел он из родного дома, тотчас вышел трус богатырь из сумы и выпил яйцо змея-ехидны: он думал, это яйцо орлицы ему досталось.

Трус-то богатырь и научил послать Ивана в чужое безлюдное царство — затем, чтобы помер там Иван. Где все люди померли, там Иван тоже, дескать, помрет.

Долго шел Иван в чужое царство, не знал он туда дороги. Звери его возмужали за дорогу, и у них зубы и когти выросли, покуда они шли неведомо куда.

Приходит Иван в чужое царство. Царство это находилось тогда на берегу великого моря. Видит Иван небо и

море, видит реки, леса и пашни, видит, что всюду хорошо, а народа нету нигде.

Сел Иван на берегу моря и думает, что делать ему надо. А дело тут же и было.

Глядит он, идет по берегу моря прекрасная девица в золотой парчовой одежде; идет она, а сама плачет. Отроду не видал Иван такой девицы, да видать ему такую красоту негде было, он мать свою одну любил и на нее глядел.

— Чего ты плачешь? — спросил Иван прекрасную девицу.

— Я умирать боюсь, — отвечает ему девица. — Уходи отсюда скорее, а то и ты умрешь.

Озадачился Иван и говорит:

— Нет, ты неправду говоришь. Я не помру и тебя смерти не отдам. А чья ты родом?

Отерла слезы девица и отвечает:

— Я царская дочь. Было у нас царство, был у нас народ, да чудовище морское всех людей поело. Остались только матушка с батюшкой да я. Нынче чудовище меня съест, а к вечеру матушка с батюшкой с горя помрут, и никого тогда не останется.

И опять заплакала прекрасная девица.

Выходит тут из морской воды страшное чудовище: три головы у него, три пасти, по тыще зубов в каждой пасти; живот у него как у борова, а хвост как у змеи.

Увидело чудовище молодую царевну с Иваном, увидело еще львенка с волчонком и говорит:

— Я чуть-чуть закусить хотел, а тут и пообедать можно.

Бросилось было чудовище на царевну, хотело ее пастью ухватить, да Иван встал впереди царевны, обхватил толстое чудовище поперек и начал его душить. Захрипело чудовище и еще две пасти с зубами сразу открыло, чтобы откусить Ивану голову. Прыгнул волчонок на одну голову чудовища, а львенок на другую, стали они грызть чудовище. Хрипит мокрое, толстое чудовище, однако норовит схватить голову Ивана третьей пастью. Глядь, опускается с неба орлица, садится она на эту голову чудовища и бьет его клювом в глаза, пока глаза прочь не вытекли. Иван тем временем насмерть сжал чудовище: пошла из него ручьями черная кровь, ослабело чудовище и пало мертвым.

Села орлица на плечо Ивана и говорит ему:

— Прости меня, Иван добрый! Сестра моя обманула меня, я тебе дала не орлиное яйцо, а яйцо от змея-ехидны. По всей земле искала я тебя, ты не открывай того яйца, а

откроешь — из доброго станешь злым, из храброго — лукавым, из щедрого — алчным.

Обняла тут прекрасная царевна Ивана и заплакала ясными счастливыми слезами, что спас ее Иван от страшной смерти в пасти зверя.

А Иван, исполнив работу, затосковал, загоревал по матери и стал собираться домой уходить. Прекрасная же царевна просила Ивана навсегда остаться в ихнем царстве. Она боялась — не явилось бы из глубокого моря другое ненасытное чудовище.

Иван поглядел на царевну и видит, мила сейчас она ему стала; так бы глядел на нее и глаз не отвел.

Сказал он ей тогда:

— Вот проведу я мать и к тебе вернусь. А волк со львом и орлица пусть с тобою останутся, при них тебе ни от кого не будет обиды.

И пошел Иван домой.

Увидел он избу, где жила его мать, вздрогнуло его сердце от радости. А мать сидела в тот час за столом в избе и против нее сидел ее муж-богатырь, который в суме был; они ели яства и пили сладкое вино, а Яшка — Красная рубашка служил им.

Поглядел богатырь из избы в окошко; видит он — Иван идет домой. Не стал теперь битый богатырь прятаться в суму на стене: от волчьего молока в нем появилась злоба, от львиного он почувствовал силу, а от выпитого яйца змея-ехидны в нем родилась ярость.

Вышел тот богатырь навстречу Ивану, подошел близко, размахнулся было, чтоб голову Ивану снести с плеч долой, да сам упал за смертью. Иван упредил богатыря: пока тот руку подымал на него, а он уже сердце из богатыря вышиб.

Мать увидела из избы, что случилось с ее богатырем. Она вышла с крыльца, припала на грудь павшего мужа и заплакала по нем, а сына не приветила и не поглядела на него.

Иван отошел от матери и задумался. Он узнал того богатыря, которого он побил и в суму засунул, и понял тогда, что мать любит его всей душой.

Жалко стало Ивану мать.

Поднял он с земли сердце богатыря, вложил ему в грудь, и тот вздохнул.

Тогда мать упала сыну в ноги, начала она просить у него прощения и рассказала все, как было. Иван отвернулся от матери и ушел, куда глаза глядят. А глаза его в тот час ничего не видели: они были полны слез.

Иван опомнился, когда уже далеко ушел. Огляделся он вокруг, увидел вдалеке великое море и пошел в безлюдное царство, где жила прекрасная царевна.

В скором времени, как оно и быть должно по правде, Иван женился на той царевне по имени Лукерья. Свадьба у них была хоть и веселая, да малолюдная: всего и гуляло на свадьбе, что батюшка с матушкой — родители прекрасной Лукерьи, жених с невестой, да орлица, да волк со львом.

А когда вышли сроки, родились у Ивана с Лукерьей дети, от детей внуки, отсюда и народ снова пошел.

И вот состарился Иван; вспомнил он о матери: жива ли, думает, моя матушка, есть ли у нее хлеба кусок?

Оставил он тогда дом и свою семью, попрощался с Лукерьей и пошел далеко, в ту избу, где жила его мать. А там уж нет ничего, одно чистое поле, и не видно на земле, где изба стояла.

«А где же Яшка — Красная рубашка?» — подумал Иван и кликнул вслух:

— Отзовись, Яшка, как прежде было!

Глядит Иван и видит: идет по полю Яшка, такой же, как прежде, ни молодой, ни старый, ни живой и ни мертвый, зато послушный, и ведет он за руку ветхую старушку, сгорбленную так, что лицо ее почти касается земли.

Увидел Иван, что мать его идет.

— Здравствуйте, моя матушка! — сказал он.

Мать протянула к нему руки, да не в ту сторону, где был Иван.

Сказал только Яшка — Красная рубашка:

— Она слепая стала. Она глаза по тебе выплакала, не видит ничего.

Припал Иван к матери, обнял ее и поцеловал в слепые глаза.

— Прости меня, матушка, — говорит, — что обиделся я тогда и забыл про тебя.

Поднял Иван старую мать на сильные руки и понес ее в свой дом: там ждала его прекрасная жена Лукерья, там жили его дети и внуки, и там для бедной его матери было уготовано счастье.

Яшка пошел следом за Иваном и спросил его:

— А мне делать что велишь?

— А ты детей будешь забавлять! — сказал Иван Яшке.

## БЕЗРУЧКА

Жил в деревне старый крестьянин, а при нем жена и детей двое — сын да еще дочь. Прожил крестьянин свой век и помер. А за ним и старуха собралась помирать, настала ее пора. Позвала она к себе детей своих, сына с дочерью. Дочь была у нее старшая, а сын младший.

Вот наказывает мать сыну, говорит ему:

— Слушайся во всем свою сестру, как меня слушался, будет она тебе теперь вместо матери.

Вздохнула мать в последний раз — жалко ей было с детьми навек разлучаться — и померла.

После смерти родителей брат и сестра стали жить, как мать им велела. Брат слушался сестру, а сестра любила брата и заботилась о нем.

Долго ли, мало ли жили они без родителей, раз сестра и говорит своему брату:

— Трудно мне одной в хозяйстве справляться, а тебе жениться пора; женись, хозяйка в доме будет.

А брат не хотел жениться.

— И ты хозяйка, — говорит он сестре. — Зачем нам другая?

— А я ей в помощь буду, — сестра говорит. — Вдвоем-то с ней нам работать сподручней.

Хоть и не хотел брат жениться, да не посмел ослушаться старшей сестры, потому что почитал ее, как родную мать.

Оженился брат и стал жить с женою хорошо. А сестру свою он любил и почитал, как прежде было, и во всем слушался ее.

Жена его сперва послушно жила и терпела сестру мужа, свою золовку. А золовка и вовсе ей угождала.

Да только не по нраву стало братней жене, что она не первая в доме и своей золовке ровня. Вот уедет хозяин молодой поле пахать, либо в город на торг, либо в лес, а вернется ко двору — и дома у него неладно. Жена ему на сестру жалуется: и делать сестра его ничего не умеет, и сердцем она злая, и горшок новый разбила...

Молчит муж и думает: «Ты со двора, а на двор беда. Эко дело лихое!»

Однако нельзя мужику без отлучки жить.

Поехал брат опять со двора, а на двор новая беда.

Вернулся он, жена ему и говорит:

— Дело твое, а сестра твоя нас по миру пустит: гляди-ко, в хлеву коровушка наша Жданка сдохла ввечеру. Сестра

твоя, ненавистная такая, скормила ей чего-то, корова и пала.

А того не сказала жена, что она сама скормила корове вредной травы, лишь бы сестру мужа сжить со двора.

Брат и говорит сестре:

— Сгубила ты корову, сестрица. Знать, сызнова надо скотину наживать.

Хоть и невинна была сестра, да, чтобы брат на жену не подумал, взяла вину на себя.

— Оплошала я, братец, — говорит, — а больше того не случится.

— Ну, ин так, — брат говорит, — благослови меня, сестрица, поеду я в лес, на работу, копейку в дом наживать. Гляди в хозяйстве-то, чтоб ладно было. Жена родит, ребенкa прими...

Уехал он в лес, и долго его в доме не было. Жена без него и сына-младенца родила, а сестра приняла младенца и полюбила его. Да недолго жил младенец на свете: заспала его мать по нечаянности, и он умер.

В ту пору воротился брат из лесу. Видит он — горе в его доме. Жена плачет, причитает и говорит ему:

— Это сестра твоя, золовка моя, змея подколодная, удушила она сыночка нашего; теперь она и меня со свету сживет.

Услышал брат слова жены и лютым стал. Кликнул он сестру:

— Я думал, ты заместо матери мне. Ведь я ни хлеба, ни одежды тебе не жалел и не ослушался тебя ни в чем... А ты сына у меня единородного отняла! А был бы у меня сын, было бы мне утешение и надежда на старость. Да и тебя он кормил бы, когда не станет у тебя силы работать. А ты убила его!

И он сказал еще:

— Не увидишь ты завтра белого света!

Сестра хотела вымолвить слово в ответ, да брат от лютости и от горя своего не стал ее слушать и глядел на нее, как чужой, словно не зная ее.

Поутру рано брат разбудил сестру.

— Собирайся, — говорит, — поедem мы с тобой со двора.

— Рано еще, братец, — говорит сестра, — на небе сумеречно.

А брат ее не слышит и приказывает:

— Собирайся, — говорит, — и платье надень лучшее.

— Братец, а нынче и празднику нету, — молвит в ответ сестра.

А брат не слышит вовсе и коней запрягает.

Повез он ее в лес и вот остановил коней. А по времени было еще рано, чуть свет.

Тут в лесу пень стоял. Брат велел сестре, чтобы она стала на колени да голову свою положила на пень.

Сестра положила на пень свои руки, а потом склонила на них и голову.

— Прости меня, братец, — вымолвила она и хотела ему еще сказать, что ни в чем она не повинна: может быть, он теперь услышит ее.

Да брат уж высоко топором замахнулся, некогда ему было слушать сестру.

В то время вдруг воскликнула на ветке малая птичка, и голос ее был звучен и весел. Сестра услышала птичку и подняла голову, желая послушать ее, а руки ее лежали на пне.

Брат ударил топором и отсек обе руки по локти. Не мог простить он за сына, и мать бы родную не простил.

— Ступай, — говорит, — куда глаза твои глядят, ступай от меня скорее... Хотел я тебе голову отсечь, да, знать, судьба тебе жить.

Глянул брат на сестру и заплакал. «Отчего такое, — думает. — От счастья бывает одно счастье, а от беды — две беды? Нету сына у меня теперь, и сестры нету».

Тронул он лошадей и уехал, а сестра его осталась одна в лесу. Встала она с земли и пошла, безрукая, куда глаза глядят. Идет она по лесу, видит — тропинки все травой заросли давно, и куда они ведут — неведомо; а вскоре и заросших тропинок не стало. Заблудилась сестра, платьем обносилась блуждаючи и обессилела не евши.

Дни проходят, и ночи минуют, а сестра все идет, куда глаза ее глядят. Без рук ей непривычно, и скучает она по брату. Идет сестра и плачет:

*Ветры вы, ветры буйные,  
Донесите мои слезы до матушки,  
Донесите до батюшки.  
Да нету матушки, нету батюшки!  
Солнышко ты, солнышко,  
Обогрей меня, горемычную!*

Затмился перед нею весь свет слезами, а утереть их она не может. Идет она и не видит, как ветер причесал ее волосы, как солнце разрумянило ее щеки, и стала она от того милостива и хороша лицом. Стало быть, правду говорят, что честных и горе красит, а бесчестным и красота не к лицу.

А когда высохли ее слезы, увидела она сад, а лесу не было. В том саду на деревьях яблоки дозревают — сочные, рассыпчатые. Иные вовсе низко зреют, можно ртом достать. Скушала сестра одно яблоко и второе попробовала, а третье не тронула, остереглась: в первый раз ей чужое есть пришлось, нужда смертная заставила.

Тут подошел к ней караульщик-старик и побранил ее.

— Ах ты ведьма! — говорит. — Откуда явилась яблоки чужие ртом хватать! Я тридцать годов сад караую, а ни в кое время ни одного яблока вор у меня не украл! А ты явилась и скушала! Ишь ты, безрукая воровка!

Побранился караульщик и повел безрукую к хозяину сада.

А в ту пору молодой сын хозяина сидел в избе и в окно глядел. Видит он девицу, собой убогую и худую и на лицо сперва неприметную, да в глазах ее была столь добрая душа, что красила ее пуще всякой прелести, и красавиц — лучше ее нету. Залюбовался он на пришлую девицу, забилося в нем сердце от радости.

— Отпусти ее! — крикнул он караульщику.

Подошел он сам к той девице, смотрит — а она безрукая. И еще более полюбил ее молодец; видно, кого любишь, того и калечество не портит.

Однако опечалился тут молодец: что отец еще скажет?

Подошел он к отцу, поклонился ему и говорит:

— Позволь мне, батюшка, весточку тебе сказать, — да весточку в радость, а не в кручину. Караульщик наш пленницу в саду твоём поймал, а милее ее нету мне никого на свете. Не губи моего сердца, батюшка, дозвожь мне жениться на ней!

Вышел отец во двор, поглядел на безрукую девицу и говорит:

— Чего ты, сын мой! Есть и краше ее девицы, да и побогаче найдутся. А эта что же — она калека безрукая. Суму ты нищую будешь за нею таскать!

Сын ответил отцу:

— Есть и краше девицы, да милее ее мне нету. А что суму нищую за нею таскать — что же, батюшка, коли судьба нам такая, буду и суму таскать.

Задумался батюшка.

— Гляди, — говорит, — сам, сын мой любезный. В хозяйстве я волен, в саду своём я волен, а в сердце твоём я не волен. Сердце твоё не яблоко.

Сыграли честную свадьбу, и стали молодые жить своим семейством, как все люди живут. Жили они в ладу друг с

другом, жили они в счастье, да недолго им жить вместе пришлось, настала для них разлука.

В ту пору началась война с неприятелем, и у безрукой жены взяли мужа в военную службу. Вот уходит он на войну и просит отца:

— Батюшка, не оставь жену мою! Она родить должна, так напиши мне письмо в тот час, а я порадуюсь сыну либо дочери.

— Не горюй, сын мой, — отец говорит, — гляди там, даром головы своей не отдавай. А по жене скучать скучай, а горевать не надо: она мне будет как дите родное.

И ушел молодец на войну. А пришел срок, и родила ему сына безрукая жена. Поглядела мать на своего младенца, поглядел дед, и видят они: руки у младенца золотые, во лбу светел месяц сияет, а где сердце — там красное солнце горит. Да, гляди, для матери и для бабушки иных детей и внуков не бывает.

Уехал батюшка в столицу, повез он яблоки продавать на гостинный двор. А безрукая мать позвала старика караульщика и велела ему написать мужу письмо. В давнее время старик этот в солдатах служил и грамоте знал. Сперва она велела поклоны написать — от нее и от батюшки, а потом о сыне велела написать, что родился-де у них прекрасный младенец, и все приметы его велела описать, отчего все люди радуются, глядячи на него.

Сложил старик письмо, спрятал его за пазуху и пошел.

Вот идет он лесом, идет полем; глядь — и ночь настала. Видит он — изба стоит, и попросился ночевать.

Стал старик на ночлег; хозяйка его ужином накормила, а хозяйка и постель постелила прохожему человеку. Хозяин лег и уснул, а хозяйка начала пытаться прохожего старика, чей он сам, да откуда идет и куда, да как до старости дожил — худо ли, хорошо ли, сытно или голодно.

Рассказал прохожий, как он прежде жил и какая у него теперь забота.

— Вот, — говорит, — несу молодому хозяину добрую весть: родила жена ему сына. А жена-то у него хоть и безрукая, зато лицом умильная, а по сердцу считать — так никого ласковее ее нету.

Хозяйка избы подивилась:

— Аль и вовсе безрукая?

— Безрукая, — сказал старик. — Слух был, брат родной отрубил ей руки, со зла, стало быть.

Хозяйка опять подивилась.

— Ишь ты ведь, — говорит, — злодеи какие бывают! А где же весть твоя? Не потеряй, гляди!

— А тут, — старик говорит, — весть: в бумаге за пазухой лежит.

Хозяйка ему:

— Ты бы, — сказывает, — в баньке попарился; умаялся небось и пропотел в дороге. Я тебе враз баньку-то истоплю.

Старик обрадовался: и то, дескать, от бани всегда польза.

Истопила баню хозяйка, снял старик одежду и пошел кости попарить. А хозяйка не от доброго сердца и не от уважения истопила баню прохожему человеку: муж-то ее приходился братом безрукой сестре, отсюда он ее и в лес увез, да не доказнил ее до смерти. Нашла хозяйка письмо в исподней рубахе старика и прочитала его; прочитавши, бросила она то письмо в печь, написала другое и положила его обратно старику. А написала она в письме, что, дескать, родила жена мужу не ребенка, а спереди вроде как поросенка, сзади собаку, а со спины он на ежа похож, и что теперь делать с ребёнком, пусть муж отпишет.

Настало утро, и ушел старичок дале. А когда прошло время, идет тот самый старичок назад, идет по старой дороге. Увидела его хозяйка, которая его и прежде привечала, и зовет в избу.

Остался ночевать старик в знакомой избе. Хозяйка его и спрашивает: с чем он ко двору идет, что ему молодой-то хозяин сказал.

— А молодого хозяина я и не видел, — старик говорит, — он в бою был в тот час; а кончился бой, мне письмо от него передали, в нем и воля его сказана.

— Какая же в письме воля сказана? — спрашивает хозяйка.

— А мне неведомо, — отвечает старик. — А читать письма я не смею.

Сказал старик и стал собираться спать ложиться: на дворе-то уже завечерело.

Хозяйка ему и говорит:

— Дай-ко, дедушка, рубаху я тебе зашью — ишь, в дороге-то как обносился.

А старик-то уж спит. Взяла его рубаху хозяйка, поглядела, а изнутри к рубахе бумага пришита — письмо. Стала она читать, что написано. Муж пишет безрукой жене, он велит ей, чтобы она берегла и жалела их дитя, а что оно безобразным родилось, так для него оно все равно дорого и мило; и о том же муж безрукой жены и батюшку своего

просит, чтобы и батюшка глядел за младенцем и берег его.

— Нет, — прошептала хозяйка, — не углядит твой батюшка за младенцем.

И написала она другое письмо: пишет будто бы муж Безручки к своему отцу, а жене ничего не пишет; пишет он, чтобы батюшка прогнал прочь со двора его жену вместе с ее сыном, не хочет он более ее знать, не желает он жить с безрукой женой, не под стать она ему, воину, а если уцелеет он на войне, то будет у него другое семейство.

Починила хозяйка стариковскую рубаху и пришила к рубахе свое письмо, как и было, а истинное письмо оставила себе.

И ушел старик.

Вот явился он к своему хозяину, свекру Безручки, и подает ему письмо.

Прочитал старый хозяин письмо и позвал Безручку.

— Здравствуй, — говорит, — хозяйюшка!

А Безручка ему:

— Здравствуй, батюшка! Да какая же я при вас хозяйка? Я младшая в доме.

Задумался тут старый свекор.

— Да и я, — говорит, — не хозяин. Когда тебя караульщик привел, хотел было я тебя со двора прогнать, а ты в доме осталась. А нынче хочу я, чтобы ты всю жизнь в моем доме жила, а ты уйдешь навсегда.

И сказал ей свекор, как сын ему в письме написал.

— Со двора велел прочь тебя согнать. Видно, переменялось у него сердце к тебе.

Наутро Безручка взяла своего сына-младенца в подол, а край подола зажала в зубах и ушла со двора — ушла туда, куда все уходят, кому некуда идти: куда глаза глядят.

А свекор-старик остался один в доме! И заскучал он по внуку, заскучал по безрукой невестке. Тогда позвал он старого караульщика и велел ему отыскать Безручку со внуком и вернуть их домой. Караульщик пошел в поля и леса, долго ходил там и кликал Безручку. Да свет велик, где их найдешь, и караульщик вернулся ни с чем.

Старый садовник стал томиться и тосковать, а однажды лег спать и вовсе не проснулся — он умер во сне от своей печали.

А Безручка вышла со двора и пошла по свету куда глаза глядят. Миновала она чистое поле, захотелось ей пить. Вошла она в лес, видит — в лесу дедушка-дуб растет, а неподалеку от него колодец. Наклонилась Безручка над колод-

цем, а как напиться не знает — вода глубоко стоит. Наклонилась Безручка пониже — может, достанет. Видит — вот она, вода. «Ну, — думает Безручка, — я хоть губы смочу». Прильнула она к воде, разжала зубы, и выпал ее ребенок из подола в колодец. Потянулась мать в колодец, вспомнила про свое калечество и заплакала. «Ах, — подумала Безручка, — зачем я на свет родилась! И горе и обиду терпеть я могу, и дитя я родила, а спасти его не могу!»

И видит она сквозь воду, как сын ее на дне колодца лежит. И видит она еще, что руки у нее выросли, потянулась тут она к сыну и схватила его. А как выхватила она ребенка из воды, как спасла его, так рук у нее опять не стало.

И пошла Безручка дальше со своим спасенным сыном. А когда стало темно, попросилась она на ночлег в одной деревне. Наутро хотела было Безручка уйти далее, да народ в той деревне добрый был, оставил он у себя безрукую мать на житье и сына ее приютил на воспитание.

Вырос сын Безручки среди доброго народа, а война, где отец его воевал, еще не окончилась. В старину ведь долго воевали.

Пришло время, и взяли сына Безручки на войну. Справила мать сына, чтобы ни в чем недостатка у него не было, и народ помог ей справиться воина. Купили сыну коня, купили одежду и припасу — пусть едет. Стала мать прощаться со своим единственным сыном.

— Езжай, — говорит, — и живым ворочайся. Там и отец твой воюет. Наступила твоя пора, сынок. Враг придет — нам на свете не жить, а прогонишь врага, так и нам с тобой не разлучаться.

И уехал ее сын на войну. А мать осталась одна и затосковала о сыне. Днем она думала о нем, а ночью он ей снился. То она видела, что он побил всех врагов и к ней возвращается, то она видела, как он лежит один в поле убитый, а вороны выклевывают его глаза.

Не стерпело ее сердце, оделась Безручка в солдатское платье и ушла на войну.

Вот пришла Безручка на войну. Увидели ее солдаты, подумали, что она мужик, и сказали ей:

— Сидел бы ты дома на печке, земляк, — чего калеке на войне делать! Храбрец ты, да не к месту!

А Безручка нашла, что ей делать. Стала она утешать больных и умирающих, и, бывало, кто бы умереть должен, глядь, и не помирает при добрых словах Безручки; кто духом ослаб, так Безручка впереди него на врага идет, и оробевший воин вновь поднимает меч. Так было дело.

А однажды Безручка увидела своего сына. Он бился среди поля с неприятелями, и они падали мертвыми возле него. Трудно ему было. Вот уже пали все его товарищи, что бились рядом с ним, и остался он один. А на место павших неприятелей подходили другие, и число их не кончалось. Глядит мать, устоит ее сын или нет. Велика его сила, да и на силу есть пересилок. Видит Безручка — наседают враги тьмою, и сына она уже не видит: жив он или нет. А издали сам полководец следит за тою битвою. И он говорит своему помощнику:

— Узнай, какой это наш богатырь там бьется, чей он родом, и дай ему сейчас же подмогу.

А подмога когда еще придет! Успеет ли, нет ли. Безручка увидела вдруг, как встал ее сын с земли среди павших врагов, да в тот же час навалилась на него опять чужая, черная сила. Увидела мать — настало ее время. Воскликнула она:

— Стой, мой сын! Стой, единородный мой! — и бросилась на помощь.

Не подумала она, что рук у нее нету, только сердце ее билось в ярости к врагам и в любви к своему сыну, — и почувствовала она вновь свои руки и силу в них, будто и не отрубал их брат никогда. Подняла она вострую саблю павшего воина и стала сечь врагов, теснивших ее сына. Долго билась она, обороняя сына, и начала уже уставать, да и сын ее еле стоял и кровью обливался. Тогда пришла помощь от полководца, и новые воины посекали мечами остатних врагов, а павшие от рук Безручки и ее сына уже лежали мертвые. Сын Безручки хоть и бился возле матери, а узнать ее не мог: ему и глядеть на нее некогда было, да и поглядевши он бы не узнал ее, как его родная мать была безрукая, а у этого воина были могучие руки.

Вскорости за побитием врагов война окончилась. Тут полководец призвал к себе самых храбрых воинов: кто, дескать, откуда родом, кому сыном приходится, и пусть каждый награду получает. Призвал он и сына Безручки и спрашивает его:

— Чей ты, молодец? Кто у тебя отец с матерью? Надо бы и родителям твоим награду дать, что сына такого взрастили.

Поникнул сын Безручки.

— Нету, — говорит, — у меня батюшки, и какой он был — не помню. А рос я с малолетства один у матери, земля была нашим ложем, а небо — покровом, а добрый народ был заместо отца.

— Народ всем отцам отец, — сказал так полководец, — я сам перед ним меньшей и наградить его не могу. А матери твоей полагается награда за то, что возрастила храброго сына. Пусть она явится ко мне и получит в свои руки награду!

— А у нее рук нету, она безрукая, — сказал сын Безручки. Поглядел тут полководец на молодого воина пристально и печально и говорит:

— Ступай, — говорит, — и приведи свою мать ко мне. Пошел тогда сын Безручки в деревню за матерью, а деревенские люди ему сказали, что его мать тоже на войну ушла, утешать увечных и рубленых.

Вернулся он к полководцу и говорит: так и так, мол, нету матери, она при войске.

Полководец велел привести к нему всех, кто помогал исцелять раненых и умирающих, и стал награждать их за доброе дело. И когда подошла к нему безрукая женщина в простой солдатской одежде, полководец поглядел в ее лицо и узнал в ней свою жену, а Безручка увидела, что полководец этот — ее муж. Безручка хотела обнять своего мужа — целый век жила она с ним в разлуке, да вспомнила: нет у нее рук. Они у нее опять сразу отсохли, как она сына отстояла в бою. Однако не стерпела Безручка и потянулась к мужу. Его она всегда любила и не могла забыть. И в тот же миг, словно из сердца, выросли у нее руки, такие же сильные, как прежде были, и обняла она ими своего мужа. И с тех пор навсегда руки остались при ней.

Позвал отец тут сына и говорит ему:

— Здравствуй, сын мой! Я отец твой, а ты не знал меня, и я тебя не знал. Злые люди разлучили нас, да есть сила сильнее злодейства.

Глянул тут сын на отца и обрадовался, а потом глянул на мать, видит ее — а мать теперь с руками. И вспомнил он последнюю битву и того воина, который оборонял его своим мечом. Сын бросился перед матерью на колени и стал целовать ее руки, что спасли его.

И вскоре, как наступило мирное время, поехал полководец домой, к своему двору, где жил он с отцом когда-то, где увидел Безручку и полюбил ее. Взял он с собой жену и сына и поехал на покой. А по дороге заехали они к брату Безручки, потому что двор его стоял на пути.

Жена Безручкиного брата как увидела, как узнала, кто это приехал — и Безручка сама и все семейство ее, и все целые и здоровые, и все в знатности, — так повалилась со страху им в ноги и рассказала сама, без спросу, чего она

сделала для погибели Безручки и ее сына-младенца.

Может, подумала она, по давности-то и помилуют.

Выслушала ее Безручка, а в ответ рассказала про свою судьбу, какую она испытала.

Поклонился брат Безручки своей сестре и сказал:

— Спасибо тебе за рассказ, а зло на посев не оставляется.

Прости меня, сестра моя родимая!

В ту же ночь, тайно от своих гостей, вывел он из конюшни необъезженную кобылицу, привязал к ее хвосту скрученными вожжами свою жену, а себя привязал к жене, а потом гикнул, лошадь понесла, поволокла мужа с женой в чистое поле и там растрепала их насмерть о землю.

А Безручка с мужем и сыном ждали-пождали утром хозяина с хозяйкой, да дождались только кобылицу, что прибежала одна, без людей, из чистого поля.

Не дождались гости хозяев и уехали жить-поживать на долгие годы к своему двору. Несчастье хоть и живет на свете, да нечаянно, а счастье должно жить постоянно.

## ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ

Жили в деревне крестьянин с женой; было у них три дочери. Дочери выросли, а родители постарели, и вот пришло время, пришел черед — умерла у крестьянина жена. Стал крестьянин один растить своих дочерей. Все три его дочери были красивые и красотой равные, а нравом — разные.

Старый крестьянин жил в достатке и жалел своих дочерей. Захотел он было взять во двор какую ни есть старушку-бобылку, чтобы она по хозяйству заботилась. А меньшая дочь, Марьюшка, говорит отцу:

— Не надобно, батюшка, бобылку брать, я сама буду по дому заботиться.

Марья радетьельная была. А старшие дочери ничего не сказали.

Стала Марьюшка вместо своей матери хозяйство по дому вести. И все-то она умеет, все у нее ладится, а что не умеет, к тому привыкает, а привыкши, тоже ладит с делом. Отец глядит и радуется, что Марьюшка у него такая умница да работающая и нравом кроткая. И из себя Марьюшка была хороша — красавица писаная, и от доброты краса ее прибавлялась. Сестры ее старшие тоже были красавицы, только

им все мало казалось своей красоты, и они старались прибавить ее румянами и белилами и еще в обновки нарядиться. Сидят, бывало, две старшие сестрицы да целый день охорашиваются, а к вечеру все такие же, что и утром были. Заметят они, что день прошел, сколько румян и белил они извели, а лучше не стали, и сидят сердитые. А Марьюшка устанет к вечеру, зато знает она, что скотина накормлена, в избе прибрано чисто, ужин она приготовила, хлеб на завтра замесила и батюшка будет ею доволен. Глянет она на сестер своими ласковыми глазами и ничего им не скажет. А старшие сестры тогда еще более сердятся. Им кажется, что Марья-то утром не такая была, а к вечеру похорошела — с чего только, они не знают.

Пришла нужда отцу на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей:

— А что вам, детушки, купить, чем вас порадовать?

Старшая дочь говорит отцу:

— Купи мне, батюшка, полушалок, да чтоб цветы на нем большие были и золотом расписанные.

— А мне, батюшка, — средняя говорит, — тоже купи полушалок с цветами, что золотом расписанные, а посреди цветов, чтоб красное было. А еще купи мне сапожки с мягкими голенищами, на высоких каблучках, чтоб они о землю топали.

Старшая дочь обиделась на среднюю, у нее было алчное сердце, и сказала отцу:

— И мне, батюшка, и мне купи сапожки с мягкими голенищами и с каблучками, чтоб они о землю топали! А еще купи мне перстень с камешком на палец — ведь я у тебя одна старшая дочь!

Отец пообещал купить подарки, какие наказали две старшие дочери, и спрашивает у младшей:

— А ты чего молчишь, Марьюшка?

— А мне, батюшка, ничего не надо. Я со двора никуда не хожу, нарядов мне не нужно.

— Неправда твоя, Марьюшка! Как я тебя без подарка оставлю? Я тебе гостинец куплю.

— И гостинца не нужно, батюшка, — говорит младшая дочь. — А купи ты мне, батюшка родимый, перышко Финиста — ясна сокола, коли оно дешевое будет.

Поехал отец на базар, купил он старшим дочерям подарки, какие они наказали ему, а перышко Финиста — ясна сокола не нашел. У всех купцов спрашивал.

«Нету, — говорили купцы, — такого товара; спросу, — говорят, — на него нету».

Не хотелось отцу обижать младшую дочь, свою работающую умницу, однако воротился он ко двору, а перышка Финиста — ясна сокола не купил.

А Марьюшка и не обиделась.

— Ништо, батюшка, — сказала Марьюшка, — в иной раз поедешь, тогда оно и купится, перышко мое.

Прошло время, и опять отцу нужда на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей, что им купить в подарок: он добрый был.

Большая дочь говорит:

— Купил ты мне, батюшка, в прежний раз сапожки, так пусть кузнецы подкуют теперь каблучки на тех сапожках серебряными подковами.

А средняя слышит старшую и говорит:

— И мне, батюшка, тоже, а то каблучки стучат, а не звенят, — пусть они звенят. А чтоб гвоздики из подковок не потерялись, купи мне еще серебряный молоточек: я гвоздики подбивать буду.

— А тебе чего купить, Марьюшка?

— А погляди, батюшка, перышко от Финиста — ясна сокола: будет ли, нет ли.

Поехал старик на базар, дела свои скоро сделал и старшим дочерям подарки купил, а для младшей до самого вечера перышко искал, да нет того перышка, никто его в покупку не дает. Вернулся отец опять без подарка для младшей дочери. Жалко ему стало Марьюшку, а Марьюшка улыбнулась отцу: она и тому рада была, что снова увидела своего родителя.

Пришло время, поехал отец опять на базар.

— Чего вам, дочки родные, в подарок купить?

Старшая подумала и сразу не придумала, чего ей надо.

— Купи мне, батюшка, чего-нибудь.

А средняя говорит:

— И мне, батюшка, купи чего-нибудь, а к чему-нибудь добавь еще что-нибудь.

— А тебе, Марьюшка?

— А мне купи ты, батюшка, одно перышко Финиста — ясна сокола.

Поехал старик на базар. Дела свои сделал, старшим дочерям подарки купил, а младшей ничего не купил: нету того перышка на базаре.

Едет отец домой, и видит он: идет по дороге старый старик, старше его, вовсе ветхий.

— Здравствуй, дедушка!

— Здравствуй, милый. О чем у тебя кручина?

— А как ей не быть, дедушка! Наказывала мне дочь купить ей одно перышко Финиста — ясна сокола. Искал я ей то перышко, а его нету. А дочь-то она у меня меньшая, пуще всех мне ее жалко.

Старый старик задумался, а потом и говорит:

— Ин так и быть!

Развязал он заплечный мешок и вынул из него коробочку.

— Спрячь, — говорит, — коробочку, в ней перышко от Финиста — ясна сокола. Да упомни еще: есть у меня один сын; тебе дочь жалко, а мне сына. Ан не хочет мой сын жениться, а уж время ему пришло. Не хочет — неволить нельзя. И сказывает он мне: кто-де попросит у тебя это перышко, ты отдай, говорит, — это невеста моя просит.

Сказал свои слова старый старик — и вдруг нету его, исчез он неизвестно куда: был он или не был!

Остался отец Марьюшки с перышком в руках. Видит он то перышко, а оно серое, простое. А купить его нельзя было нигде.

Вспомнил отец, что старый старик ему сказал, и подумал: «Видно, Марьюшке моей судьба такая выходит — не знаяши, не выдавши, выйти замуж неведомо за кого».

Приехал отец домой, подарил подарки старшим дочерям, а младшей отдал коробочку с серым перышком.

Нарядились старшие сестры и посмеялись над младшей.

— А ты воткни свое воробьиное перышко в волоса, да и красуйся.

Марьюшка промолчала, а когда в избе легли все спать, она положила перед собой простое, серое перышко Финиста — ясна сокола и стала им любоваться. А потом Марьюшка взяла перышко в свои руки, подержала его при себе, погладила и нечаянно уронила на пол.

Тотчас ударился кто-то в окно. Окно открылось, и влетел в избу Финист — ясный сокол. Приложился он до полу и обратился в прекрасного молодца. Закрыла Марьюшка окно и стала с молодцем разговор разговаривать. А к утру отворила Марьюшка окно, приклонился молодец до полу, обратился молодец в ясного сокола, а сокол оставил по себе простое, серое перышко и улетел в синее небо.

Три вечера привечала Марьюшка сокола. Днем он летал по поднебесью, над полями, над лесами, над горами, над морями, а к вечеру прилетал к Марьюшке и делался добрым молодцем.

На четвертый вечер старшие сестры расслышали тихий разговор Марьюшки, услышали они и чужой голос доброго молодца, а наутро спросили младшую сестру:

— С кем это ты, сестрица, ночью беседуешь?

— А я сама себе слова говорю, — ответила Марьюшка. — Подруг у меня нету, днем я в работе, говорить мне некогда, а вечером я беседую сама с собой.

Послушали старшие сестры младшую, да не поверили ей. Сказали они батюшке:

— Батюшка, а у Марьи-то нашей суженый есть, она по ночам с ним видится и разговор с ним разговаривает. Мы сами слышали.

А батюшка им в ответ:

— А вы бы не слушали, — говорит. — Чего у нашей Марьюшки суженому не быть? Худоого тут нету, девица она пригожая и в пору свою вышла; придет и вам черед.

— Так Марья-то не по череду суженого своего узнала, — сказала старшая дочь. — Мне бы случилось первее ее замуж выходить.

— Оно правда твоя, — рассудил батюшка. — Так судьба-то не по счету идет. Иная невеста в девках до старости лет сидит, а иная с младости всем людям мила.

Сказал так отец старшим дочерям, а сам подумал: «Иль уж слово того старого старика сбывается, что перышко мне подарил? Беды-то нету, да хороший ли человек будет суженый у Марьюшки?»

А у старших дочерей свое желание было. Как стало время на вечер, Марьюшкины сестры вынули ножи из черенков, а ножи воткнули в раму окна и вокруг него, а кроме ножей, воткнули еще туда острые иголки да осколки старого стекла. Марьюшка в то время корову в хлеву убирала и ничего не видела.

И вот, как стемнело, летит Финист — ясный сокол к Марьюшкиному окну. Долетел он до окна, ударился об острые ножи да об иглы и стекла, бился-бился, всю грудь изранил, а Марьюшка утомилась за день в работе, задремала она, ожидаючи Финиста — ясна сокола, и не слышала, как бился ее сокол в окно.

Тогда Финист сказал громко:

— Прощай, моя красная девица! Коли нужен я тебе, ты найдешь меня, хоть и далеко я буду! А прежде того, идучи ко мне, ты башмаков железных три пары износишь, трое посохов чугунных о траву подорожную сотрешь, три хлеба каменных изглодаешь.

И услышала Марьюшка сквозь дрему слова Финиста, а встать, пробудиться не могла. А утром пробудилась она, загоревало ее сердце. Посмотрела она в окно, а в окне кровь Финиста на солнце сохнет. Заплакала тогда Марьюшка.

Отворила она окно и припала лицом к месту, где была кровь Финиста — ясна сокола. Слезы смыли кровь сокола, а сама Марьюшка словно умылась кровью суженого и стала еще краше.

Пошла Марьюшка к отцу и сказала ему:

— Не брани меня, батюшка, отпусти меня в путь-дорогу дальнюю. Жива буду — свидимся, а помру — на роду, знать, мне было написано.

Жалко было отцу отпускать неведомо куда любимую младшую дочь. А неволить ее, чтоб дома она жила, нельзя. Знал отец: любящее сердце девицы сильнее власти отца и матери. Простился он с любимой дочерью и отпустил ее.

Кузнец сделал Марьюшке три пары башмаков железных и три посоха чугунных, взяла еще Марьюшка три каменных хлеба, поклонилась она батюшке и сестрам, могилу матери навестила и отправилась в путь-дорогу искать Финиста — ясна сокола.

Идет Марьюшка путем-дорогою. Идет она не день, не два, не три, идет она долгое время. Шла она и чистым полем и темным лесом, шла и высокими горами. В полях птицы ей песни пели, темные леса ее привечали, с высоких гор она всем миром любовалась. Шла Марьюшка столько, что одну пару железных башмаков износила, чугунный посох о дорогу истерла и каменный хлеб изглодала, а путь все не кончается, и нету нигде Финиста — ясна сокола.

Вздохнула тогда Марьюшка, села на землю, стала она другие железные башмаки обувать — и видит избушку в лесу. А уж ночь наступила.

Подумала Марьюшка: «Пойду в избушку людей спрошу, не видали они моего Финиста — ясна сокола?»

Постучалась Марьюшка в избушку. Жила в той избушке одна старуха — добрая или злая, про то Марьюшка не знала. Отворила старуха сени — стоит перед ней красная девица.

— Пусти, бабушка, ночевать!

— Входи, голубушка, гостьей будешь. А далеко ли ты идешь, молодая?

— Далеко ли, близко, сама не знаю, бабушка. А ищу я Финиста — ясна сокола. Не слыхала ли ты про него, бабушка?

— Как не слыхать! Я старая, давно на свете живу, я про всех слыхала! Далеко тебе идти, голубушка.

Наутро хозяйка-старуха разбудила Марьюшку и говорит ей:

— Ступай, милая, теперь к моей средней сестре. Она старше меня и ведает больше. Может, она добру тебя на-

чит и скажет, где твой Финист живет. А чтоб ты меня, старую, не забыла, возьми-ка вот серебряное донце да золотое веретенце, станешь кудель прясти — золотая нитка потянется. Береги мой подарок, пока он дорог тебе будет, а не дорог станет — сама его подари.

Марьюшка взяла подарок, полюбовалась им и сказала хозяйке:

— Благодарствую, бабушка. А куда же мне идти, в какую сторону?

— А я тебе клубочек дам самокат. Куда клубочек покажется, и ты ступай за ним вослед. А передохнуть задумаешь, сядешь на травку — и клубочек остановится, тебя ожидать будет.

Поклонилась Марьюшка старухе и пошла вослед за клубочком. Долго ли, коротко ли шла Марьюшка, пути она не считала, сама себя не жалела, а видит она — леса стоят темные, страшные, в полях трава растет нехлебная, колючая, горы встречаются голые, каменные, и птицы над землей не поют. Шла Марьюшка все далее, все скорее она спешила. Глядь, опять переобуваться надо: другая пара башмаков железных износилась, и посох чугунный о землю истерся, и каменный хлеб она изглодала.

Села Марьюшка переобуваться. Видит она — черный лес близко, и ночь наступает, а в лесу в одной избушке огонек зажгли в окне.

Клубочек покатился к той избушке. Пошла за ним Марьюшка и постучалась в окошко.

— Хозяева добрые, пустите ночевать!

Вышла на крыльцо избушки старуха, старее той, что прежде привчала Марьюшку.

— Куда идешь, красная девица? Кого ты ищешь на свете?

— Ищу, бабушка, Финиста — ясна сокола. Была я у одной старушки в лесу, ночь у нее ночевала, она про Финиста слыхала, а не ведает его. Может, сказывала, середняя ее сестра ведает.

Ппустила старуха Марьюшку в избу. А наутро разбудила гостью и сказала ей:

— Далек тебе искать Финиста будет. Ведать я про него ведала, да видать не видала. А иди ты теперь к нашей старшей сестре, она и знать про него должна. А чтоб помнила ты обо мне, возьми от меня подарок. По радости он тебе памятью будет, а по нужде помощь окажет.

И дала хозяйка-старушка своей гостье серебряное блюдо и золотое яичко.

Попросила Марьюшка у старой хозяйки прощенья, поклонилась ей и пошла вослед клубочку.

Идет Марьюшка, а земля вокруг нее вовсе чужая стала. Смотрит она — один лес на земле растет, а чистого поля нету. И деревья, чем далее катится клубок, все выше растут. Совсем темно стало: солнца и неба не видно.

А Марьюшка и по темноте все шла да шла, пока железные башмаки ее насквозь не истоптались, а посох о землю не истерся и покуда последний каменный хлеб она до остатней крошки не изглодала.

Огляделась Марьюшка — как ей быть? Видит она свой клубочек: лежит он под окошком у лесной избушки.

Постучалась Марьюшка в окно избушки.

— Хозяева добрые, укройте меня от темной ночи!

Вышла на крыльцо древняя старушка, самая старшая сестра всех старух.

— Ступай в избу, голубка, — говорит. — Ишь куда как далече пришла! Далее и не живет на земле никто, я крайняя. Тебе в иную сторону завтра с утра надобно путь держать. А чья же ты будешь и куда идешь?

Отвечала ей Марьюшка:

— Я не здешняя, бабушка. А ищу я Финиста — ясна сокола.

Поглядела старшая старуха на Марьюшку и говорит ей:

— Финиста-сокола ищешь? Знаю я, знаю его. Я давно на свете живу, уж так давно, что всех узнала, всех запомнила.

Уложила старуха Марьюшку, а наутро разбудила ее.

— Давно, — говорит, — я добра никому не делала. Одна в лесу живу, все про меня забыли, одна я всех помню. Тебе добро и сделаю: скажу тебе, где твой Финист — ясный сокол живет. А и отыщешь ты его, трудно тебе будет: Финист — ясный сокол теперь женился, он со своей хозяйкой живет. Трудно тебе будет, да сердце у тебя есть, а на сердце и разум придет, а от разума и трудное легким станет.

Марьюшка сказала в ответ:

— Благодарствую тебе, бабушка, — и поклонилась ей в землю.

— Благодарствовать мне после будешь. А вот тебе подарочек — возьми от меня золотое пялечко да иголочку: ты пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ступай теперь, а что нужно будет делать тебе — пойдешь, сама узнаешь.

Клубочек далее не катился. Вышла на крыльцо старшая старуха и указала Марьюшке, в какую сторону ей надо идти.

Пошла Марьюшка, как была, босая. Подумала: «Как пойду? Земля здесь твердая, чужая, к ней привыкнуть нужно...»

Прошла она недолго времени. И видит — стоит на поляне богатый двор. А во дворе терем: крыльцо резное, оконца узорчатые. У одного оконца сидит богатая, знатная хозяйка и смотрит на Марьюшку: чего, дескать, ей надо.

Вспомнила Марьюшка, обуться ей теперь не во что и последний каменный хлеб она изглодала в дороге.

Сказала она хозяйке:

— Здравствуй, хозяйюшка! Не надобно ли вам работницу за хлеб, за одежду-обужу?

— Надобно, — отвечает знатная хозяйка. — А умеешь ли ты печи топить, и воду носить, и обед стряпать?

— Я у батюшки без матушки жила — я все умею.

— А умеешь ты прясть, ткать и вышивать?

Вспомнила Марьюшка о подарках старых бабушек.

— Умею, — говорит.

— Ступай тогда, — хозяйка говорит, — на кухню людскую.

Стала Марьюшка работать и служить на чужом богатом дворе. Руки у Марьюшки честные, усердные — всякое дело ладится у ней.

Хозяйка глядит на Марьюшку да радуется: не было еще у нее такой услужливой, да доброй, да смышленной работницы; и хлеб Марьюшка ест простой, запивает его квасом, а чаю не просит. Похвалилась хозяйка своей дочери.

— Смотри, — говорит, — работница какая у нас во дворе: покорная да умелая и на лицо ласковая!

Посмотрела хозяйкина дочь на Марьюшку.

— Фу! — говорит. — Пусть она ласковая, а я зато краше ее, и я телом белее!

Вечером, как управилась с хозяйскими работами, села Марьюшка прясть. Села она на лавку, достала серебряное донце и золотое веретенце и прядет. Прядет она, из кудели нитка тянется — нитка не простая, а золотая. Прядет она, а сама глядит в серебряное донце, и чудится ей, что видит она там Финиста — ясна сокола: смотрит он на нее, как живой на свете. Глядит Марьюшка на него и разговаривает с ним:

— Финист мой, Финист — ясный сокол, зачем ты оставил меня одну, горькую, плакать по тебе? Это сестры мои, разлучницы, кровь твою пролили.

А хозяйкина дочь вошла в ту пору в людскую избу, стоит поодаль, глядит и слушает.

— О ком ты горюешь, девица? — спрашивает она. — И какая у тебя забава в руках?

Марьюшка говорит ей:

— Горюю я о Финисте — ясном соколе. А это я нить пряду, полотенце Финисту буду вышивать — было бы ему чем поутру белое лицо утирать.

— А продай мне свою забаву! — говорит хозяйкина дочь. — Ан Финист-то муж мой, и я сама ему нить спяду.

Посмотрела Марьюшка на хозяйкину дочь, остановила свое золотое веретенце и говорит:

— У меня забавы нету, у меня работа в руках. А серебряное донце — золотое веретенце не продается: мне добрая бабушка его подарила.

Обиделась хозяйская дочь: не хотелось ей золотое веретенце из рук своих выпускать.

— Если не продается, — говорит, — давай тогда мену делать: я тебе тоже вещь подарю.

— Подари, — сказала Марьюшка. — Дозволь мне на Финиста — ясна сокола хоть раз одним глазком взглянуть!

Хозяйская дочь подумала и согласилась.

— Изволь, девица, — говорит. — Давай мне твою забаву.

Взяла она у Марьюшки серебряное донце — золотое веретенце, а сама думает: «Покажу я ей Финиста ненадолго, ничего с ним не станется — дам ему сонного зелья, а через это золотое веретенце мы с матушкой вовсе озолотимся!»

К ночи воротился из поднебесья Финист — ясный сокол; обратился он в доброго молодца и сел ужинать в семействе: теща-хозяйка да Финист с женою.

Хозяйская дочь велела позвать Марьюшку: пусть она служит за столом и на Финиста глядит, как уговор был. Марьюшка явилась; служит она за столом, кушанье подает и с Финиста глаз не сводит. А Финист сидит, словно нету его, — не узнал он Марьюшки: истомилась она путем-дорогою, идучи к нему, и от печали по нем изменилась в лице.

Отужинали хозяева; встал Финист и пошел спать в свою горницу.

Марьюшка и говорит тогда молодой хозяйке:

— Мух во дворе много летает. Пойду-ка я к Финисту в горницу, буду от него мух отгонять, чтоб спать ему не мешали.

— А пусть ее идет! — сказала старая хозяйка.

Молодая хозяйка опять здесь подумала.

— Ан нет, — говорит, — пусть обождет.

А сама пошла вслед за мужем, дала ему на ночь сонного зелья выпить в питье и воротилась. «Может, — рассудила

хозяйская дочь, — у работницы еще какая забава на такую мену есть!»

— Иди теперь, — сказала она Марьюшке. — Иди, мух от Финиста отгоняй!

Пришла Марьюшка к Финисту в горницу и позабыла про мух. Видит она: спит ее сердечный друг непробудным сном.

Смотрит на него Марьюшка — не насмотрится. Наклонилась к нему близко, одним дыханьем с ним дышит, шепчет ему:

— Проснись, мой Финист — ясный сокол, это я к тебе пришла; я три пары башмаков железных истоптала, три посоха чугунных о дорогу истерла, три хлеба каменных изглодала!

А Финист спит непробудно, он глаз не открывает и не молвит слова в ответ.

Приходит в горницу жена Финиста — хозяйская дочь — и спрашивает:

— Отгоняла мух?

— Отгоняла, — Марьюшка говорит, — они в окно улетели.

— Ну иди спать в людскую избу.

На другой день, как поделала Марьюшка всю хозяйскую работу, взяла она серебряное блюдечко и катает по нему золотым яичком: покатает вокруг — и новое золотое яичко скатывается с блюдечка; покатает другой раз вокруг — и опять новое золотое яичко скатывается с блюдечка.

Увидела хозяйская дочь.

— Ужли, — говорит, — и такая забава есть у тебя? Продай мне ее, либо я тебе мену, какую хочешь, дам за нее.

Марьюшка говорит ей в ответ:

— Продать не могу, мне добрая бабушка это в подарок дала. И я тебе даром блюдечко с яичком отдам. На-ко, возьми!

Взяла подарок хозяйская дочь и обрадовалась:

— А может, и тебе что нужно, Марьюшка? Проси, чего хочешь.

Марьюшка и просит в ответ:

— А мне самое малое и нужно. Дозволь опять от Финиста мух отгонять, когда ты почивать его уложишь.

— Изволь, — говорит молодая хозяйка.

А сама думает: «Чего с мужем станется от поглядки чужой девицы! Да и спать он будет от зелья, глаз не откроет, а у работницы, может, еще какая забава есть!»

К ночи опять, как было, воротился Финист — ясный сокол из поднебесья, обратился он в доброго молодца и сел за стол ужинать со своим семейством.

Жена Финиста позвала Марьюшку прислуживать за столом, кушанья подавать. Марьюшка кушанья подает, чашки ставит, ложки кладет, а сама глаз с Финиста не сводит. А Финист глядит и не видит ее — не узнает ее его сердце.

Опять, как было, дала хозяйская дочь своему мужу питье с сонным зельем и спать его уложила. А работницу Марьюшку послала к нему и велела ей мух отгонять.

Пришла Марьюшка к Финисту, стала звать его и плакать над ним, думала — нынче он пробудится, взглянет на нее и узнает Марьюшку. Долго звала его Марьюшка и слезы со своего лица утирала, чтобы они не упали на белое лицо Финиста и не смочили его. А Финист спал, он не пробудился, и глаз своих не открыл в ответ.

На третий день Марьюшка справила к вечеру всю хозяйскую работу, села на лавку в людской избе, вынула золотое пялечко и иголочку. Держит она в руках золотое пялечко, а иголочка сама по полотну вышивает.

Вышивает Марьюшка, сама приговаривает:

— Вышивайся, вышивайся, мой красный узор, вышивайся для Финиста — ясна сокола, было бы ему на что любоваться!

Молодая хозяйка неподалеку ходила-была; пришла она в людскую избу, увидела в руках у Марьюшки золотое пялечко и иголочку, что сама вышивает. Зашлось у нее сердце завистью и алчностью, и говорит она:

— Ой, Марьюшка, душенька, красная девица! Подари мне такую забаву, либо что хочешь в обмен возьми! Золотое веретенце есть у меня, пряжи я на пряду, холстины натку, а золотого пялечка с иголочкой у меня нету — вышивать нечем. Если в обмен не хочешь отдавать, тогда продай! Я цену тебе дам!

— Нельзя! — говорит Марьюшка. — Нельзя золотое пялечко с иголочкой ни продавать, ни в обмен давать. Их мне самая добрая, самая старая бабушка даром дала. И я тебе их даром отдам.

Взяла молодая хозяйка пялечко с иголочкой, а Марьюшке ей дать нечего, она и говорит:

— Приходи, коли хочешь, от мужа моего, Финиста, мух отгонять. Прежде ты сама просилась.

— Приду уж, так и быть, — сказала Марьюшка.

После ужина молодая хозяйка сначала не хотела давать Финисту сонного зелья, а потом раздумалась и добавила того зелья в питье: «Чего ему глядеть на девицу, пусть спит!»

Пошла Марьюшка в горницу к спящему Финисту. Уже не стерпело теперь ее сердце. Припала она к его белой груди и причитает:

— Проснись-пробудись, Финист мой, ясный мой сокол! Я всю землю пешей прошла, к тебе идучи! Три посоха чугуновых уморились ходить со мной и о землю истерлись, три пары башмаков железных ноги мои износили, три хлеба каменных я изглодала. Встань-проснись, Финист мой, ясный сокол! Сжался ты надо мной!

А Финист спит, ничего не чувствует, и не слышит он голоса Марьюшки.

Долго Марьюшка будила Финиста, долго плакала над ним, а не проснулся Финист — крепко было зелье жены. Да упала одна горячая слеза Марьюшки на грудь Финиста, а другая слеза упала на его лицо. Одна слеза обожгла сердце Финиста, а другая открыла ему глаза, и он в ту же минуту проснулся.

— Ах, — говорит, — что меня обожгло?

— Финист мой, ясный сокол! — отвечает ему Марьюшка. — Пробудись ко мне, это я пришла! Долго-долго я искала тебя, железо и чугун я о землю истерла. Не стерпели они дороги к тебе, а я стерпела! Третью ночь я зову тебя, а ты спишь, ты не пробуждаешься, ты на голос мой не отвечаешь!

И тут узнал Финист — ясный сокол свою Марьюшку, красную девицу. И так он обрадовался ей, что от радости сперва слова молвить не мог. Прижал он Марьюшку к груди своей белой и поцеловал.

А очнувшись, привыкши, что Марьюшка с ним, он сказал ей:

— Будь ты моей сизой голубкой, моя верная красная девица!

И в ту же минуту обратился он в сокола, а Марьюшка — в голубку.

Улетели они в ночное поднебесье и всю ночь летели рядом, да самого рассвета.

А когда они летели, Марьюшка спросила:

— Сокол, сокол, а куда ты летишь, ведь жена твоя соскучится!

Финист-сокол послушал ее и ответил:

— Я к тебе лечу, красна девица. А кто мужа меняет на веретенце, на блюдечко да на иголку, той жене мужа не надо и та жена не соскучится.

— А чего же ты женился на такой жене? — спросила Марьюшка. — Воли твоей не было?

— Воля моя была, да судьбы и любви не было.

И они полетели далее рядом друг с другом.

А на рассвете опустились они на землю. Поглядела Марьюшка вокруг; видит она — дом ее родителя стоит, как прежде был. Захотела Марьюшка увидеть отца-родителя, и тут же обратилась она в красную девицу. А Финист — ясный сокол ударился о сыру землю и сделался перышком.

Взяла Марьюшка перышко, спрятала его к себе на грудь, за пазуху, и пришла к отцу.

— Здравствуй, дочь моя меньшая, любимая! Я думал, что тебя и на свете нету. Спасибо, что отца не забыла, домой воротилась. Где была так долго, чего домой не спешила?

— Прости меня, батюшка. Так нужно мне было.

— Что ж, нужно так нужно. Спасибо, что нужда прошла.

А случилось это на праздник, и в городе большая ярмарка открылась. Собрался наутро отец на ярмарку ехать, и старшие дочери с ним едут — подарки себе покупать.

Отец и меньшую позвал, Марьюшку.

А Марьюшка:

— Батюшка, — говорит, — я с дороги притомилась, и надеть мне на себя нечего. На ярмарке, чай, все нарядные будут.

— Я там тебя, Марьюшка, обряжу, — отвечает отец. — На ярмарке, чай, торг большой.

А старшие сестры говорят младшей:

— Надень наши уборы, у нас лишние есть.

— Ах, сестрицы, спасибо вам! — говорит Марьюшка. — Мне ваши платья не по кости! Да мне и дома хорошо.

— Ну, быть по-твоему, — говорит ей отец. — А что тебе с ярмарки привезти, какой подарок? Скажи, отца не обижай!

— Ах, батюшка, ничего не надобно, все у меня есть! Недаром я далеко ходила и в дороге утомилась.

Отец со старшими сестрами уехал на ярмарку. В ту же пору Марьюшка вынула свое перышко. Оно ударилось об пол и сделалось прекрасным добрым молодцем, Финистом, только еще прекраснее, чем он был прежде. Марьюшка удивилась да от счастья своего ничего не сказала. Тогда сказал ей Финист:

— Не дивись на меня, Марьюшка, это я от твоей любви таким стал.

— Я хоть и дивлюсь, — сказала Марьюшка, — да для меня ты всегда одинаков, я тебя всякого люблю.

— А где родитель твой, батюшка?

— На ярмарку уехал, и сестры с ним старшие.

— А ты чего, Марьюшка моя, не поехала с ними?

— У меня Финист есть, ясный сокол. Мне ничего на ярмарке не надо.

— И мне ничего не надо, — сказал Финист, — да я от твоей любви богатым стал.

Обернулся Финист от Марьюшки, свистнул в окошко — сейчас явились платья, уборы и карета золотая. Нарядились они, сели в карету, кони помчали их вихрем.

Приехали они в город на ярмарку, а ярмарка только открылась, все богатые товары и яства горою лежат, а покупатели едут в дороге.

Финист купил на ярмарке все товары, все яства, что были там, и велел их обозами везти в деревню к родителю Марьюшки. Одну только мазь колесную он не купил, а оставил ее на ярмарке.

Он хотел, чтобы все крестьяне, какие приедут на ярмарку, стали гостями на его свадьбе и скорее ехали к нему. А для скорой езды им мазь нужна будет.

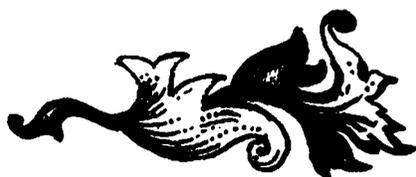
Поехали Финист с Марьюшкой домой. Едут они быстро, лошадям воздуха от ветра не хватает.

На половине дороги увидела Марьюшка своего батюшку и старших сестер. Они еще на ярмарку ехали и не доехали. Марьюшка велела им ворочаться ко двору, на свадьбу ее с Финистом — ясным соколом.

А через три дня собрался в гости весь народ, что жил на сто верст в округе; обвенчался тогда Финист с Марьюшкой, и свадьба была богатая.

На той свадьбе дедушки наши и бабушки были, долго они пировали, жениха и невесту величали, с лета до зимы не разошлись бы, да настала пора убирать урожай, хлеб осыпаться начал; оттого и свадьба кончилась и на пиру гостей не осталось.

Свадьба кончилась, и свадебный пир гости позабыли, а верное, любящее сердце Марьюшки навсегда запомнилось в русской земле.





Е. И. ЗАМЯТИН

# СКАЗКИ





## БОГ



БЫЛО это царство богатое и древнее, славилось плодоносностью женского пола и доблестью мужеского. А помещалось царство в запечье у почтальона Мизюмина. И был такой таракан Сенька — смутьян и оторвяжник первейший во всем тараканьем царстве. Тараканихам от Сеньки — проходу нет; на стариков ему начихать; а в бога — не верит, говорит — нету.

— Да как же нету, бесстыжие твои глаза? Ты при свете вылезь да зеньки разинь. А то, ишь ты: не-ету...

— А что ж, и вылезу, — хорохорился Сенька.

И вылез однажды. Вылез — и ахнул: бог-то ведь есть и правда! Вот он, вот: грозный, нестерпимо-огромный, в розовой ситцевой рубашке, бог...

А бог, почтальон Мизюмин, чулок вязал: любил он этим рукомеслом позаняться в сверхурочное время. Увидал Сеньку Мизюмин — обрадовался:

— А-а, друг сердечный, таракан запечный, откуда ты, здравствуй!

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязательно надо, а больше, как с Сенькою, не с кем.

— Ну, брат Сенька, женюсь я. Невеста — первый сорт. Пойми ты, тараканья душа: девица — из благородных, и

приданого полтора ста рублей! Ох, и заживем же мы с тобой! Заживем, Сенька? А?

А Сенька от умиления глаза как вылупил — так и остался: все слова позабыл.

У Мизюмина свадьба — на Красную Горку, и заказала ему благородная невеста, чтоб до свадьбы обязательно купил себе новые калоши. А то чистый срам: уж который год носит Мизюмин отцовские кожаные скробыхалы номер четырнадцатый. И как только Мизюмин на улицу — сейчас же за ним мальчишки:

— Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы!

Навязал Мизюмин чулок — и на Трубную пошел: чулки продать — новые калоши купить. Подвернулись Мизюмину щеглы в клетке: не щеглы — загляденье.

— Сем-ка я лучше щеглят куплю? Калоши-то еще крепкие...

Купил клетку, поднес невесте в презент:

— Вот чулки связал — продал, щеглят вам купил. Не побрезгуйте уж: от чистого сердца.

— Ка-ак? Чулки? И опять в скробыхалах? Ну, не-ет, терпенья моего больше нету. Подумать только: за чулочника замуж! Не-ет, нет, и никаких разговоров!

Прогнала Мизюмина с глаз долой. Надрызгался в трактире Мизюмин, вернулся домой пьян-пьянехонек, за стены держится...

А на стене — ждал бога таракан Сенька: умиленно слушать, как всякий вечер, что скажет бог.

Горькими слезами хлюпал, шарил рукой по стене почтальон Мизюмин. И ненароком как-то задел пальцем Сеньку, полетел Сенька торчмя головой в тартарары в бездонное.

Очнулся: на спинке лежит. Берега — гладкие, скользкие; глубь — страшная. Еле-еле, далеко гдей-то, потолок виден...

И взмолился Сенька своему богу:

— Вызволи, помоги, помилуй!

Нет, глубь такая — и богу, должно быть, не достать, так тут и сгинешь...

...Горькими слезами хлюпал почтальон Мизюмин, подолом розовой рубашки утирал нос.

— Сенька, Сенюшка, один ты у меня остался... И где же ты... И куда ж я тебя, милый ты мо-ой...

Нашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале. Пальцем выковырнул Сеньку из бездны — скробыхала номер четыр-

надцатый — и на стену посадил: ползи. Но Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо велик бог, до чего милосерд, до чего могуществен!

А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос.

## ДЬЯЧЕК

Слыхано ли, чтоб кто-нибудь по выигрышному билету выиграл, да не по газете, а взаправду, так, чтоб и деньги выдали? А вот выиграл же кураповский дьячек, Роман Яковлевич Носик, и вчерашнего числа получил в казначействе пять тысяч. Теперь — чисто царь: все может.

Роман Яковлевич Носик — сложения деликатного, и мысли у него — деликатные, возвышенные: насчет облаков, стихов господина Лермонтова. А в кураповской церкви — милее всего дьячку Моисей на горе Синайской, в облаках алых, золотых и линейных.

Всю ночь дьячек ворочался с боку на бок: что бы это такое ему теперь сделать? И то хорошо, и это не плохо, да надо что-нибудь такое повозвышенной. И никак не придумать.

Пошел утром в церковь, Моисею-пророку помолиться. Только увидал Роман Яковлевич нестерпимую синь синайскую и на самой маковке из облаков нездешний град — сразу и осенило.

Прибежал к дьячихе:

— Ну, мать, собирайся! Нонче выезжаем.

— Да ты спятил, что ли? Куда тебя буревая несет?

А дьячек от волнения уж вовсе невнятен:

— Жа-жалаю, чтоб, значть, к-как Моисей... На горе Синайской... чтоб, значть, облака...

Ехали, ехали, текала, охала, пилила дьячка всю дорогу дьячиха. Приехали, стой: Кавказ называемый. Гора — две капли воды — Синайская, и зацепились за маковку неописанной красы облака.

Только хотел дьячек на колени пасть — глядь, стоит телега парой, на грядушке — солдат кривой:

— Пожалте, Роман Яклич, я за вами.

— Чего такое? Кто послал? Куда?

— Я на маковку, в облака в самые... — и такой у кривого солдата глаз пронзительный, так насквозь и низает. Жуть, а ехать все равно надо: сел Роман Яковлич с дьячихой на телегу — и покатили.

Сорок дней — сорок ночей на маковку ехать. Дьячиха — знай себе подзакусывает да чай с молоком пьет. А дьячек — будто к причастью, не пьет — не ест, исхудал, лицом по светлел. Уж будто видать и соборы синекупольные, и зубцы белые, и завтра Роман Яковлевич, как Моисей — в облаках...

Под сороковой день ночью на постоялом лошадей кормили.

— Ну, завтра — чуть свет приедем... — И показалось, кривой солдат подмигнул: — Время есть, — может, назад повернуть?

— Что ты, кривой, господи помилуй! На самый напоследок — да повернуть?

Закрылись веретем да сверху армяком дьячковым, улеглись в телеге дьячек с дьячихой, погнал лошадей солдат. Дьячиха давно уже храпит, а дьячку — не до сна, сердце колотится, а нарочно глаза закрыл: потуда не откроет, покуда не осияет нестерпимая синь синайская, не запоют не здешние голоса...

И случился грех: уморился ждать, задремал дьячек, как и приехали, не учуял. Только слышит — гаркнул кривой солдат:

— Вставай, Роман Яклич, приехали!

Стал дьячек глаза разожмуривать, потихоньку-потихоньку, чтоб не ослепнуть. Раскрыл: мга, изморось, осень, слякоть...

— Ты чего ж, кривой, брешешь, чертов сын! Пре-е-хали! А облака-то где?

— А это самые облака и есть, друг ты мой Роман Яклич... — да как загогочет — и пропал, и нет никого: одна изморось, мга, туман.

## **ДРЯНЬ-МАЛЬЧИШКА**

Подарили Петьке игрушку: голубоглаза, маленькие ручки, шелковые кудри, разные там кружевца да прошивки. А уж это-то как замечательно: нажать хорошенько — и сейчас тебе скажет: «лю-блю», да еще и глазки голубые закатит.

Играть бы да играть Петьке да родителей благодарить: не всякому такие игрушки дарят. Так вот нет же: глупый мальчишка, больно уж умен не в меру. День поиграл, другой. На третий — пожалуйте:

— Отчего глазами так делает? Отчего пахнет хорошо? Отчего «лю-блю»?

Перочинный ножичек, да вспорол, да до всего и добрался — отчего что.

А только — ничего интересного, для томных глаз — шарики какие-то свинцовые; под розовым атласом — кожей — гнилые опилки; для «лю-блю» — резиновый пузырь с дудкой.

Зашили потом родители кое-как, да уж не то: «лю-блю»-то уж не умеет делать.

Петьку выдрали: глупый мальчишка — будет знать, как игрушки портить. Говорёно сколько раз: игрушки — для игры, а не хочешь играть, дрянь-мальчишка, отдай другому. А то ишь ты: внутри ему глядеть надо, ломать ему надо.

— Не ломать, не ломать, не ломать!

Так его.

## КАРТИНКИ

Пришел я к приятелю — денег займы просить. Ни самого нет дома, ни жены нету: вышел ко мне в залу мальчик, чистенький такой.

— Вы погодите немножко. Папа-мама сейчас придут.

А чтоб не скучал я, стал мне мальчик картинки показывать.

— Ну, это вот что?

— Волк, — говорю.

— Волк, верно. А вы знаете, волк, он травку не кушает, он овечков кушает...

И этак все картинки объясняет дотошно: ну смерть — надоел. Петуха раскрыл:

— А это что? — спрашивает.

— Это? Изба, — говорю.

Выпучил мой мальчик глаза, обомлел. Погодя кой-как справился, нашел мне настоящую избу:

— Ну а это что?

— А это — веник березовый, вот что.

Улыбнулся мальчик вежливо и доказывать стал: изба — зернышки не клюет, а петух — клюет, а в петухе — жить нельзя, а в избе — можно, а у веника — дверей нету, а у петуха...

— Вот что, — говорю, — милый мальчик: если ты сию минуту не уйдешь, я тебя в окошко выкину.

Поглядел мне в глаза мальчик, увидал — правда выкину. Заревел, пошел бабушке жаловаться.

Вышла бабушка в залу и стала меня корить:

— И как же вам не совестно, молодой человек? За что вы милого мальчика? Ведь он вам истинную правду говорил.

## АНГЕЛ ДОРМИДОН

Был такой глупый ангел, по имени — Дормидон.

Все ангелы, известно, — от дыхания божия:дохнет господь — и ангел,дохнет — еще ангел. А тут погода была плохая,чихнулось — и вылетел ангел от чоха,оттого и несуразный. Рыластый, глазами, это, все туды — сюды, туды — сюды, и на левой руке, на мизинце, кольцо с аметистом: ну под стать ли это ангелу-то? А как до дела — так ему чтоб сразу все, с бухты-барахты, а потом и завалиться дрыхнуть. Так уж его терпели на небе, из милости больше.

И приставили глупого ангела Дормидона за мужиком ходить. А мужик — тоже хорош: пьяница забубенный.

Ходил, это, ходил Дормидон за своим мужиком по всем целовальникам — никак толку нет.

«Ну, коли так, — думает, — ладно. До белой горячки тебя допою, а потом уж сразу и раскаю».

И мужику на ухо:

— Вали, брат, наяривай! Ну-ка, еще по одной!

И побежал мужик по деревне не в своем виде, без штанов, буйнит — мочи нет, а в руках цеп: за своей же, мужиковой, тенью с цепом гоняется.

А Дормидон в воротах, за вереей, с мужиковым братом спрятался, и оба за животики держатся:

— Ха-ха-ха! Так ее, такую-сякую! Так ее, лови!

Добежал мужик, тень — нырь в ворота. Мужик за ней:

— А-а! Еще гогочешь, проклятая! Ну, посто-ой...

Да как ахнет цепом сплеча! Ангелу-то чего подеется, а мужиков брат — так и свалился, как колос: мертвый.

Полетел глупый ангел с донесением: так и так, происшествие. Взмылили ему голову, как надобно, а он стоит себе да перстень с аметистом вертит: как с гуся вода.

— Ну, Дормидон, — говорит бог, — теперь уж как хочешь, хоть двадцать годов ходи, а чтобы у меня в рай мужика этого предоставил.

— Фу ты, господи: да неуж не предоставлю? Я-то? — и к мужику, на землю.

А день был базарный: пошли с мужиком доски покупать — мужикову брату на домовину, и веревок — домовину спускать.

Мужик тверезый, зленный — страсть! — Дормидон так и чешет.

— Во-от въелся, чисто репей в хвост собачий! Ты долго еще за мной будешь?

Дормидон — будто и не ему: знай перстень вертит. А у самого в голове, как гвоздь:

«И как бы это одним махом от мужика оттильдикаться?»

Глядь — цыган мимо, свинью на аркане волокет: свинья визжит, упирается, веревка длинная, белая.

Увидал Дормидон цыгана с веревкой — как по лбу себя хлопнет: батюшки мои, вот же... И мужику на ухо:

— Покупай веревку-то, покупай. Веревка-то какая: нигде такой не найти.

Купил мужик. И только, это, вышли с Дормидоном на выгон — ну который за базаром выгон — Дормидон хватить цыганов аркан мужику на шею — и поволоку.

Мужик — в голос:

— Батюшка! Ослобони, родимый! Брат не прибран лежит! Куда ты меня?

А Дормидону — потешно, ржет:

— Ну-ка еще? Ну-ка еще? Не-е-ет, не уйдешь! — так без пересадки в рай и приволоку.

Брыкался-брыкался мужик, а под конец — сел на землю колодой — и все: поди сковырни.

Почесался Дормидон, поплевал на руки — дюжий был — за аркан покрепче да как завьется с мужиком вверх. И ходу, все пуще, только ветер свистит. На мужика и не оглядывается: тяжело на аркане, стало быть, тут мужик, ну и ладно, а что утих — и того лучше.

Прилетел в рай, упыхался, ухмыляется Дормидон во весь рот: доволен.

— Вот он, мужик-то ваш. Предоставил.

Поглядели: а мужик лежит, не копнется, синий весь, язык высунут. Готов.

Осерчал тут господь — не приведи господи как...

— Предоста-авил! Дурак ты, дурак набитый! Сейчас — вон, и чтоб духу твоего не было!

Обчекрыжили Дормидону крылья — и на землю сослали. Пока, это, еще опять до ангелов дослужится.

## ХАЛДЕЙ

Сидел Халдей с логарифмами, тридцать лет и три года логарифмировал, на тридцать четвертый придумал трубу диковинную: видать через трубу все небо близехонько, ну будто вот через улицу. Все настояще видно, какие там у них жители на звездах, и какие вывески, и какие извозчики. Оказалось — все, как у нас: довольно скучно. Махнул рукой Халдей: эх... — и загóрился.

А уж слух пробежал про трубу халдееву, народ валом валит — на звезды поглядеть: какие там у них жители. Ну прямо додору нет до трубы, в очередь стали, в затылок.

И дошел черед до веселой девицы Катюшки: веселая, а глаза — васильки, синие. Околдовала глазами Халдея, пал Халдей на белые травы, и нет ему слаще на свете катюшкиных губ.

Катюшка и говорит Халдею:

— А небо-то нынче какое. На небо-то глянь!

— Да чего там, видал я: и глядеть нечего.

— Нет, ты погляди.

Хи-итрая: подвела Халдея к трубе не с того конца, не с смотрячего, а с другого, ну где стекла-то маленькие.

Глянул Халдей: бог знает где небо — далеко. Месяц маленький, с ноготок: золотой паук золотую паутину плетет и себе под нос мурлычет, как кот. А небо — темный луг весенний, и дрожат на лугу купальские огненные цветы, лазоревые, алые, жаркие: протянуть руку — и несметный купальский клад — твой.

И еще вспомнилось Халдею — когда маленький был: в чистый четверг на том берегу — от стояния народ идет, и несут домой четверговые свечи.

Сразу — тридцать три года и логарифмы с плеч долой. Набежали на глаза слезы, поклонился Халдей в ноги девице веселой:

— Ну, Катюшка, век не забуду: научила глядеть.

## ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

У слесаря Галамея в поясницу вступило: мочи нет, одолел ревматизм этот самый окаянный. Галамей и то, и другое, и на пороге ему баба поясницу обухом секла, и мазево всякое — ничего толку. Уж и за что взяться не знает.

А тут сосед какой-то возьми да и накапай ему в мозги про электричество: одно-де тебе и осталось лекарство — электричество от всех болезней может.

Утром чем свет Галамей взбодрился: одной рукой за поясницу, другою — сапог натягивает.

— Ты куда ж это ни свет ни заря? — баба галамеева спрашивает.

— А электричеством, — говорит, — лечиться пойду. Одно мне только теперь и осталось.

— Ой, батюшка, ты бы как полегче, дело-то такое — умеючи надо. Ты бы сперва к доктору.

— Дура-баба: а звонки электрические кто на почте наладил? «Ты-ы, батюшка...» Ну, то-то. И без доктора, мол-ка, управлюсь. У Галамея, брат, своя башка на плечах.

Взвалил проволоки медный круг — и пошел. Посередь самой Тамбовской остановился, штаны расстегнул, проволокой себя пониже пояса обмотал, а на другом конце крючочек сделал — и ждет. А рань еще, камни розовые, ставни закрыты, мальчишки в белых фартуках на головах корзины несут. И самый первый трамвай через мост гудит.

Услыхал Галамей, изловчился, накинул крючочек на самый на трамвайный провод: ну-ка, господи, благосло...

Ка-ак его шкрыкнет электричество это самое, заплясал, скрючило в три погибели — и наземь свалился.

Ну, тут, конечно, шум, гам, кондуктора, пассажиры выскочили, оттащили Галамея. За доктором. Тёр-тёр, кой-как доктор оттёр Галамея, открыл Галамей один глаз.

— Ну, как? — доктор спрашивает. — Как чувствуете?

— Ничего, — говорит, — не чувствую. Вылечился, слава тебе, господи.

И богу душу отдал.

## ХРЯПАЛО

Тряхнуло — посыпались сверху звезды, как спелые груши. Опустел небесный свод, стал как осеннее желтое поле: только ветер над желтой щетиной гудит неуютно, и на краю, на дальней дороге медленно ползут два черных человека-козявки. Так ползли в пустом небе солнце и месяц, черные, как бархатные ризы на службе в Великий Пяток: черные, чтоб светлее сияло Воскресение.

Тут-то и попер по земле Хряпало. Ступни медвежачьи, култыхается, то на правую ногу, то на левую. Мертвая голова вепря — белая, зажмуренная, лысая: только сзади прямые патлы, как у странника, до плеч. И на брюхе — лицо, вроде человеческого, с зажмуренными глазами, а самое где пуп у людей — разинается пасть.

В поле под озимое орал дед Кочетыг. Штаны пестрядинные, рубаха посконная, волосы веревочкой подвязаны,

чтобы в глаза не лезли. Глянет в небо дед: жуть. А пахать все равно надо. Такое уж дело.

И сзади Хряпало наперся на деда: глаза у Хряпалы только так, для порядку, а разожмурить не может, по чем ни попадя прет.

— Ты кто такой? — деду говорит, — где пуп у людей — разинул Хряпало пасть — брюхом говорит. — Ты чего на моей дороге? — другую пасть раззявил, вепрячью, — хряп: одни дедовы лапти наружи.

Еле-еле слышать, будто из-под земли, дедов голос:

— А хлеб как же? Хлеба не будет...

А Хряпало — брюхом:

— А мне наплевать... — только и видели деда.

На просеке девчушка Оленка цветы сбирала — первые колокольцы весенние. Мелькают босые ноги, белые между колокольцев, и сама, как золотой колоколец, заливаается: про свекровь-матушку, про лиха мужа, — за сердце берет.

Споткнулся Хряпало на Оленку:

— Ты чего на дороге? — хряп: одни пятки босые забились, белые.

Из глуби только и успела крикнуть Оленка:

— А песня...

— А мне наплевать, — пробрюхал Хряпало и последнее заглотил — белые пятки.

Где ни пройдет Хряпало — пусто, и только сзади него останется — помет сугробами.

Так бы и перевелась людь на земле, да нашелся тут человек, офеня, и фамилия у него какая-то обыкновенная, не то Петров, не то Сидоров, и ничего особенного, а просто сметливый, ярославский.

Приметил офеня: не оборачивается Хряпало, все прямо прет, невозможно ему оборачиваться.

И с ухмылочкой ярославской поплелся офеня тихонько за Хряпалой. Не больно оно сладко, конечно: не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато — верное дело.

За ярославским офеней и другие смекнули: глядь, уж за Хряпалой — чисто крестный ход, гужом идут. Разве только дураки какие, вовсе петые, не споашились за спину хряпалову от Хряпалы спрятаться.

Петых дураков Хряпало живо dokonчил и без пропитания околел, конечно. А ярославский народ зажил припеваючи и господа бога благодарил: жирная земля стала, плодородная от помета, урожай будет хороший.

## ОГНЕННОЕ А

Которые мальчишки очень умные — тем книжки дарят. Мальчик Вовочка был очень умный — и подарили ему книжку: про марсиан.

Лег Вовочка спать — куда там спать: ушки горят, щечки горят. Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают нам на Землю, а мы-то! Всякой ерундой занимаемся: историей Иловайского. Нет, так больше нельзя.

На сеновале — Вовочка и трое второклассников, самых верных: Иловайского — в угол. Четыре головы — над бумажкой: чертят карандашом, шу-шу, шу-шу, ушки горят, щечки горят...

За ужином большие читали газету: про хлеб, забастовки — и спорят, и спорят — обо всякой ерунде.

— Ты, Вовка, чего ухмыляешься?

— Да уж больно вы чудные: марсиане нам знаки подают, а вы — про всякую ерунду.

— А ну тебя с марсианами... — и про свое опять. Глупые большие!

Заснули наконец. Вовочка — как мышь: сапоги, брюки, куртку. Зуб на зуб не попадает, в окошко прыг! — и на пустой монастырский выгон, за лесным складом купца Заголяшкина.

Четверо второклассников, самых верных, натаскали дров купца Заголяшкина. Сложили из дров букву А — и запылило на выгоне огненное А для марсиан, колоссальное огненное А: в пять сажен длиной.

— Трубу!.. Трубу наводи скорее!

Навел мальчик Вовочка подзорную трубу, трясется труба.

— Сейчас... кажется... Нет еще... Сейчас-сейчас...

Но на Марсе — по-прежнему. Марсиане занимались своим делом и не видели огненного А мальчика Вовочки. Ну, стало быть, завтра увидят.

Уж завтра — обязательно.

— Ты чего нынче, Вовочка, чисто именинник?

— Такой нынче день. Особенный.

А какой не сказал: все одно не поймут глупые большие, что именно нынче начнется новая, междупланетная, эпоха истории Иловайского: уж нынче марсиане — обязательно...

И вот — великая ночь. Красно-огненное А, четыре багровых тени великих второклассников. И уж наведена и дрожит труба...

Но заголяшкинский сторож Семен в эту ночь не был пьян. И только за трубу — Семен сзади:

— Ах-х вы каналы! Дрова-а переводить зря? Держи-держи-держи! Стой-стой!

Трое, самых верных, — через забор. Мальчика Вовочку заголяшкинский сторож изловил и, заголивши, высек.

А с утра великих второклассников глупые большие засадили за историю Иловайского: до экзамена один день.

## БЯКА И КАКА

В печурке у мужика — пух утиный сушился. И завелись в пуху Бяка и Кака. Вроде черных тараканов, а только побольше, рук две, ног две, а язык один — дли-инный: пока маленькие были, сами языками, вместо свивальника, пеленали.

Хорошенькие такие, богомольные — мужик на ночь — Троеручице поклоны бьет, а Бяка и Кака сзади — спине мужиковой. Днем из избы сор носили; по престольным праздникам, в новых красных рубашечках, мужика поздравляли. И до масленицы было — как нельзя лучше.

На масленице — принес браги мужик: такая брага — все вверх дном. Рожи, хари, нечистики; ухваты — по горшкам, черепки; изба — трыкнула и самоходом пошла — куда глаза глядят. А мужик — без задних ног, и на брюхе — огарок догорает, потрескивает: вот-вот мужикова рубаха займется.

Бяка да Кака со всех ног кинулись: огарок тушить.

— Дапусти ты: я потушу.

— Нет тыпусти: я...

— Я мужика больше люблю: а ты — так себе, я знаю!

— Нет, я больше. А ты Бяка!

— Я — Бяка? А ты — Кака! Что, ага?

Да в ус, да в рыло — и клубком по полу. Катались-катались, а от огарка — рубаха, от рубахи — мужик, от мужика — изба. И с мужиком, с избой вместе — Бяка и Кака: от всего — одна сажа.

## ПЕРВАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правления. Сложены были в подполье старые исполненные дела, и слышит Ульян Петрович, околоточный, — все кто-то скребется, постукивает. Открыл Ульян Петрович: пыль — не прочихаешься, и выходит серенький, в пыли, Фита. Пола — преимущественно мужского, красная сургучная печать за номером на веревочке болтается. Младенец, а вида — почтенного, лысенький и с брюшком, чисто надворный советник, и лицо — не лицо, а так — фита, одним словом.

Очень Фита понравился околоточному Ульяну Петровичу: усыновил его околоточный и тут же в уголку, в канцелярии, поселил — и произрастал Фита в уголку. Понатаскал ему из подполья старых рапортов, отношений за номером, в рамочках в уголку своем развесил, свечку зажег — и молится, степенно, только печать эта болтается.

Раз Ульян Петрович приходит, — а Фита, глядь, к чернильнице припал и сосет.

— Эй, Фитька, ты чего же это, стервец, делаешь?

— А чернила, — говорит, — пью. Тоже чего-нибудь есть мне надо.

— Ну ладно уж, пей. Чернила-то казенные.

Так и питался Фита чернилами.

И до того дошло — смешно даже сказать: посусолит перо во рту — и пишет, изо рта у Фиты — чернила самые настоящие, как во всем полицейском правлении. И все это Фита разные рапорты, отношения, предписания строчит и в уголку у себя развешивает.

— Ну, Фита, — околоточный говорит, отец-то названный, — быть тебе, Фита, губернатором.

А год был тяжелый — ну какой там, этот самый: и холера, и голод.

Прикатил Фита в губернию на курьерских, жителей собрал немедля — ну разносить:

— Эт-то что у вас такое? Холера, голод? Й-я вас! Чего смотрели, чего делали?

Жители очесываются:

— Да-к мы что ж, мы ничего. Доктора́ — холерку подлечили маленько. Опять же к скопским бы за хлебом спсылать...

— Я вам — доктора́! Я вам — скопских!

Посусолил Фита перо:

— «Предписание № 666. Сего числа, вступив надлежаще в управление, голод в губернии мною строжайше отменяется. Сим строжайше предписывается жителям немедля быть сытыми. Фита».

— «Предписание № 667. Сего числа предписано мною незамедлительное прекращение холеры. Ввиду вышеизложенного, сим увольняются сии, кои самовольно именуют себя докторами. Незаконно объявляющие себя больными холерой подлежат законному телесному наказанию. Фита».

Прочитали предписание в церквах, расклеили по всем заборам. Жители отслужили благодарственный молебен и в тот же день воздвигли Фите монумент на базарной площади. И степенный, лысенький, с брюшком — похаживал Фита без шляпы кругом собственного монумента.

Прошел день и другой. На третий... глядь, холерный заявился в самую фитину канцелярию: стоит там и корчится, — ведь вот не понимает народ своей пользы. Велел ему Фита всыпать законное телесное наказание. А холерный вышел — и противоправительственно помер.

И пошли, пошли мереть — с холеры и голоду, и уж городовых не хватало для усмирения преступников.

Почесались жители и миром решили: докторов вернуть и за скопским хлебом послать. А Фиту из канцелярии вытащили и учить стали, по-мужицки: народ необразованный, темный.

И рассказывают: кончился Фита так же не по-настоящему, как и начался: не кричал, и ничего, а только все меньше и меньше, и таял, как надувной американский черт. И осталось только чернильное пятно да эта самая сургучная печать за номером.

Так Фита кончился. Но до конца еще умудрился столько дивных делов натворить, что одним духом и не сказать всех.

## ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

А был тоже в городе премудрый аптекарь: человека сделал, да не как мы, грешные, а в стеклянной банке сделал, уж ему ли чего не знать?

И велел Фита аптекаря предоставить.

— Скажи ты мне на милость: и чего-то мои жители во внеслужебное время скушные ходят?

Глянул в окошко премудрый аптекарь: какие дома с коньками, какие с петушками; какие жители в штанах, какие в юбках.

— Очень просто, — Фите говорит. — Разве это порядок? Надо, чтоб все одинаковое. Вообще.

Так — так так. Жителей — повзводно да за город всех, на выгон. И в пустом городе — пустили огонь с четырех концов: дотла выело, только плешь черная — да монумент Фите посередке.

Всю ночь пилы пилили, молота стучали. К утру — готово: барак, вроде холерного, длинный в семь верст и три четверти, и по бокам — закуточки с номерками. И каждому жителю — бляху медную с номерком и с иголки — серого сукна униформу.

Как это выстроились все в коридоре — всяк перед своей закуточкой, бляхи на поясах — что жар-птицы, одинаковые все — новые гривеннички. До того хорошо, что уж на что Фита — крепкий, а в носу защекотало, и сказать — ничего не сказал: рукой махнул и в свою закуточку, № 1. Слава тебе, господи: все — теперь и помереть можно...

Утром, чем свет, еще и звонок не звонил (по звонку вставали) — а уж в № 1 в дверь стучат:

— Депутаты там вашей милости, по неотложному делу.

Вышел Фита: четверо в униформе, почтенные такие жители, лысые, пожилые. В пояс Фите.

— Да вы от кого депутаты?

И загалдели почтенные — все четверо разом:

— Это что ж такое — никак невозможно — это нешто порядок... От лысых мы, стало быть. Это, стало быть, аптекарь кучерявый ходит, а которые под польку, а мы — лысые? Не-ет, никак невозможно...

Подумал Фита — подумал: по кучерявому всех — не поодинаковать, делать нечего — надо по лысым равнять. И сарацинам рукой махнул. Налетели — набежали с четырех сторон: всех — наголо, и мужеской пол, и женский: все — как колена. А аптекарь премудрый — чудной стал, облизанный, как кот из-под дождичка.

Еще и стричь всех не кончили — опять Фиту требуют, опять депутаты. Вышел Фита смурый: какого еще рожна?

А депутаты:

— Гы-ы! — один в кулак. — Гы-ы! — в другой. Мокроносые.

— От кого? — буркнул Фита.

— А мы, этта... Гы-ы! К вашей милости мы: от дураков. Гы-ы! Желаем, знычть, чтоб, знычть... всем, то есть, знычть... равномерно...

Туча тучей вернулся Фита в № 1. За аптекарем.

— Слыхал, брат?

— Слыхал... — голосок у аптекаря робкий, голова в ситцевом платочке: от холоду, непривычно стриженому-то.

— Ну как же нам теперь?

— Да как-как: теперь уж чего же. Назад нельзя.

Перед вечерней молитвой — прочли приказ жителям: быть всем петыми дураками равномерно — с завтрашнего дня.

Ахнули жители, а что будешь делать: супротив начальства разве пойдешь? Книжки умные наспех последний раз сели читать, до самого до вечернего звонка читали. Со звонком — спать полегли, а утром все встали: петые. Веселье — беда. Локтями друг дружку подталкивают: «Гы-ы! Гы-ы!» Только и разговору: сейчас вольные в чуйках корыта с кашей прикатят: каша яшневая.

Прогулялся Фита по коридору — семь верст и три четверти — видит: веселые. Ну, отлегло: теперь-то уж все.

Премудрого аптекаря в уголку обнял:

— Ну, брат, за совет спасибо. Век не забуду.

А аптекарь Фите:

— Гы-ы!

А ведь выходит дело — один остался: одному за всех думать.

И только это Фита заперся в № 1 — думать, как опять в дверь. И уж не стучат, а прямо ломаются, лезут, гамят несудом:

— Э-э, брат, нет, не проведешь! Мы хоть и петые, а тоже, знычть, понимаем! Ты, брат, тоже дурей. А то ишь ты... Не-ет, брат!

Лег Фита на кровать, заплакал. А делать нечего.

— Уж бог с вами. Дайте сроку до завтра.

Весь день Фита промежду петых толкался и все дурел помаленьку. И к утру — готов, ходит — и: гы-ы!

И зажили счастливо. Нету на свете счастливее петых.

## Чудеса

### О СВЯТОМ ГРЕХЕ ЗЕНИЦЫ-ДЕВЫ. СЛОВО ПОХВАЛЬНОЕ

Жены и девы да не презирают естества своего, мучения, ибо дверь отверста для всех, она же и дверь во спасение. Так и Зеница-дева, мучительному греху свое тело предавши, тем душу спасла есть.

Зеница-дева была млада и прекрасна, — всякого прекословия кроме — волосы же имела, как венец златый отрожденный, из злата червлена. Отец ея был мужик нарочитейший словом и делом, у него много коней, и рабынь много, и бисера много бесценного.

Ночью жаркой Зеница-дева, возжаждав, послала рабыню отца своего взять воды в студенце. Был тот студенец сладкой водой обилен, еще же обильней множеством змий, и ехидн, и скарпий. И, приняв водный сосуд, Зеница-дева с водой испила змею малу. Воспитана же в чреве ея, стала змея тучна и вздымала чрево девицы, будто была та плодна. Приводили кудесников многих земли родимичской и весей округних, даже до самых дулебов, но никто из них волшбами своими змею из девы не мог изгнать.

Был в те дни в земле готской муж некий, чудеса творивший многа и славна, имя же ему Улфил. Когда он пришел целить деву, кудесники стали прельщать его кознями пестрых словес:

— И ты не имеешь власти изгнать змею.

Он же им рек:

— Власть я имею, но власть моя не от готских богов, ниже от мерзких словенских, но от бога моего.

Сотворил знамение неведомое — и змея, покорившись, вышла из чрева Зеницы и, полежав немного, вид приняла сажди и пепла, чем все изумлены были немало.

Зеница же не токмо телом, но и душой исцелилась, познавши после того чуда веру истинную. И вяще отца своего и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых, и во вретницах сущих, и странных калик перехожих, — и с ними пребывала все дни, творя благостыню.

Во времени тому упещерились поля вешними цветами, Зеница же тем цветам была подобна лепотой нежной своей. Стрелой греховной уязвлены, многие мужи рода доброго и богатства немалого восхотели женою взять Зеницу-деву, она же, усмехнувшись, сказала им:

— Уже отдала я себя. Утром рано придите завтра — увидите.

Было еще солнце красно, как мед, и холодная сияла роса. И увидели: перед узорным крыльцом стояла нищая, серая череда.

— Убогих невеста я, но не ваша! — сказала Зеница мужам изумленным.

И так пребывала Зеница браконейскуною девою пять лет. По скончании пятого восстал в готской земле царь горделивый и злу изобретник, именем Ерман. И как ночь тьмою все наполняет, так наполнил и Ерман-царь воинами своими всю землю родимичскую, и древлянскую, и северянскую, и полянскую, и мерю, и весь, и чудь: от моря Сурожского и до моря Варяжского. И мужеский пол в землях тех истребляли нещадно.

Убегая смертной години, воины родимичские скрылись в лесах, окрест сущих. Жены же преданы были в руки враг беззаконных, неразумных варварских язык. И все жены, противлявшиеся нечестию распаленному воинов готских, были биемы нещадно жилами турьими, уды же нежные их опаляемы были повсюду лампадами огненными.

Зеница же в то время была скрыта в спрятанном тайном, изрытом в земле. Слыша стоны мучимых, Зеница сердцем своим доброчестным не захотела одна спастись. И вышедши из убежища, прилежно искала увидеть Ермана именуемого царя. Узрев вежу богатую, украшенную серебром и иными добротами, Зеница спросила:

— Здесь ли Ерман именуемый царь?

Привратник же захотел узнать вину пришествия девы.

— Единому только царю могу поведать про то, — Зеница отвечала.

Видя, что образом дева светла, волосы же у нея как венец златый, привратник пропустил ее в хлевину внутреннюю, где и был царь.

Был же Ерман, царь горделивый, по виду подобен некому дивию зверю. И никто взглянуть на него не мог, но клонился долу. Зеница же возрела твердо:

— Почто воинам своим не претишь, о беззаконниче, муками мучити жен?

Ерман же царь, разженный нежной лепотой девы, в молчании на нее смотрел, как лев, в пустыне видящий снесь. А заговорил словами услажательными и ласковыми:

— Возлюбленнице моя, хочешь, и тотчас воинам запрещу мучить жен? И клянусь словом своим: не только отпус-

тят их, но еще и брашна всякого им дадут. Знаю я, в пище у вас скудота, кроме лящи моченой нет ничего.

Зеница же возопила к нему:

— Молю, да будет по слову твоему!

Ерман же ей отвечал:

— Если и правда хочешь, да будет по клятве моей, приди и ляг на ложе со мною.

Воздела Зеница к небу стеблие белое рук:

— Люте мне, люте! Пелыня мне горше сия!

Помыслив же мало, в сердце своем решила: «не хульно будет сие спасению моему, но благо». И одежды совлекши, взошла на ложе цареву.

Узнав веру ея, царь Ерман злодушный поднял ее на стыд и подсмех:

— Где же теперь целомудрие твое доброчестно, заповеданное тебе верой твоей?

Дева же мудрая царю отвечала:

— Тленное телесе озлобление оскорбить меня только здесь, а там — телесное нечестие в честь мне будет, ибо гонимых ради то сотворила.

Клятве верен был Ерман-царь: прекратились в земле той стоны мучимых, прекратился голод.

И славили сирые все Зеницу-деву.

По прошествии тридцати дней, Ерман-царь возроптал на Зеницу:

— Почто от страстей невестягновенна ты? Почто цветы персей твоих от ласок не трепещут, и как камение нечувственное на ложе моем возлежишь?

Зеница же отвечала ему твердо:

— Тело мое, если хочешь, можешь взять, ибо оно есть тлен, душу же — нет, скверненник: душа нерастленна есть.

Распалился гневом великий Ерман-царь и в гневе том преступил свою клятву. Воздвиглись гонения вновь. Первее же всех повелел царь Зеницу взять и мечом усекнуть ей оба сосца, после же того в студенец ввергнуть, где, по предреченному, были змии многи, и ехидны, и скарпии. Когда же исполнено было злоумное повеление, Ерман-царь, поднявши перси усековенныя, лобызал их и плакался горько, даже всю ночь. И слышали стражи у красной вежи:

— Возлюбленная моя, чистота иния вяще и снега!

Три дня с молитвой и с терпением добриим Зеница пребывала в студенце, гады же ей не вредили. Трем же дням мимошедшим трус был великий и буря. Вода из студенца вон исплеснулась — и вынесла на берег Зеницу-деву, и змий, и ехидн, и скарпий.

И, расплзшись по веси всей, уязвлять начали гады воинов готских, и без того трусом смятенных. И как дивии лани от голоса человека, так побежали готы из веси той. Из лесов, окрест сущих, вышли мужи родимичские и преследовали по стопам, и многих от воинов готских побили. Опленению же земли родимичской тут скончание было.

Зеница же, чудом милостивым, стала цела, как бы и не были перси ея усековенны, красота же ея стала еще светлее. И так лет 6 пребывала, и уже преклонна днями была, образ же юной девы имела все тот же.

Когда же скончаться ей, близких всех пригласила:

— Чую, приблизилось время умертвия моего.

И, помолившись мало, уснула. Народ же весь плакался, и смятение было: как ее погребать? Ибо никто не знал обычаев веры ея. И еще дивились со страхом, что тело Зеницы не искрепло, но мягко, и светло, и благовонно.

И с говением многим ее погребли словенским обычаем: землею и камением насыпав место могильно, курган именуемое. На кургане камень воздвигнули обделан, изваяно же на камени том словесы эллинскими, и словенскими, и готскими:

«Здесь погребена есть Зеница-дева, сия грехом милосердным нас спасла есть».

## О ТОМ, КАК ИСЦЕЛЕН БЫЛ / ИНОК ЕРАЗМ

Сказанный инок Еразм еще во чреве матери посвящен был богу. Родители его долгие годы ревностно, но тщетно любили друг друга и, наконец, истощив все суетные человеческие средства, пришли в обитель к блаженному Памве. Вступив в келию старца, жена преклонила пред ним колени, и стыд женский запечатал ей уста, и так молча предстояла старцу. Но блаженному Памве и не надо было слов: от юности тленные женские одежды были ему как бы из стекла, и сквозь них тотчас увидел он горькие бесплодием ложесна женщины.

— Оставь скорбь, женщина, — сказал ей старец. — Сядь здесь и раздели со мной трапезу.

Так сказав, взял печеную рыбу, вынул молоки и, благословив, подал их женщине. Та со слезами и верой причастилась благословенной пищи и внезапно ощутила в себе трепетание, как если бы приняла мужа в лоно свое.

Когда увидел старец Памва, что уже вновь раскрылись завеженные очи ее и пурпур вновь окрасил побледневшие на малое мгновение ланиты, он улыбнулся ей, сказав:

— Отныне муж твой уже не будет подобен пахарю, возделывающему песок, и труд его принесет плоды. Но первенца твоего, когда он научится петь хвалу зародившему его и зарождающему тьмы, — первенца своего ты приведешь в обитель и оставишь мне.

После того много раз солнце вставало над обителью и сеяло золотое семя свое в синий снег и в черные весенние недра, вздымалось стеблие трав и, совершив заповеданное, вновь клонилось долу. И лишь старец Памва был по-прежнему прям, как крестное дерево кипарис, и все так же крепок был серебряный венец его мудрых седин, и многих исцелял убогих мужей, и одержимых бесами, и неплодных жен, в чем видели иные силу вкушаемой старцем благословенной пищи.

И в тот день пятидесятницы, совершив положенные службы, вышел старец Памва из храма. Рачением братии белые плиты перед храмом были усыпаны весенними благоуханными травами, и венками были увенчаны кресты на могилах почивших и ныне сорадовавшихся вместе с живыми иноков. И украшенные зеленым венком предстал блаженному Памве златоволосый отрок, ведомый за руку женщиной.

— В сей день брачный земли — войди и живи с нами, отрок Еразм, — сказал старец Памва и уже поднял руку благословить отрока, но в тот час два беса, принявшие образ голубиный, сев на кресте могильном и уронив на землю венок, предались плотскому неистовству.

— Он ее заключет! Освободи ее, добрый старец! — вскричал отрок Еразм к блаженному Памве.

Старец Памва поднял глаза на бесов — и те истаяли дымом на виду у всех, не окончив своей неподобной игры. Старец же возложил на Еразма руку, сказав:

— Счастлив удел твой, брат Еразм, и тяжел он, ибо уже раскидывают над тобой бесы свою сеть, но они ищут лишь ценной добычи.

И, чтобы блюсти Еразма от козней бесовских, блаженный Памва поселил его в своей келье. Юный инок Еразм служил старцу, подавая ему воду для омовения, скудную пищу, кадила, свечи и не раз видел, как он целил больных и прозревал душу приходивших к нему, как если бы одежды и само тело их было из стекла.

— Как смотришь ты, отче, чтобы читать в душах их? — спросил старца Еразм.

— Я смотрю в глаза, — отвечал старец Памва. — Тело человека — все обитает в этом мире, и только глаза его — суть колодцы, проникающие с поверхности этого мира в тот мир, где их души. Как разноглубоки колодцы в земле, так разноглубоки они в человеке. И чем глубже, тем ближе к обителям божественным, но и к вратам преисподней.

— А у меня? — спросил инок Еразм.

Но ничего не ответил мудрый старец, погружившись в молитву. Ибо не видел дна в тех синих колодцах, прикрытых сверху легким, непрочным наметом ресниц. Так искушенный путник опасно ходит по неведомым дорогам, минуя влекущие нежной зеленью места, чтобы не погрузиться в коварную хлябь.

Вскоре инок Еразм стал весьма искусен в чтении и письме. И когда блаженный Памва уставал от молитв, и от бесед с приходившими искать мудрости его, и от борений с неустанно, как мухи, осаждавшими его бесами, инок Еразм читал ему вслух нечто от библии, или от житий святых отец наших, или от Цветников и Изборников отеческих. Был голос у юного инока чистоты, подобной звенящему с высот горнему крину, и как на пути быстрых вод горнего крина спаленный солнцем холм облекается зеленой одеждой, упещренной белыми и багряными и синими, как твердь, цветами, — так поливались сладким и буйным соком читаемые Еразмом слова. И слыша их странную и как бы уже не божественную прелесть, старец Памва прекращал чтение, говоря:

— Я помолюсь, Еразм. Выйди и читай один.

И уже вовне келии, на белых и горячих от солнечного дыхания камнях, вновь раскрывал Еразм залитые восковыми слезами листы древней книги и читал от нее. И упоенный вином словесным, не слышал, что творилось вокруг, и не видел и не ведал, что есть чтение его.

Однажды в такой час, истомившись зноем, поднял блаженный Памва ставень в келье и остановился изумленно, услышав за окном тяжкие вздохи и стенания как бы огромного зверя. Вышед, увидел он Еразма на ступенях келии с книгой, а кругом — иноков, юных и зрелых и старцев, и как бы от чрезмерного бега — лица у них красны, а дыхание часто, и многие стенали от неистовой некой муки и яростно, оберучь, охватывали белое тело берез и, упав ниц, лобзали круглые, подобные чреву камни.

— Что, безумный, сделал ты с ними? — спросил старец во гневе.

— Я читаю им от священных книг, — ответил просто-душно Еразм.

Полагая, что нашептанный бесами юный инок осквернил себя ложью, старец Памва подступил ближе и, опустив взор свой на листы древней книги, увидел, что неправо помыслил так об Еразме, ибо он читал Песнь Песней мудрейшего среди смертных и пророка пред господом. Тогда уразумел блаженный старец, что инок Еразм невинен, но вина братии, и сказал им:

— С какими помыслами вы, нечестивые, слушали слова о божественной любви к чистой невесте нашей церкви?

Но братия молчала.

— Поднимите, злодушные, ваши очи вверх и увидите.

На краткое мгновение, по молитве блаженного Памвы, отверзлись их духовные очи и увидели все: невысоко, на уровне кровель обительских, клубилась над ними тяжкая туча, пронизанная вся красным, как кровь. И еще, погода мало, увидели, что это не кровь, но клубы тучные-тучные свисали в виде женских персей, с обращенными вниз остриями сосцов, и волновались клубы в виде чашеподобных лон и увитых легкой тканью лядвей и чресел.

Пораженные видением, иноки безмолвствовали. А туча бесовской прелести, по мановению блаженного старца, содрогнулась и пролила некий смрадный, густой и белый, как молоко, дождь.

— Видите, что сеете вы помыслами своими? — спросил их блаженный Памва.

— Простите, отче, видим, — отвечали устыженные иноки.

И с того дня юный Еразм запрещен был Памвою в чтении книг, но приставлен к иному делу, где бесы уже не могли обратить во зло лепоту его нежного голоса. Под неусыпным надзором старца инок Еразм стал обучаться писанию икон.

Опасаясь бесовских козней, старец Памва отделил Еразма от прочей братии, затворив его в малой келии, и уже никто не видел и не слышал Еразма — только старец. И были стены в той келии белы, как одежды браконейской девы, и было малое, одетое решеткой окно. После полудня ложилась на стене тень от решетки, поступью неспешной шла все выше, и в час, когда река раскрывала солнцу лоно свое, останавливалась тень на сводах и гасла, а внизу, на девственной одежде стены, проступало багряное, как от крови, пятно. И, снедаемый неведомым горением, приближался инок Еразм к стене и осязал багряное пятно, как бы

ожидая нежной кровью окрасить персты. Но наутро, как прежде, сияла стена цветом невинности, и, входя в келию, тайно радовался старец Памва, что даже самый вид стены должен убелять помыслы юного инока, и радовался, видя, с каким тщанием и искусством прилежит он к великому и божественному делу писания икон.

В то время случилось блаженному Памве исцелить некую знатную жену — именем Мария, — власть над нею имел бес, толкавший ее к неудержному и несытому любодеянию. И всего лишь трижды коснувшись перстом ее палимого блудным пламенем естества, насытил ее покоем блаженный старец и освободил от власти бесовской. Было же имя той жены в честь преподобной Марии Египетской, и сказала жена, исцелев, старцу:

— Молю тебя, отче, если имеешь кого, искусного в писании икон, повели ему написать житие преподобной Марии и страстные муки ее и изящные деяния в пустыне египетской. По написании же я, заключив себя в келии, со слезами буду взирать на образ жития преподобной и потщусь идти по стопам ее.

Блаженный Памва в тот же день призвал Еразма и спросил его, сказав:

— Знаешь ли ты страстное житие преподобной Марии Египетской?

Еразм же ответил:

— Прости, отче, не знаю.

И дал ему старец разогнутую книгу Четий-Миней и указал читать житие преподобной. И читал Еразм весь день, оставив нетронутой пищу. Вот уже вечер, погасла на сводах келии тень от решетки. Зажег лампаду Еразм и вновь читал, как прекрасная телом дева сетью красоты влекла юношей и мужей александрийских на ложе свое, и как на обуреваемом волнами корабле опаляла всех несатым огнем страсти своей, и как, заточив себя в пустыне, снедаемая жаждой смещения, взывала о помощи к небесному жениху.

И этот последний ее лик — в пустыне, с очами, задернутыми легкой мглой, какая повисает над палимой неистовым зноем далью, с устами, разверзшимися, как иссохшая без дождей земля, — этот лик преподобной написал Еразм в середине образа. У ног ее — желтый песок и травы и цветы, сожженные зноем, истекающим от солнца или от тела преподобной, скрытого под тонкой белой одеждой.

И не слышал Еразм, как в клеть к нему вошел старец Памва и стал за плечами его, как бы ангел-хранитель. Долго

смотрел блаженный старец на образ преподобной и сказал Еразму:

— Похвально рачение твое, и вижу на тебе печать дара божия («Точно ли божия?» — помыслил про себя старец). Но есть еще несовершенство в писании твоём: прекрасен лик у преподобной жены, но под хитоном ее вижу я тело не жены, а мужа, ибо еще юн ты и еще должен увидеть тайны созданной господом из ребра адамова.

Так сказав, вышел старец: уже проступала вечерняя кровь на непорочно-белой одежде стены, и чугунное било звало братию в храм. Еразм же разрешен был старцем от церковной молитвы и остался в келии один. Опечаленный, пал Еразм перед образом и жарко молился, вопия:

— Умилосердись, преподобная, научи меня познать честное тело твое, дабы мог я достойно прославить тебя.

Но здесь услышал он сзади тихий, едва слышимый смех. Обратившись, изумленный, искал он, кто мог войти в келию, — и увидел лишь на решетке окна двух играющих голубей. В тот же час вспомнил Еразм голубей на могильном кресте в день пришествия своего в обитель, осенил себя крестом — и голуби растаяли в розовом небе. Но вновь услышал тот же смех, уже более близко и явственный.

И тогда, возле освещенной солнцем стены, как бы вышедшую из стены, узрел инок Еразм неведомую деву. Была она в белой одежде, но на белом там и здесь цвело розовое, как на стене от солнца, пятно.

— Кто ты? — спросил инок Еразм, удерживая руками сердце, содрогающееся от страха и иного, неведомого, трепета.

— Имя мне — Мария, — отвечала дева. — Я жила в Египте. И вот по молитве твоей я послана к тебе.

Пораженный чудесным знамением, Еразм упустил даже вновь осенить себя крестом, но тотчас, припав, стал лобызать одежду явившейся девы.

И ощутил запах — неведомый, но как бы всегда живший в его сердце до того часа. И все взыграло в Еразме и устремилось неудержимо к преподобной деве, как неудержимо восстает к солнцу напряженное весенним соком стеблие трав. Устыженный, отошел Еразм и, опустив глаза, тщился оправить свою одежду так, чтобы не узрела святая дева волнения его.

Но дева назвала его по имени, — голос ее пронзил сердце Еразма, как некий сладостный меч, — и так сказала Еразму:

— Почто, неразумный юноша, смущается сердце твое? Приблизься. Ужели забыл ты наставления учителя твоего

Памвы и забыл, зачем я на краткий срок послана тебе?

Тогда Еразм, преступив свое смущение, приблизился к девае, с трепетом развязал ей пояс и отстегнул запон вверху. До половины спал с нее белый хитон, и предстала перед Еразмом неведомая ему дотоле тайна персей. Были они как две волны, чудесным велением Божиим высоко восставшие на спокойном море, а оседающее за край земной солнце на острых вершинах тех волн зажгло алые пламена. И радуясь уведанной премудрости творца, Еразм, следуя наставлению старца Памвы, стал со тщанием изучать открывшееся. Подобно апостолу неверному Фоме, он не верил зрению только, но погружал свои персты в нежные и прохладные волны и всякий раз все глубже ощущал в сердце своем сладостный меч, и как бы в некоей блаженной смерти истекает из него жизнь.

— Но еще не все ты познал, — сказала, улыбаясь, дева. — Спешите же, ибо лишь на краткий срок я послана к тебе.

И, весь трепеща в предчувствии тайны еще прекраснейшей и нежнейшей, юный инок отстегнул нижний запон. Но в тот час, когда готова была уже последняя тайна предстать перед ним, услышал он легкий, как бы от лопнувшего сосуда, звон, и дева бесследно исчезла. А в дверях келии увидел Еразм блаженного Памву. Был он гневен, и седые брови его были распростерты, подобно воскрылию, и весь он был как грозная, летящая на защиту птенцов своих птица. И громким голосом спросил Памва, сказав:

— Что делал ты, безумный? И кто был с тобой?

И, не таясь, все рассказал Еразм мудрому старцу: как со слезами молился он, чтобы преподобная дала познать ему тело жены, да прославит он достойно ее честное тело, и как по молитве явилась ему она, и как узнал он все, кроме лишь некоей последней тайны.

Немало смущен был блаженный Памва тем, что поведал Еразм, ибо не имел старец твердой веры, что от бога было видение это Еразму, а не от беса. И мудро сказал Еразму:

— Возблагодари пославшего тебе помощь в труде твоём для прославления преподобной. Но помни: ту, последнюю тайну — не лети иноку знать, и тебе в художестве твоём тайна та не нужна. Иди же и спи с миром.

Но не мирен был сон Еразма, было его ложе — из углей, и до утра ощущал он неизмеримое, непреклонное устремление к той, последней тайне, и до утра погружал он персты в жемчужные, чудом восставшие на спокойном море волны. А наутро, сотворив обычное иноческое метание перед старцем, омыл он кисти и, трепетно вспоминая открывшее-

ся вчера, приступил к исправлению того, что было указано наставником его в художестве — блаженным Памвой.

Вскоре окончен был образ. Со вниманием смотрел его блаженный старец и увидел, что теперь преподобная не только ликом, но и телом была женою из жен, и даже помнилось старцу, что сквозь облачно-белые ее одежды тлеют остриями легчайшего пламени перси. Но о том не сказал Еразму, помыслив про себя, что лишь видит он, как обычно, сквозь одежды женские, как если бы были они из стекла. И, взмахнув воскрылием бровей, благословил Еразма, сказав:

— Вижу, горением к преподобной полон дух твой. Не гаси же горения того, пока не кончишь писания образа.

Но, если бы даже и хотел, уже не мог Еразм погасить в себе горения того. Старец же Памва по сих словах оставил обитель, призванный к одру недугующего князя той страны. Выходя из врат, еще раз оглянулся блаженный старец на золотые среди зелени главы храма и увидел: повисши на ветвях древних схимниц-лип, гроздьями качаются бесы, как отроившиеся пчелы. И содрогнулся старец от темного предчувствия новых и небывалых бесовских козней, но выйти из воли князя не мог.

В отсутствии Памвы пищу Еразму приносил большой хлебный старец именем Сампсон. Был он, как древний Сампсон, велик и мощен телом во всем до последнего, и не было у него растения волос ни на голове, ни на лице и нигде на теле, отчего был он как бы дважды наг, и по велению Памвы, даже в летнюю пору, носил он на себе не менее трех одежд. А от вида женского, хотя бы и не в естестве, но лишь в изображении, бывал он буен без меры. И опасаясь того безмерного буйства, Еразм принимал от хлебного старца пищу сквозь дверное отверстие.

С утра весь тот день пламень источался от солнца; от суши великой вдали, за озером, горели травы и леса. И как бы вместе с травами изгорал, не сгорая, Еразм, и на гладком кипарисовом древе возникали огненные образы страстного жития преподобной.

Двери в храмину, и у дверей тех — длинная череда юношей и мужей александрийских, с почерневшими от жажды лобзаний устами — как бы череда воинов, уже подъявших закаленное огнем оружие и ждущих ринуться на врага, чтобы насмерть пронзить его тем оружием. И ниже, в золотом обрамлении — самая храмина, бедная и белая, ибо в бедности жила преподобная и не взимала мзды за красоту тела своего. В храмине — убогое и роскошное ложе

из трав, а на зеленом ясписе трав — золотой плод: нагота преподобной, и жалят взор четыре расцветших алыми чашами цветка. Но тайну уст и персей, по сказанному, уже знал Еразм: четвертой же, последней тайны не ведал еще юный инок и не из двух, но из трех алых лепестков сложил он эту последнюю тайну, отчего для взиравшего была она еще губительней и необоримей. И в новом обрамлении из красного золота цвели те цветы на обуянном бурями корабле, и корабельщики, забыв о волнах морских, вздымались и падали на иных, огненных волнах. И далее, в опаленной, соломенно-желтой пустыне преподобный Зосима встречал Марию и, в страхе совлекши с себя одежду, бросал ей, дабы не погибнуть, увидев прелесть наготы ее, но ветром пустынным уносило одежду, и стоял Зосима, прискорбно опустив глаза долу на разжение свое. И так, до самого блаженного преставления преподобной Марии, написал Еразм все ее страстное житие.

Был налитанный солнечной кровью закатный час, когда он кончил все. В тот час, как обычно, хлебный старец Сампсон принес Еразму вечернюю трапезу. И, восторгнутый от всех мыслей и опасений ежедневных, кричал Еразм к старцу, сказав:

— Велик час скончания пути! Войди, брат Сампсон, и скажи мне, как видишь.

— Опасно мне, брат, — отвечал Сампсон сквозь дверное отверстие.

— Войди, говорю тебе, — с нетерпением и гневом сказал Еразм.

И, чтобы не вводить в гнев брата своего, вошел Сампсон. И увидев, покачнувшись на ногах, как если бы обременны были ноги его некоей внезапной тяжестью, и, взревев яростно, пал ниц и сверлил холодный земляной пол келии. В страхе взял Еразм сосуд с принесенной ему старцем водой и вылил ту воду на неистового Сампсона. Тогда встал Сампсон, разодрал на себе одежду и, дважды нагой, воскликнул:

— Горе мне, окаянному! Вотще сила моя исходит!

И пробив келейную дверь, вышел вон. И настала ночь, страшная происшествиями и знаменьями. Среди дымной тьмы, освещая себе путь восковыми свечами, бегали иноки, напинаясь на могильные кресты. В дальнем углу, за хлебным подвалом, открывалось и вновь закрывалось огненное окно: там ковали хлебного старца Сампсона в цепи, дабы не повредил он деревьев и утвари и строений обительских, ибо мог он силою своею прободать все. А несколько выше

кровель, там, где некогда повисла показанная Памвой туча, всю ночь слышался легкий, как бы от щекотания, смех и скрип некий, и капала вниз ужасная, подобная черной смоле, роса.

Встало солнце, багровое сквозь дым, и увидели: в ночь, неким чудесным изволением, расцвели все деревья и травы, широко отверзая алые и розовые, как тело, и белые, как жемчуг, чаши и источая прелестные благоухания. И повсюду — на деревьях, и в чашах цветов, и на крестах могильных, и на решетках окон, и в сосудах для питья, и на плечах иноков — повсюду видны были акриды, с крыльями как бы из небесной радуги, и трепетали крыльями, соединившись попарно.

Не слыша обычного заутреннего била, но вместо того — смятение и вопль, вышел Еразм к братии и сказал:

— Что мятетесь, братие? Не бойтесь, но возьмите из келии моей образ чудесно явившейся мне преподобной, и она, верую, исцелит вас.

И, сказав так, вновь затворился Еразм в своей келии, помня послушание, положенное на него старцем Памвою. Братия же, по слову Еразма, взяла написанный им образ Марии Египетской в житии и, водрузив образ перед вратами обители, построила над ним сень из цветов. Но лишь начали молебное пение и с надеждою вознесли свои взоры на образ, как явственно увидели пламенеющие на распросертном золотом теле четыре алых цветка — и последний четвертый, волею и неведением Еразма сложенный не из двух, но из трех лепестков. И внезапно обуял всех огонь страстный, и были все, юные иноки и равно древние старцы, как те мужи александрийские у дверей храмины, ждущие войти к преподобной.

И в тот же час оставленный без стражи Сампсон порвал крепкие цепи и, прободав все на пути, явился пред братией, дерзновенно, на глас четвертый, исповедуя жажду смещения. Вратарь же, услышав как бы молитвенное песнопение, открыл врата многим чаявшим войти в обитель женам и девам и мужам мирским. И все вошли, и на травах, на чистейших доселе плитах во дворе обители, на ступенях келий, под сенью расцветших за ночь кустов — всюду началось неслыханное. И, как ночью, вновь слышен был на высоте кровель смех как бы от щекотания и скрип и шепот.

Но лишь один, возвратившийся от князя той страны, старец Памва видел над обителью тучи веселящихся и скачущих и плещущих крыльями бесов. И более того: никто из

отдоленных бесами иноков не видел гневного лица старца, ни взмахнувшего, как бич, воскрылия бровей его, и никто не слышал его громких, устыжающих слов.

Тогда уразумел старец, что на малый час победили бесы и что, пока не истребит он бесовского огня в творящем, того не ведая, соблазны юном Еразме, — до того часа будут в обители властвовать бесы.

И вошел старец в свою келию и из своей келии — в келию Еразма. И увидел Еразма — единого в обители без жены возлежащего на ложе своем. Но ланиты его были палимы невидимым огнем, и иссохшими устами пил он от неведомой ему четвертой тайны.

Затворив двери и окна, дабы не смущать сердце свое шепотами и шорохами неистовства, долго молился блаженный Памва. По молитве же сошло на него разумение, и услышал он голос как бы внутри себя, говоривший: «Спусти стрелу, и ослабнет тетива, и уже не будет более смертоносен лук». И сказал себе: «Истинно так». И вновь молился, и предстала пред ним являвшаяся Еразму дева, именовавшая себя Марией. Взял старец за руку ту деву и ввел ее в келию Еразма и сказал ему так:

— Встань, Еразм. По милости своей вновь является тебе преподобная дева. Возьми же ее и уведай четвертую, последнюю тайну. Ибо вижу я ныне: изображающему творение — надлежит ведать все тайны творца.

И увидел, как совлек Еразм с нежного тела одежду и, вновь коснувшись трех первых тайн, со стенанием погрузился в последнюю.

И погрузилось солнце в воды озера за обителью, и на невинной белой одежде стены проступило красное, как кровь, пятно. И в то же мгновение опали цветы с деревьев и трав, истлели радужные крылья акрид, истаяли бесы, как воск, и, устыженная, во тьме разошлась братия по келиям. Блаженный же Памва вышел во двор обительский и, благословив, отпустил изнеможенных жен и дев, сказав им:

— Идите с миром, ибо ничто в мире не творится без изволения творца, даже и грех, и все ко благу.

С того дня как бы отпали от Еразма невидимые бесовские цветы, и исцелел он от бывшего в нем одержания. Безбоязненно отпустил его старец Памва жить с братией, и когда читал во храме Еразм — не было уже соблазна от чтения его, когда писал он лики святых — то писал, как все, во славу Божию, а не дьявольскую. Память же о темных соблазнах бесовских, о страшных знамениях и необычайных

происшествиях молитвою блаженного Памвы была истреблена, как весенний снег солнцем.

И лишь я, недостойный схимник Иннокентий, с благословениями мудрого старца, записал все к назиданию и руководству игуменов нашей обители. Простым же инокам не дозволено чтение сей записи.

## **О ЧУДЕ, ПРОИСШЕДШЕМ В ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ,**

а также о канонике Симплиции и о докторе Войчке, потому что это чудо случилось именно с каноником Симплицием, а доктор Войчек был единственным в мире человеком, какому суждено было видеть все это с начала до конца.

Поверить в то, что чудо было когда-то с кем-то, — я бы еще мог, и вы могли бы; но что это теперь, вчера, с вами — вот именно с вами — подумайте только! И потому, когда вечерами доктор Войчек приходил к канонику и они садились за домино, каноник всякий раз спрашивал робко:

— А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах? Может быть, такие случаи бывали — хотя бы в древности?

Доктор Войчек щурил свои зеленые козы глаза, рот его полз, пугая улыбкой Симплиция. Так минуту, две. Затем Войчек крутил по привычке на лбу свои рыжие волосы — вот справа и слева торчат уже рыжие рожки — Войчек разводил руками:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо. Я бы и сам хотел — не меньше, чем вы, — чтобы это как-нибудь все... Но этими самыми руками... Да что там! Н-ну, а как ваш...

Каноник Симплиций знал — о чем дальше, секунду он был дичью на вертеле над медленным огнем — доктор медленно закуривал папиросу.

— ...как же ваш архиепископ? Здоров?

— Благодарю вас, благодарю вас. Я был у него вчера — он чувствует себя прекрасно.

Об особом благоволении к канонику архиепископа Бенедикта знали многие, и никто этому не удивлялся: чье сердце не раскрылось бы настезь, если бы туда постучались глаза каноника Симплиция — эти два младенца, удивительно засунувшие в рот свои пальчики? Или нет — может быть, даже не это: может быть, главное — ямочки у кано-

ника на щеках, да, наверное так. А архиепископ Бенедикт... что ж: в конце концов, и он — человек.

Очень серьезно, разве только чуть пошевеливая рогатой улыбкой, доктор Войчек говорил:

— Дорогой мой, если вас смущает мысль о будущей жизни, о возмездии и о прочем — что понятно, — то я могу вас успокоить: это будет во всяком случае не скоро. Есть вернейший способ продлить жизнь до любого срока.

— То есть как?

— А так. Вы помните: архиепископ рассказывал, что когда он приехал в Рим — ему пришлось перевести стрелки на своем брегете больше чем на час назад, — лишней час жизни, понимаете? Если вы приедете в Лондон — вы прибавите к жизни уже два часа, в Нью-Йорк — целых шесть часов, и так далее. Словом, если вы будете все время ехать отсюда к западу, вы будете прибавлять к своей жизни дни, недели, годы — вообще сколько захотите. Вернейший способ!

Ямочки; младенцы, удивленно засунувшие розовые пальчики в рот. Да, странно, но как будто — так. Цифры: что же тут скажешь. А главное, каноник Симплиций уже привык к этому: каждый вечер, уходя, доктор Войчек оставлял в голове у каноника такой вот гвоздь, каноник ворочался в постели, думал, думал, поворачивал гвоздь и этак и так: нет, Войчек — прав, Войчек — ума необычайного. И конечно, к кому же, как не к доктору Войчеку, было обратиться, когда с каноником началось э т о.

Началось это первого августа, во время мессы, в день вериг апостола Петра. За неделю до того каноник был у архиепископа Бенедикта. Только что вернувшийся из Рима архиепископ был особенно ласков: угощал колючим асти, медленным, густым напитком братьев бенедиктинцев, розовой, как младенец, римской лангустой. Обо всем этом и о многом другом каноник рассказывал потом доктору Войчеку, ничего не скрывая — как на исповеди, хотя, может быть, происходившее в этот вечер у архиепископа никакого отношения ко всему дальнейшему не имело. Во всяком случае, в день вериг апостола Петра во время мессы каноник Симплиций в первый раз почувствовал, что он, кажется, болен: кружится голова, в животе какая-то тяжесть.

День первого августа был желтый, жаркий, народу много, густой и трудный воздух. Когда каноник поднял сверкающую золотыми лучами гостию и произнес: *Corpus Domini Nostri custodiat...* — он увидел, что какой-то женщине дурно, ее ведут к дверям. И в ту же секунду у него самого каменный

пол под ногами стал мягкий, ватный, орган — где-то за тысячу верст, в глазах — паутина. Только до крови закусив себе губу, каноник удержался от того, чтобы не упасть, как эта женщина, и довел до конца мессу.

\*

Как янтарные четки — дни: одинаковые, прозрачные, желтые. И четки из холодного осеннего хрусталя, четки из снежно-белой слоновой кости. Все та же тяжесть — теперь уже привычная, и внутри — легкая, пожалуй, даже приятная боль. В остальном каноник был здоров, ему говорили даже, что он полнеет.

Однажды вечером, за домино, доктор Войчек пристальней, чем всегда, вщурился в каноника своими зелеными козьими глазами:

— А знаете, дорогой мой, мне не нравится ваш вид. Вы бледны. В чем дело?

Каноник рассказал — о мессе, о том, как ему стало дурно, об этой боли в животе.

— Разденьтесь-ка. Да раздевайтесь же, говорю вам! Подумаешь, целомудрие! Небось, когда ваш архиепископ...

— Нет, нет — я сейчас, сию минуту.

И — тело: в спальнях у женщин такие бывают кресла, обитые розовым шелком, с теплыми ямочками, складочками, живые — может быть, иногда даже заменяющие своих хозяек. Доктор Войчек острее закрутил свои рыжие рожки, пополз к ушам улыбкой. Но через минуту — серьезен, нагнулся, приложил ухо к обитому розовым шелком телу, пощупал живот.

— Та-ак... Слушайте: чего ж вы до сих пор молчали?

— Да я как-то... Мне говорили, что я даже пополнел. А что?

— А то: придется вас резать.

Ямочки; младенцы, испуганно засунувшие пальчики в рот.

— Но почему же? Что у меня такое... ради девы Марии!

— Боюсь, что... Впрочем, вот взрежем — тогда скажу.

— Нет, доктор: что-нибудь серьезное?

— Как сказать: когда вспухнет живот у бабы — это дело не серьезное, а когда у нас с вами — тут уж не до шуток... Вот что: это у вас давно?

Каноник вспомнил: да, с августа — день вериг апостола Петра — архиепископ Бенедикт вернулся из Рима — ну и... вот тогда же, вскоре.

Доктор Войчек чуть-чуть шевельнул рожками, улыбкой.

— Так, так... Ну что ж? — сегодня у нас понедельник? — в среду приезжайте ко мне в госпиталь.

И вот — среда, та самая Пепельная Среда, постом на первой неделе, когда все это произошло. Февральский день, в еще зимнем небе — яркие синие окна, ветер, все летит. Комната — тихая, с жутко-белыми стенами, дверями, скамьями — как будто уже не здесь, на земле, где все пестро, шумно, где всегда перепутано черное и белое. В белой комнате каноник Симплиций, замирая, ждал — рядом с какой-то женщиной, похожей на паука: огромный под серым ситцем живот — и кругом живота все остальное — руки, ноги, голова, белые глазки.

Долго сидели молча, каждый о своем. Потом женщина-паук выпростала из живота ногу, каноник увидел расплющенный ботинок, мотается ушко. Женщина туго, кругло вздохнула животом, на живот, как на что-то ей постороннее — как на стол — положила одну из многочисленных рук.

— Вот, рожаю третий раз — и каждый раз режут... Матерь божия! Зарежут — как без меня будут Стась, и Янек, и Франц? А вы — тоже к доктору?

— Да, я тоже к доктору Войчеку.

— Вам — что! А я как подумаю: самой старшей — восемь лет... Хорошо еще, у пана доктора милостивое сердце, не берет с меня денег.

Кто знает: может, скоро канонику Симплицию вместе с этой женщиной сидеть уже не здесь, в белой комнате, а в каких-то иных огромных и тихих покоях, там ждать часа, еще более страшного — и хорошо, если тогда женщина скажет о нем доброе слово... Каноник Симплиций вынул кошелек, высыпал все, что там было, и отдал женщине. И в тот самый момент, когда она засовывала все это в свой огромный, тугой живот, — вошел доктор Войчек, прищурился, пополз на каноника, пугая улыбкой.

— Что, запасаетесь в дорогу добрыми делами? Считаете грехи? Ничего, ничего, дорогой мой: через три недели вы уже опять можете идти к епископу есть лангусты. Ну...

Дальше — белизна, сталь, стол, дрожь. Издалека с земли — огромный голос доктора Войчека:

— Считайте вслух: раз-два-три... Ну? Слышите?

И нет уже языка, тела — нет ничего, конец...

Но для каноника Симплиция — это было только начало; концом это было для той паучьей женщины: она лежала, прикрытая белым, тихая, ее рыжие ботинки были завязаны в узелке вместе с платьем, на узелке — приколотая записка, а в одной из белых комнат кричал красный ребенок с громадным, мудрым лбом.

Каноник Симплиций расклеил веки: над ним — рожки, прищуренные козы глаза, но все же этот демон — несомненно, доктор Войчек, и каноник — явно еще здесь, на земле...

— А она — та женщина, с которой мы вместе... — больше у каноника не было голоса, не было сил, но доктор Войчек понял, закрутил свои рожки так, что самому стало больно.

— Вам, дорогой мой, повезло больше, чем ей: она уже докладывает, кому следует, о ваших добрых делах.

И тотчас же сзади каноника — какой-то жалобный, странный писк. Каноник хотел повернуться, доктор Войчек сердито крикнул:

— Да вы с ума сошли! Лежите! — шагнул куда-то и через минуту вышел на белую середину с подобранными ногами к животу, скорченным младенцем — у младенца был громадный лоб.

Каноник Симплиций — на доктора Войчека, на младенца — все круглее, все шире.

— Это... это зачем... откуда?

Доктор Войчек долго молчал, вщуриваясь своими козыми глазами в каноника Симплиция — все глубже, на самое дно. Вдруг пополз улыбкой, пугая, — чему он улыбался, неизвестно. И наконец сказал — очень серьезно:

— Все равно — раньше или позже придется: уж лучше сейчас. Этот ребенок — ваш.

Застывшие ямочки; младенцы с испуганно раскрытым ртом.

— Вы хотите сказать... То есть как, — мой?

— Так — ваш.

— Но ведь я же... пресвятая дева! — ведь я же все-таки мужчина!

— Дорогой мой, я знаю это не хуже, чем вы, — и тем не менее... Вы же понимаете: мне, врачу, поверить в чудо — а я не могу это назвать иначе, как чудом, — гораздо труднее, чем вам, священнику, и все же я — ничего не поделаешь! — верю. Примите это как испытание — и как особую милость к вам неба.

— Но, доктор, ведь это же... ведь это невероятно!

— А воскрешение мертвых — вероятно? Или вы скажете, что не верите в это?

— Нет, нет — я верю... Но почему именно я, — я?

— Быть может, в наказание за какие-нибудь ваши грехи — откуда я знаю? Может быть, потому, что небо избирает своим орудием простые сердца, а вы, к счастью, просты сердцем — как младенец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам вредно... Это — сын, мальчик.

Что ж иного оставалось канонику Симплицию, когда даже доктор Войчек — сам Войчек! — поверил в чудо? Каноник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо так наказало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они садились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:

— А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах?

Но ответ всегда был один и тот же:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.

Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с каноником Симплицием в Пепельную Среду. Он рассказывал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сына одной умершей бедной женщины — и слава каноника росла, и рос мальчик Феликс. Когда Феликс называл каноника «папой», каноник становился нежно, шелково розовым.

— Не называй меня так, Феликс. Я не папа тебе.

Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал, спрашивал:

— А мама? Кто моя мама?

Каноник — еще шелковей, розовее:

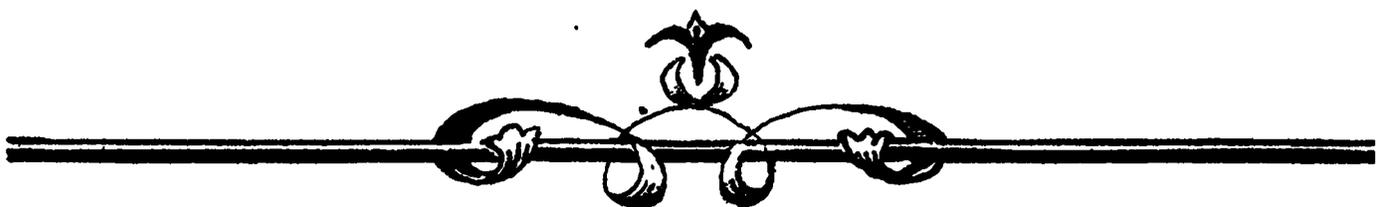
— Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда навеки закрою глаза.

Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та самая Пепельная Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем еще небе — ярко-синие окна. На стенке перед каноником медленно и невероятно быстро летел темный крест — тень от рамы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул Феликсу:

— Теперь, Феликс... Нет, доктор, не уходите: все равно, вы знаете это, и вы подтвердите ему, что это было именно так. Ты, вероятно, думал, Феликс, что я — твой отец. Так

вот: я — твоя мать, а твой отец — покойный архиепископ Бенедикт.

Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое — как слезы — в его козьих глазах, и, как это ни странно, канонику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже засыпал.



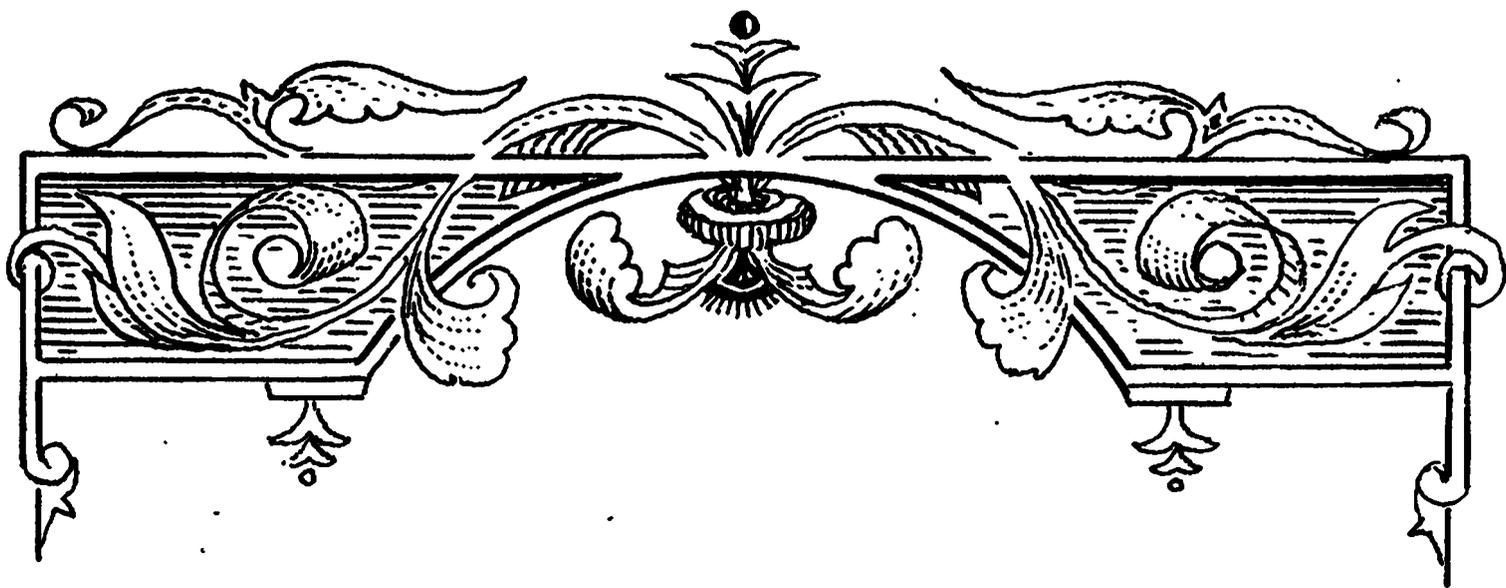


М. А. СВЕТЛОВ

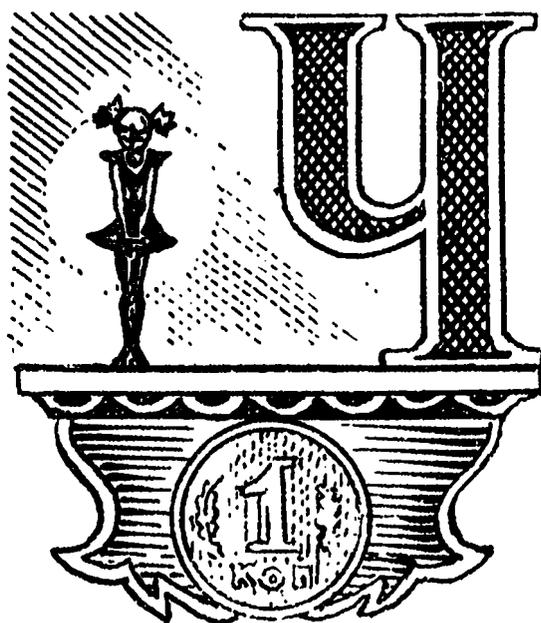


# ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ





## ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ



Человек в своей короткой жизни бывает счастлив дважды: в первый раз, когда он слушает сказки, во второй раз, когда он их сочиняет.

Наша денежная реформа не застала меня врасплох. Уже несколько лет я мечтаю написать повесть о том, как некий рубль разбился на десять гривенников, и о невероятных приключениях этих гривенников. И вдруг денежная реформа. И число «10» в этой реформе. Мне кажется, что это не случайное совпадение. Много лет тому назад я написал «Гренаду», после чего произошли всем известные события в Испании. Затем я написал «Каховку», после чего там выросла великая гидростанция. И вот совсем недавно я написал стихотворение «Голоса», которое удивительно подошло к запуску нашей ракеты на Венеру, хотя ни я, ни редактор об этом событии даже не подозревали.

Все это я говорю вовсе не для хвастовства. Просто мне кажется, что во мне есть нечто от прорицателя. И я искренне удивляюсь тому, что ко мне не съезжаются политические деятели разных стран, с тем чтобы я предсказал им их будущее.

Хорошие люди, когда приходит их смертный час, любят, чтобы их хоронили в ненастную погоду. Они любят, чтобы

ноги друзей и родственников, провожающих их в последний путь, чавкали по грязи или мерзли от свирепого холода.

Они любят, чтобы в автобусе, в котором они приехали на кладбище с Ним и уехали без Него, было очень душно или очень холодно.

И в этом нет никакого эгоизма. В этом есть свой благородный человеческий расчет.

Они хотят, чтобы тряска автобуса, чтобы неожиданный прокол шин, чтобы ругань шофера, чтобы возмущение пассажиров (поскорее бы очутиться в тепле!) или неожиданно хлынувший ливень задержали друзей и родственников в пути. Короче, они хотят, чтобы все эти мелкие неприятности отвлекли близких живых людей от их большого горя.

И они правы. Разве мы не замечали, что на обратном пути наступает момент какого-то странного веселья, что пассажиры оживленно разговаривают и что некоторые поминки звучат сильнее, чем некоторые свадьбы...

Лил проливной дождь, когда Иван Никанорович Пастухов, работающий официантом в кафе на пятнадцатом этаже гостиницы «Москва», хоронил свою жену, с которой он равнодушно прожил около сорока лет, но смерть заставила его полюбить ее. И вот он уже два дня плакал искренними слезами, чего никогда не делал при живой жене.

Он посмотрел на свои ботинки. Они были сплошь в мокрой глине. Да и брюки глина задела.

«В таком виде нельзя являться на работу», — подумал он. Потом он подумал, что у него нет средств на поминки, потом он подумал, что шеф Петр Семенович не сделает ему выговора (смерть жены — уважительная причина), потом он подумал, что его соседу — безногому инвалиду — выдали специальный автомобильчик, потом он вспомнил, что для детишек его дома строят спортивную площадку, потом он вспомнил, что у чистильщика обуви на углу есть специальная будка, и только потом он вспомнил о своем горе. Он окликнул свое горе, но оно не откликнулось, оно осталось на кладбище.

Он посмотрел в окно. Он увидел огромные, недавно выстроенные кварталы домов.

«Почему же я их раньше не заметил?»

Он был простой человек и не знал, что на пути к прощанью ничего не замечаешь, а на обратном пути начинаешь кое-что замечать. Он увидел, что дома построены квадратами и в каждом квадрате зеленеет большая площадка, а

на одной из площадок он увидел бассейн, в котором, несмотря на дождь, плескались ребяташки.

Иван Никанорович заметил, что ни у одного нового дома нет ворот. «Да и к чему они — ворота?» — подумал он. И тут же понял, что социализм тяжело ранил, а может быть, убил пословицу: «Ни в какие ворота не лезет».

Дождь прекратился, когда он подъехал к Охотному ряду. На углу рыли тоннель для прохожих, и так как Иван Никанорович принадлежал к племени прохожих, он подошел посмотреть.

Фыркали какие-то машины, скидывали бедную землю с ее вековой постели, и какой-то человек бегал по краю огромной ямы и что-то кричал.

«Должно быть, прораб», — подумал официант, но тут же вспомнил, что опаздывает на службу.

Швейцар сочувственно встретил его.

«Почему у всех швейцаров бороды, а нормальные люди бреются? Такая борода при современной цивилизации! Старина, старина...» Торжественно осудив бороды, Иван Никанорович сразу повеселел и нажал кнопку лифта.

В служебной комнате он увидел накрытый стол. Его украшали несколько бутылок вина, блюдо с ветчиной и неожиданная ливерная колбаса (в кафе ее не подавали). Стол был рассчитан, как говорится, на восемь кувертов.

«Натюрморт», — сказал Иван Никанорович.

Этому слову научили его знакомые художники, посещавшие ресторан. Как-то он встретился с ними в вестибюле, где действительно висел натюрморт. Художники, подвыпив, решили позабавиться и хоть вскользь посвятить официанта в тайны своего искусства.

— Это натюрморт, — сказали они, указывая на картину.

Иван Никанорович ничего не понял.

— Натурморт? — переспросил он.

— Натюр, а не натур!

— Натюрморт, — согласился официант. — А вот скажите, если бы вместо этого жареного тетерева на столе была нарисована вареная курица — это тоже натюрморт?

— Тоже.

— А если было бы нарисовано обыкновенное мясо, говяжье там, баранье или телячье, — тогда как?

— Натюрморт.

— А если бы никакого мяса не было?

— Натюрморт.

И тогда он понял, что в живописи произошла большая перемена — любая картина теперь называется «натюр-морт».

И когда он однажды, работая не в ресторане, а разнося блюда по номерам в сопровождении начинающего официанта, увидел на шестом этаже какую-то батальную картину, он торжественно произнес: «Натюрморт».

Начинающий официант притворился, что понял.

Иван Никанорович снова удивился накрытому столу и главным образом тому, что за этим столом никого не было.

Он сел, склонил голову на руки и слегка задремал. И ему показалось, что весь его сегодняшней прожитый день перенесли на холстину:

дождь — натюрморт,  
дорога — натюрморт,  
автобус — натюрморт,  
гроб — натюрморт,  
кладбище — натюрморт,

и вся его прошедшая жизнь — натюрморт, и его покойная жена Евдокия Марковна, уроженка Смоленской области, — самый главный натюрморт.

Полусонные слезы потекли по его щекам.

Его разбудили приближающиеся голоса. Вошло несколько официантов во главе с метрдотелем.

— Не удивляйся, мы решили устроить поминки по твоей Евдокии Марковне. Пусть мы с тобой находимся на разных служебных ступеньках, но все мы детали одной лестницы, называемой жизнью, — несколько высокопарно произнес метрдотель, который недавно прочел четыре стихотворения Рабиндраната Тагора. У него лет двадцать тому назад умерла жена, а он все еще помнил и любил ее.

Все уселись за стол.

— Не больше, чем по одной, — сказал метр. — Вы на работе. А тебе можно и вторую. У тебя горе.

Вино было разлито по бокалам.

— Памяти Евдокии Марковны! — сказал метр, и какой-то официант потянулся к нему чокнуться.

— На поминках не чокаются, — строго сказал метр.

Тихо выпили.

— Постарайся забыть свое горе, — продолжал метр. — Но это вряд ли тебе удастся. Я вот уже двадцать лет не могу позабыть собственное горе.

Один молодой официант, который чудом держался на ногах из-за злоупотребления не той жидкостью и в котором

еще до поминок содержание превышало форму, с пафосом произнес:

— Не желаю я пить за покойных! Я желаю поднять тост за живых, за их дела, за их будущее! Ура-а-а! — завопил он во всю свою молодую силу.

— Дисциплинированный официант не имеет права кричать, — сделал ему замечание метр. — Дисциплинированный официант даже слово «ура» должен произносить тихо.

— Ура! — шепотом прокричал дисциплинированный официант.

В ресторане наступили часы «пик». И если до этого официанты покидали подсобку отдельными группами, то сейчас, подчиняясь авралу, они оставили бедного Ивана Никаноровича в полном одиночестве.

За стеной играла музыка, веселилось подобие человеческого счастья, а он, грустный, сидел за столом и получал удовольствия от своей грусти. В таких случаях всегда тянет к поэзии.

Он помнил только две строчки двух разных стихотворений. И сейчас он вычерпал до дна весь свой кладезь поэзии.

«Средь шумного бала случайно», — подумал он о себе под музыку и под шелест танцев в соседнем зале. И вышел.

— Извиняюсь, что без тебя, Евдокия Марковна, — сказал он и налил вторую.

— Скажи мне, ветка Палестины, — продекламировал он ни к селу, ни к городу, только потому, что знал эту строчку.

Иван Никанорович вспомнил начало своего романа с покойной Евдокией Марковной.

Она полюбила его как поэта. Дело в том, что Иван Никанорович (тогда еще Ванечка) вычитал где-то стихотворную строчку «Встречая новую зарю» и подгонял эту строчку под все случаи жизни. Скажем, его угощали вином. И тут же рождался экспромт: «Встречая новую зарю, вас за вино благодарю». Угощали папиросой, и к неизменной строчке «Встречая новую зарю» прибавлялась новая: «Вас за табак благодарю». Когда давали чаевые: «За денежки благодарю». И так во всех случаях жизни.

Это покорило Евдокию Марковну (тогда еще Дусю). Рифма есть, значит, и поэт есть. И она согласилась совершить с ним загородную прогулку.

Вечерело. Облака — это одеяла господа бога — окутывали землю. Было очень тепло.

На пустынной лужайке в лесу они вдвоем уселись на траву. Иван Никанорович любил траву больше деревьев. На

деревьях объясняются в любви только птицы и обезьяны. На траве в любви объясняются люди. И Ванечка объяснился. Набравшись храбрости, он предложил:

— Не разделите ли вы со мной свое будущее?

Любовь была велика, но Дуся все еще сопротивлялась:

— А если ваше будущее — тюрьма, так мне что — вам передачи носить?

Ванечка растерялся, но спасительная поэзия пришла ему на помощь. «Встречая новую зарю, вас за любовь благодарю», — выпалил он и мгновенно овладел ею. И сейчас же ему расхотелось жениться. Но греческая богиня любви Афродита могла доставить ему, русскому человеку, неприятности, и он прожил с Дусей около сорока лет. Детей у них не было.

— Как там они без меня справляются? — рассек свои воспоминания Иван Никанорович и нетвердыми шагами вышел в зал.

Он мутнеющими глазами осмотрел зал. Почти всех танцующих он знал. Все они делились на две категории: кому можно давать в кредит и кому нельзя. И скучно, невыносимо скучно стало ему. Хотя бы ему какой-то настоящий авантюрист попался! Он продолжал озирать зал в поисках какого-нибудь настоящего авантюриста.

Его внимание привлек весьма пожилой человек, одиноко сидящий за столиком. Две опорожненные бутылки коньяка стояли перед ним. К нарезанному лимону он, очевидно, и не притронулся. Он лениво смотрел на танцующих и думал какую-то никому не известную думу.

Ивану Никаноровичу этот человек показался подозрительным. Почему люди пьют? Потому что, когда они выпивши, им кажется, что они обладают неограниченной властью. И Иван Никанорович решительно подошел к незнакомцу:

— Ваш паспорт!

— А вы кто такой? — безразлично спросил незнакомец.

— Я работник одного учреждения, — смело ответил официант и тут же поправился: — Этого учреждения.

Незнакомец так же безразлично протянул паспорт, и Иван Никанорович прочел:

— Иван Иванович Рубль. Год рождения 1473.

Иван Никанорович во все глаза уставился на незнакомца. «Для своего возраста неплохо выглядит», — подумал он и сказал: «Извиняюсь», и ушел обратно в подсобку.

Хмель как будто начинал проходить, и еще одна стопочка подкрепила гаснущие силы официанта. Душевное

состояние восстановилось, и он опять готов был участвовать в любой сказке.

Он вынул сигарету, а спички выскользнули из его дрожащих пальцев и рассеялись по полу. Он встал на колени, пытаясь собрать их. И ему показалось, что спички убегают от него. И не мудрено! Надоело им жить в этой чудовищной тесноте, в бараке, именуемом спичечным коробком, и каждая из них решила пойти по свету искать отдельную однокомнатную квартиру.

Не успел Иван Никанорович собрать все спички, как голову его просверлила поразительная мысль: «Не может быть, чтобы нормальному человеку было без малого пятьсот лет! Пойду-ка еще раз проверю!»

Страшное зрелище ожидало его. Незнакомец, пошатываясь, ходил по самому верху балюстрады. Иван Никанорович бросился было к нему, но было уже поздно. Иван Никанорович склонился над балюстрадой и посмотрел вниз. Он ничего не увидел. Он только услышал тихий звон. Это рубль, ударившись о тротуар, разбился на десять гривенников.

О дальнейшей судьбе этих гривенников, каждой в отдельности, и пойдет мое повествование.

Мой первый Гривенник, освободившись от родительской опеки Рубля, фланировал на улице Горького.

Он остановился перед магазином готового платья. За стеклом стояли хорошо одетые манекены и, как всегда, загадочно смотрели вдаль.

Гривенник постоял, постоял и пошел дальше. Вот он оказался перед кафетерием и сразу почувствовал, что очень голоден. Он увидел выходящих из кафетерия довольных и улыбающихся людей, и, как всякий голодный человек, он счел всех сытых людей негодьями: «Небось, паразиты, икры нажрались!»

Бунта против сытых он не стал устраивать, а просто подумал, как ему при весьма скудных средствах утолить свой голод. «Только не надо унижаться. Надо всегда быть гордым!» И с видом двугривенного Гривенник вошел в кафетерий.

Свободных столиков не было. Он подсел к какой-то пожилой женщине в платье, какие наши женщины не носят. Ему захотелось побеседовать с нею, но из иностранных слов он знал только фамилии приключенческих писателей: «Майн Рид», «Жюль Верн», «Брет Гарт». На таком языке много не наговоришься.

Иностранка расплатилась и ушла. И тогда официантка обратилась к нему:

— Вам чего, молодой человек?

— Меню!

В прейскуранте все было выше его возможностей. Цены доходили до рубля и выше.

— Выбрали, молодой человек?

— Я еще подумаю.

Как бы ища выхода, он осмотрелся вокруг. Кругом ели. Кто жадно, кто равнодушно, а кто даже презрительно. Кошка под столиком уминала брошенный ей кем-то остаток котлеты. Она на минуту оторвалась от еды и посмотрела на голодного мальчика. «Бывает же счастье!» — внутренне промяукала она и снова принялась за трапезу.

В полном отчаянии Гривенник взглянул на дородную буфетчицу и затем на покрытый изогнутый стеклом прилавок. Цифра «8» привлекла его внимание.

«Не восемь же рублей, — подумал Гривенник. — Такого дорогого блюда и на свете нет!»

Он небрежной походкой подошел к прилавку и убедился в том, что сдобная булочка стоит восемь копеек.

Теперь он уже уверенно сидел за своим столиком. Подошла официантка.

— Ну как, выбрали, молодой человек?

— Знаете, мне как-то расхотелось есть. Но, пожалуй, вон ту булочку я съем. Принесите.

Эту булочку он мог бы проглотить в секунду, но подчинился ресторанному ритуалу. Минут десять он пощипывал булочку, пока от нее следа не осталось.

— Девушка! — громко позвал он. Так подозрительные юноши и девушки кличут официанток. Мой гривенник хотя и был мал, но успел много чего наслышаться. — Сколько с меня?

— Восемь копеек, — равнодушно сказала официантка, поняв, что чаевых не будет. Но мой Гривенник был не такой.

— Получите девять! — небрежно сказал он. И как только в его руке очутилась сдача, произошло редчайшее на земле явление: мальчик превратился в девочку — Гривенник стал Копейкой.

И вот девочка Копейка стоит на углу Пушкинской площади и не знает, куда ей деваться. Она неумело поправляет на себе плиссированную юбочку, проверяет пуговицы на кофточке, лишь бы убить время...

Из кондитерского магазина вышли двое влюбленных. Трагедия их заключалась в том, что оба работали в вечерней смене, а днем им негде было встречаться.

— Эврика! — воскликнул влюбленный, увидев одинокую девочку Копейку. Его подруга была менее образована и подумала, что девочку зовут Эврикой. Мало ли какие имена напридумало человечество за последние десятилетия!

— Ты куда идешь, девочка?

— Мне все равно куда идти. Я сейчас свободна, — ответила девочка Копейка.

— Тогда едем с нами!

Он поднял руку. Проезжавшее мимо такси закрипело тормозами.

— Эврика! — повторил влюбленный, обрадовавшись своей неожиданной выдумке, суть которой мы скоро узнаем. — Ты, девочка, сядешь с шофером. Ты ребенок, а детям всегда хочется быть впереди.

— Куда? — спросил шофер.

— На Курский вокзал.

Девочка следила за счетчиком, за быстро мелькающими копейками, и ей показалось, что это ее сверстницы взапуски бегут одна за другой.

Потом она вспомнила, что ее тетя — ее единственный родственник на земле — живет в городе Курске на углу Сказки и Большой Почтовой улицы. «Может быть, они едут через Курск и возьмут меня с собой?»

— Куда ты меня везешь? — спросила влюбленная. — Я никуда не поеду. У меня вечерняя смена.

— И у меня, ты знаешь. Мы никуда не поедем.

— Зачем же тебе Курский вокзал?

— Мне не весь вокзал нужен. Мне нужен только перрон, — таинственно сообщил влюбленный.

На вокзале он, оставив девочку Копейку на попечение своей подруги, побежал к расписанию поездов дальнего следования. Он скоро вернулся.

— Поезд на Симферополь отправляется через час с лишним. Значит, нам с тобой минут сорок нечего делать.

— А мне уходить? — спросила девочка Копейка.

— Нет, нет, ты побудь с нами. Ты, наверно, голодна?

— Я бы что-нибудь поела, — скромно ответила девочка.

В ресторане он спросил:

— Так что бы ты поела?

— Все! — не задумываясь, ответила Копейка.

После хорошо прожаренного бифштекса и двух бутылок крем-сода девочка задумалась. Она пыталась представить

себе свою тетю, которая, думается, не случайно живет на углу Сказки. Да и сам угол, упирающийся в Сказку, должен быть чрезвычайно интересен. Но все представления были у нее от прочитанных книжек. А ее тетя и угол, на котором она живет, должны быть ни на что не похожи. А непохожего она ничего не могла представить себе.

Втроем они вышли на перрон. Пассажиры и провожающие только еще собирались, и влюбленные вместе с девочкой начали вдоль пересекать перрон.

Но вот толпа стала гуще, начались объятия и поцелуи. И наши влюбленные стали так обниматься и целоваться, как будто они прощались навеки. И поезд уже давно отошел, и разошлись провожающие, а ненасытные влюбленные не отрывались друг от друга.

Подошел дежурный по вокзалу:

— Это что такое, граждане?

— Мне дали билет не на тот поезд, — нашлась девушка.

— А что это за девочка?

— Я их дочка, — помогла влюбленным Копейка.

Дежурный отошел.

— Приходи каждый день к Симферопольскому поезду, — ласково сказал влюбленный, и девочка осталась одна.

Она дошла до конца перрона и увидела надпись: «Ходить по железнодорожным путям воспрещается». Ей показалось, что в этой надписи чего-то не хватает. Ну конечно же, должно было быть: «Детям до 16 лет ходить по железнодорожным путям воспрещается». Она себе не представляла, что людям старше шестнадцати лет может быть что-нибудь запрещено.

Тетя в далеком сказочном Курске мерещилась ей. Конечно, она могла бы на электричке на добрых несколько десятков километров приблизится к своей мечте, но Гривенник числился в родословной Копейки. А Гривенник был очень гордый мальчик и ни за что не стал бы ездить зайцем. И девочка спрыгнула с перрона и пошла в далекий путь, который даже паровозы заканчивают пыхтя.

Сначала она шла очень весело и жалела о том, что у нее нет веревочки. Она бы через эту веревочку прыгала со шпалы на шпалу и так бы, играючи, прибыла в Курск. Но, дойдя до станции «Москва-Товарная», она почувствовала себя так, как автор этого произведения, написавший только первую строчку своих предстоящих десяти сказок. Хватит ли у меня сил, возможностей и фантазии дойти до последней станции-страницы, на фронтоне которой гордо висится название «Конец»? И я не поеду зайцем, потому что все мои

герои гордые, а гордые они потому, что я, автор, числюсь в их родословной.

Не сердитесь, читатель. Чем дальше я буду углубляться в свои сказки, тем реже будет мое вмешательство.

Девочка Копейка остановилась. Ей с большого холмика было видно, как рельсы извиваются большим полукругом, и она решила пройти по полю. Это километра на два сокращало дорогу. После хождения по шпалам ноги ее чуть не закричали от радости — трава была такой мягкой, человеческой и ласковой! Девочка положила на траву свои ладошки, и они тоже очень обрадовались. Потом девочка легла на траву. И все тело: и родинка на правом плече, и косички ее, и все двадцать ногтей на руках и ногах ощутили безмерную радость. Девочка заснула.

Ее разбудил какой-то старичок. Он был чуть-чуть неправдоподобен, то ли из легенды, то ли из ближайшего колхоза. Глаза у него были выцветшие и тусклые, как и полагается их возрасту, а руки у него были беспокойные. Они все время двигались, они жестикулировали, они как бы жаловались: «Зачем нас отдали этому старому телу? Мы еще, ох, чего можем сотворить!»

— Куда ты идешь, девочка?

Девочка не ответила. Она только спросила:

— Скажите, старый человек, вы когда-нибудь были мальчиком?

— Не помню, — угрюмо ответил старик.

— А мы помним! — закричали его руки.

— А вы помните девочку, которую вы полюбили?

— Давно это было, — неохотно ответил старик, и пальцы его рук сцепились как в объятии.

— Куда же вы идете?

— Я иду за пенсией, — ответил старик, и руки его безмолвно повисли.

— До свидания! — сказала девочка и пошла дальше.

— До свидания! — сказал старик и пошел дальше в противоположную сторону.

Он очень устал. Он присел на пенек и положил голову на руки. И тогда руки напомнили ему о его молодости. И он вспомнил точно такую же девочку, которую он встретил шестьдесят семь лет тому назад. Она была такая милая, что ей с первого взгляда хотелось писать письма.

Больше он эту девочку не встречал.

«А сегодняшнюю девочку я обязательно встречу на обратном пути и расскажу ей о том, что я вспомнил».

Но встреча эта не состоялась. Когда он возвращался обратно, девочка была уже где-то возле станции «Стальной конь»...

Она остановилась на берегу какого-то озера. Был поздний час. Над Россией висела луна. Лунный столб рассекал озеро на две неравные части. Этот лунный столб был какой-то необыкновенный...

Девочка разделась и вошла в воду. Ее серебряное тельце бесшумно поплыло по золотой поверхности.

Она легла на спину и увидела луну, на которой скоро будут находиться люди.

«К тому времени, — подумала девочка, — наверно, изобретут такие сильные телескопы, что я увижу, как мои знакомые машут мне оттуда руками».

Вдруг ей показалось, что луна повернулась оборотной стороной. И вместо привычной в небе матрешки девочка увидела носатый профиль старого колдуна.

Она в ужасе закрыла глаза, а когда открыла их, луна была такой же, как всегда...

Она оделась и опять пустилась в путь-дорогу. Луг кончился. Девочка снова подошла к железнодорожной насыпи. Шло время. Заря, как русская женщина, просыпалась медленно. Она чуть приоткрыла глаза, и на земле стало светлее. Запели птицы. Они своим пением как бы доказывали прелесть человеческого существования.

Девочка шла и шла. Потом она присела на рельсы отдохнуть и задумалась. Думы детей! Это целая треть дум всего человечества...

Два поезда, как две кавалерийские армии, на рысях яростно мчались навстречу друг другу. Два паровоза для поддержания боевого духа вагонов до хрипоты трубили в свои широкие горны.

А девочка Копейка сидела на рельсах задумавшись. Атакующий клич паровозов заставил ее мгновенно подняться и отскочить. Но отскочила она не в сторону насыпи, а в сторону соседнего пути. Еще секунда, и встречный поезд раздавил бы ее. Невероятным усилием она остановилась между путей.

Она стояла на узеньком-узеньком участке земли между двумя мчащимися поездами. Она была как разведчик на ничейной полосе между двумя сражающимися армиями. Поезда были длинные, и девочке показалось, что она уже начала дышать грохотом. Поезда прошли, и на земле стало совсем тихо, как после празднования Дня Победы.

Девочка продолжала идти...

В двенадцати километрах южнее станции «Стальной конь» путевым обходчиком служил царский Полтинник. Советская власть давно простила его, и он оправдал доверие.

Его участок пути был всегда в полной чистоте и исправности. Дважды он обнаружил лопнувший рельс, за что ему начальство дважды выразило благодарность.

А жил он на свете один-одинешенек. Его последний дальний-дальний родственник — голландский Полудукат — уже давно умер...

В это воскресное утро он проснулся, как всегда, в седьмом часу утра. Он тут же поднялся, сделал несколько приседаний, произвел определенное число вдохов и выдохов. Если бы царский Полтинник ежедневно не занимался гимнастикой, он бы не дожил до наших дней.

Потом он отправился со своим длинным молоточком выстукивать рельсы: «Как вы себя чувствуете, стальные полосочки мои? Гаечки не побаливают?» И рельсы отвечали ему веселым звоном: «Крепкие наши гаечки, крепкое наше здоровье!»

Так, постукивая молоточком и слушая ответный звон рельсов, царский Полтинник дошел до конца своего участка.

Он уже собирался повернуть обратно, но обратил внимание на небольшой сине-белый, чуть шевелящийся холмик...

Вконец обессиленная от усталости и голода девочка Копейка увидела склонившееся над ней странное и удивительно привлекательное лицо. Ей казалось, что какой-то рисунок с детской книжки пришел к ней в гости. Под огромными, все еще молодыми глазами висели набухшие старческие мешки. Они были похожи на спущенные чулки. Толстые седые усы были настолько длинными, что концы их владелец загнул за уши. Из рта, невидимого под усами, донеслось:

— Ты это что, нарочно тут улеглась, девочка? Дома в кровати надоело?

— Надоело, — солгала девочка.

— Может быть, тебе и питаться надоело?

— Не совсем надоело, — кокетливо ответила очень голодная девочка. Так бы на ее месте ответила каждая, даже не очень голодная женщина.

— Помочь тебе подняться? — спросил незнакомый человек с зачесанными за уши усами.

— Не надо, я сама! — ответила Копейка, но не в силах была подняться.

— Я понимаю, что ты самолюбивая. Это очень похвально. Поэтому я тебя не возьму на руки, я тебя буду только поддерживать...

Так они подошли к будке путевого обходчика.

Знаменитой русской печи в этой будке не было. Да и где ей было поместиться в таком крохотном помещении! Газовый баллон снабжал горючим самодельную плитку.

Царский Полтинник недолго повозился у этой плитки, готовя завтрак для себя и для девочки Копейки. Затем достал из шкафчика небольшую странную бутылку.

— Из царских погребов! — сказал он. — В семнадцатом году одна фрейлина обменяла ее на буханку хлеба.

— Фрейлина была из сказки?

— Нет. Из Зимнего дворца. Выпей. Это тебя подкрепит. Ликер был такой старый, что никак не вытекал из бутылки. Он превратился в желе. Царский Полтинник разбил бутылку и нарезал ликер кубиками. Один из этих кубиков он молча протянул девочке. Она проглотила кубик и тотчас же почувствовала себя как в царских покоях. Глаза ее заблестели, ей захотелось общения и захотелось узнать — кто же этот удивительно милый, ни на кого не похожий старый-старый человек?

— Вы, наверно, в молодости были пажем и были очень богатым?

— Не был я пажем и не был я очень богатым. Я был ямщиком. Должность не так уж хорошо оплачиваемая... Что ты еще скажешь, девочка?

И девочка произнесла много раз слышанную ею фразу: «Повторим?»

— Согласен! — сказал царский Полтинник и протянул ей второй кубик. И сегодня комната показалась девочке голубой. Ей все больше нравилось, становилось близким и родным круглое лицо царского Полтинника.

Слеза карлика ничуть не меньше слезы великана. Пьяная девочка не менее сентиментальна, чем взрослый мужчина:

— Знаете, вы необыкновенно добрый! Я еще добрых людей не встречала.

— В этом нет ничего удивительного, — изрек царский Полтинник. — Все люди к старости становятся добрыми. Нет на свете человека добрее палача на пенсии...

Вода в котелке уже давно забулькала, картошка сварилась, и гостеприимный хозяин выложил на стол редкую рыбу — шемаю. Он был страстным рыболовом и в течение

всего завтрака жаловался девочке на то, как хищнически ведется рыбный промысел в Азовском море, как скоро, наверно, исчезнет такая волшебная рыба, как рыбец и шемай. Он с горечью констатировал, что этой рыбы осталось так мало...

Честно говоря, он совсем не был заинтересован в судьбе этой редкой рыбы. Он просто хотел отвлечь девочку от горя, если оно у нее было. Стремясь к этой цели, он мог бы с таким же успехом рассказать девочке об исчезновении тигров в индийских джунглях или инвалидности рифмы в современных стихотворениях.

Но девочка заинтересовалась:

— А в ваше время было больше этой шемаи-рыбца?

— Куда больше! Почти задарма продавалась.

— А почему так?

— Потому что вместе со всей техникой растет и техника уничтожения. Вот, скажем, каспийский лосось... Плотина — это, конечно, великая вещь. А лососю что — плотина? Для лосося плотина все равно что для человека высокий дом без дверей. И вот люди будут жить в светлых домах, а кушать они будут вяленую треску. Может, когда и стерлядка попадется.

Но девочка уже не слушала. Глаза ее смыкались. Ей показалось, что она взлетает высоко-высоко в небо и потом плавно опустилась на землю. Это царский Полтинник взял ее на руки и уложил на единственную в своем доме лежанку. Затем он уселся на табуретку и стал напряженно, не мигая, смотреть на девочку Копейку. Что ждет ее? Какие люди, какие напасти, какая любовь?

Девочке приснилось, что она приблизилась к концу своего путешествия. Вот она уже в городе Курске, вот он — заветный угол Сказки и Большой Почтовой улицы. Тетя ушла на рынок, но навстречу ей выбежал пестрый котенок и приветственно замурлыкал. Она взяла его на руки и потерлась щекой об его шерстку. А на самом деле это царский Полтинник поцеловал ее. Его усов хватило бы на добрую сотню котят.

Девочка спала. А легендарно старый человек с неустанной любовью смотрел на нее. Он завидовал людям, общающимся с ней, он завидовал дому, где она постоянно живет, он завидовал воздуху, который несет ее голосок. Так был одинок этот царский Полтинник!

Ну хорошо! Он, чтобы позабавить ее, рассказывал ей всякие небылицы о рыбах. О чем он ей еще будет рассказывать, когда она проснется, и как будет забавлять ее?

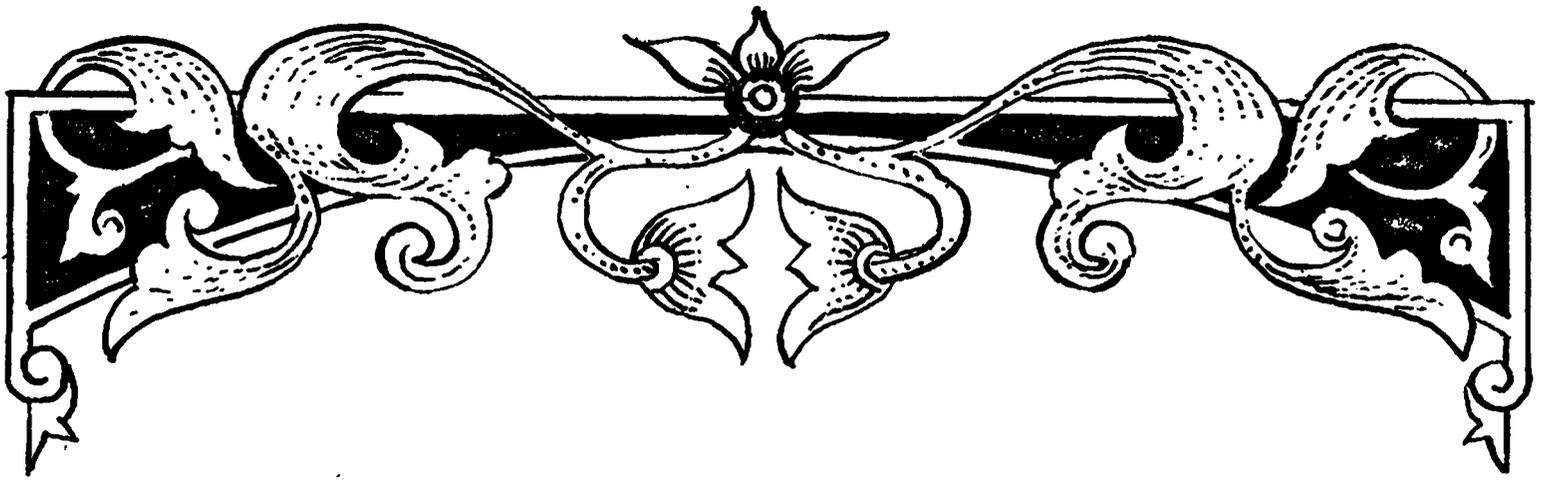


Е. Л. ШВАРЦ

ТЕНЬ

Сказка в 3-х действиях





## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ученый.  
Его тень.  
Пьетро — хозяин гостиницы.  
Аннунциата — его дочь.  
Юлия Джули — певица.  
Принцесса.  
Первый министр.  
Цезарь Борджия — журналист.  
Тайный советник.  
Доктор.  
Палач.  
Капрал.  
Придворные дамы.  
Придворные.  
Сестра развлечения.  
Сестра милосердия.  
Королевские герольды.  
Лакеи министра финансов.  
Стража.  
Горожане.





...И ученый рассердился не столько потому, что тень ушла от него, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине. Вернись он теперь домой и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим...

*Г.-Х. Андерсен. «Тень».*

...Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет.

*Г.-Х. Андерсен. «Сказка моей жизни», глава VIII.*

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Небольшая комната в гостинице, в южной стране. Две двери: одна в коридор, другая на балкон. Сумерки. На диване полулежит ученый, молодой человек двадцати шести лет. Он шарит рукой по столу — ищет очки.

Ученый. Когда теряешь очки, это, конечно, неприятно. Но вместе с тем и прекрасно — в сумерках вся моя комната представляется не такою, как обычно. Этот плед, брошенный в кресло, кажется мне сейчас очень милою и доброю принцессою. Я влюблен в нее, и она пришла ко мне в гости. Она не одна, конечно. Принцессе не полагается ходить без свиты. Эти узкие, длинные часы в деревянном футляре — вовсе не часы. Это вечный спутник принцессы, тайный советник. Его сердце стучит ровно, как маятник, его советы меняются в соответствии с требованиями времени, и дает он их шепотом. Ведь недаром он тайный. И если советы тайного советника оказываются губительными, он от них начисто отрекается впоследствии. Он утверждает, что его просто не расслышали, и это очень практично с его стороны. А это кто? Кто этот незнакомец, худой и строй-

ный, весь в черном, с белым лицом? Почему мне вдруг пришло в голову, что это жених принцессы? Ведь влюблен в принцессу я! Я так влюблен в нее, что это будет просто чудовищно, если она выйдет за другого. *(Смеется.)* Прелесть всех этих выдумок в том, что едва я надену очки, как все вернется на свое место. Плед станет пледом, часы часами, а этот зловещий незнакомец исчезнет. *(Шарит руками по столу.)* Ну, вот и очки. *(Надевает очки и вскрикивает.)* Что это?

В кресле сидит очень красивая, роскошно одетая девушка в маске. За ее спиной — лысый старик в сюртуке со звездой. А к стене прижался длинный, тощий, бледный человек в черном фраке и ослепительном белье. На руке его бриллиантовый перстень.

*(Бормочет, зажигая свечу.)* Что за чудеса? Я скромный ученый — откуда у меня такие важные гости?.. Здравствуйте, господа! Я очень рад вам, господа, но... не объясните ли вы мне, чем я обязан такой чести? Вы молчите? Ах, все понятно. Я задремал. Я вижу сон.

Девушка в маске. Нет, это не сон.

Ученый. Вот как! Но что же это тогда?

Девушка в маске. Это такая сказка. До свидания, господин ученый! Мы еще увидимся с вами.

Человек во фраке. До свидания, ученый! Мы еще встретимся.

Старик со звездой *(шепотом)*. До свидания, уважаемый ученый! Мы еще встретимся, и все, может быть, кончится вполне благоприлично, если вы будете благо-разумны.

Стук в дверь, все трое исчезают.

Ученый. Вот так история!

Стук повторяется.

Войдите!

В комнату входит Аннунциата, черноволосяя девушка с большими черными глазами. Лицо ее в высшей степени энергично, а манеры и голос мягки и нерешительны. Она очень красива. Ей лет семнадцать.

Аннунциата. Простите, сударь, у вас гости... Ах!

Ученый. Что с вами, Аннунциата?

Аннунциата. Но я слышала явственно голоса в вашей комнате!

Ученый. Я уснул и разговаривал во сне.

Аннунциата. Но... простите меня... я слышала женский голос.

Ученый. Я видел во сне принцессу.

Аннунциата. И какой-то старик бормотал что-то вполголоса.

Ученый. Я видел во сне тайного советника.

Аннунциата. И какой-то мужчина, как мне показалось, кричал на вас.

Ученый. Это был жених принцессы. Ну? Теперь вы видите, что это сон? Разве наяву ко мне явились бы такие неприятные гости?

Аннунциата. Вы шутите?

Ученый. Да.

Аннунциата. Спасибо вам за это. Вы всегда так ласковы со мною. Наверное, я слышала голоса в комнате рядом и все перепутала. Но... вы не рассердитесь на меня? Можно сказать вам кое-что?

Ученый. Конечно, Аннунциата.

Аннунциата. Мне давно хочется предупредить вас. Не сердитесь... Вы ученый, а я простая девушка. Но только... я могу рассказать вам кое-что известное мне, но неизвестное вам. *(Делает книксен.)* Простите мне мою дерзость.

Ученый. Пожалуйста! Говорите! Учите меня! Я ведь ученый, а ученые учатся всю жизнь.

Аннунциата. Вы шутите?

Ученый. Нет, я говорю совершенно серьезно.

Аннунциата. Спасибо вам за это. *(Оглядывается на дверь.)* В книгах о нашей стране много пишут про здоровый климат, чистый воздух, прекрасные виды, жаркое солнце, ну... словом, вы сами знаете, что пишут в книгах о нашей стране...

Ученый. Конечно, знаю. Ведь поэтому я и приехал сюда.

Аннунциата. Да. Вам известно то, что написано о нас в книгах, но то, что там о нас не написано, вам неизвестно.

Ученый. Это иногда случается с учеными.

Аннунциата. Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране. Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, — у нас бывает на самом деле каждый день. Вот, например, Спящая красавица жила в пяти часах ходьбы от табачной лавочки — той, что направо от фонтана. Только теперь Спящая красавица умерла. Людоед до сих пор жив и работает в городском

ломбарде оценщиком. Мальчик с пальчик женился на очень высокой женщине, по прозвищу Гренадер, и дети их — люди обыкновенного роста, как вы да я. И знаете, что удивительно? Эта женщина, по прозвищу Гренадер, совершенно под башмаком у Мальчика с пальчик. Она даже на рынок берет его с собой. Мальчик с пальчик сидит в кармане ее передника и торгуется, как дьявол. Но, впрочем, они живут очень дружно. Жена так внимательна к мужу. Каждый раз, когда они по праздникам танцуют менуэт, она надевает двойные очки, чтобы не наступить на своего супруга нечаянно.

Ученый. Но ведь это очень интересно, почему же об этом не пишут в книгах о вашей стране?

Аннунциата (*оглядываясь на дверь*). Не всем нравятся сказки.

Ученый. Неужели?

Аннунциата. Да, вот можете себе представить! (*Оглядывается на дверь.*) Мы ужасно боимся, что если это узнают все, то к нам перестанут ездить. Это будет так невыгодно! Не выдавайте нас, пожалуйста.

Ученый. Нет, я никому не скажу.

Аннунциата. Спасибо вам за это. Мой бедный отец очень любит деньги, и я буду в отчаянии, если он заработает меньше, чем ожидает. Когда он расстроен, он страшно ругается.

Ученый. Но все-таки мне кажется, что число приезжих только вырастет, когда узнают, что в вашей стране сказки — правда.

Аннунциата. Нет. Если бы к нам ездили дети, то так бы оно и было. А взрослые — осторожный народ. Они прекрасно знают, что многие сказки кончаются печально. Вот об этом я с вами и хотела поговорить. Будьте осторожны.

Ученый. А как? Чтобы не простудиться, надо тепло одеваться. Чтобы не упасть, надо смотреть под ноги. А как избавиться от сказки с печальным концом?

Аннунциата. Ну... Я не знаю... Не надо разговаривать с людьми, которых вы недостаточно знаете.

Ученый. Тогда мне придется все время молчать. Ведь я приезжий.

Аннунциата. Нет, правда, пожалуйста, будьте осторожны. Вы очень хороший человек, а именно таким чаще всего приходится плохо.

Ученый. Откуда вы знаете, что я хороший человек?

А н н у н ц и а т а. Ведь я часто вожусь в кухне. А у нашей кухарки одиннадцать подруг. И все они знают все, что есть, было и будет. От них ничего не укроется. Им известно, что делается в каждой семье, как будто у домов стеклянные стены. Мы в кухне и смеемся, и плачем, и ужасаемся. В дни особенно интересных событий все гибнет на плите. Они говорят хором, что вы прекрасный человек.

У ч е н ы й. Это они и сказали вам, что в нашей стране сказки — правда?

А н н у н ц и а т а. Да.

У ч е н ы й. Знаете, вечером, да еще сняв очки, я готов в это верить. Но утром, выйдя из дому, я вижу совсем другое. Ваша страна — увы! — похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, знатность и рабство, смерть и несчастье, разум и глупость, святость, преступление, совесть, бесстыдство — все это перемешано так тесно, что просто ужасаешься. Очень трудно будет все это распутать, разобрать и привести в порядок так, чтобы не повредить ничему живому. В сказках все это гораздо проще.

А н н у н ц и а т а (*делая книксен*). Благодарю вас.

У ч е н ы й. За что?

А н н у н ц и а т а. За то, что вы со мною, простой девушкой, говорите так красиво.

У ч е н ы й. Ничего, с учеными это бывает. А скажите, мой друг Ганс-Христиан Андерсен, который жил здесь, в этой комнате, до меня, знал о сказках?

А н н у н ц и а т а. Да, он как-то проведал об этом.

У ч е н ы й. И что он на это сказал?

А н н у н ц и а т а. Он сказал: «Я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду». Он очень любил наш дом. Ему нравилось, что у нас так тихо.

Оглушительный выстрел.

У ч е н ы й. Что это?

А н н у н ц и а т а. О, не обращайтесь внимания. Это мой отец поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив, и чуть что — стреляет из пистолета. Но до сих пор он никого не убил. Он нервный — и всегда поэтому дает промах.

У ч е н ы й. Понимаю. Это явление мне знакомо. Если бы он попал в цель, то не палил бы так часто.

За сценой рев: «Аннунциата!»

А н н у н ц и а т а (*кротко*). Иду, папочка, миленький.

До свидания! Ах, я совсем забыла, зачем пришла. Что вы прикажете вам подать — кофе или молоко?

Дверь с грохотом распахивается. В комнату вбегают стройный, широкий в плечах, моложавый человек. Он похож лицом на Аннунциату. Угрюм, не смотрит в глаза. Это хозяин меблированных комнат, отец Аннунциаты,  
Пь е т р о.

Пь е т р о. Почему ты не идешь, когда тебя зовут?! Поди немедленно перезаряди пистолет. Слышала ведь — отец стреляет. Все нужно объяснять, во все нужно ткнуть носом. Убью!

Аннунциата спокойно и смело подходит к отцу, целует его в лоб.

А н н у н ц и а т а. Иду, папочка. До свидания, сударь!  
(Уходит.)

У ч е н ы й. Как видно, ваша дочь не боится вас, синьор Пьетро.

Пь е т р о. Нет, будь я зарезан. Она обращается со мною так, будто я самый нежный отец в городе.

У ч е н ы й. Может быть, это так и есть?

Пь е т р о. Не ее дело это знать. Терпеть не могу, когда догадываются о моих чувствах и мыслях. Девчонка! Кругом одни неприятности. Жилец комнаты номер пятнадцать сейчас опять отказался платить. От ярости я выстрелил в жильца комнаты номер четырнадцать.

У ч е н ы й. И этот не платит?

Пь е т р о. Платит. Но он, четырнадцатый, ничтожный человек. Его терпеть не может наш первый министр. А тот, проклятый неплательщик, пятнадцатый, работает в нашей трижды гнусной газете. О, пусть весь мир провалится! Верчусь, как штопор, вытягиваю деньги из жильцов моей несчастной гостиницы и не свожу концы с концами. Еще приходится служить, чтобы не околеть с голоду.

У ч е н ы й. А разве вы служите?

Пь е т р о. Да.

У ч е н ы й. Где?

Пь е т р о. Оценщиком в городском ломбарде.

Внезапно начинает играть музыка — иногда едва слышно, иногда так, будто играют здесь же, в комнате.

У ч е н ы й. Скажите... Скажите мне... Скажите, пожалуйста, где это играют?

Пь е т р о. Напротив.

Ученый. А кто там живет?

Петро. Не знаю. Говорят, какая-то чертова принцесса.

Ученый. Принцесса?!

Петро. Говорят. Я к вам по делу. Этот проклятый пятнадцатый номер просит вас принять его. Это газетчик. Этот вор, который норовит даром жить в прекрасной комнате. Можно?

Ученый. Пожалуйста. Я буду очень рад.

Петро. Не радуйтесь прежде времени. До свидания!  
(Уходит.)

Ученый. Хозяин гостиницы — оценщик в городском ломбарде. Людоед? Подумать только!

Открывает дверь, ведущую на балкон. Видна стена противоположного дома. Улица узка. Балкон противоположного дома касается балкона комнаты ученого. Едва он открывает дверь, как шум улицы врывается в комнату. Из общего гула выделяются отдельные голоса.

Голоса. Арбузы, арбузы! Кусками!

— Вода, вода, ледяная вода!

— А вот — ножи для убийц! Кому нужны ножи для убийц?!

— Цветы, цветы! Розы! Лилии! Тюльпаны!

— Дорогу ослу, дорогу ослу! Посторонитесь, люди: идет осел!

— Подайте бедному немому!

— Яды, яды, свежие яды!

Ученый. Улица наша кипит, как настоящий котел. Как мне нравится здесь!.. Если бы не вечное мое беспокойство, если бы не казалось мне, что весь мир несчастен из-за того, что я не придумал еще, как спасти его, то было бы совсем хорошо. И когда девушка, живущая напротив, выходит на балкон, то мне кажется, что нужно сделать одно, только одно маленькое усилие — и все станет ясно.

В комнату входит очень красивая молодая женщина, прекрасно одетая. Она шурится, оглядывается. Ученый не замечает ее.

Если есть гармония в море, в горах, в лесу и в тебе, то, значит, мир устроен разумнее, чем...

Женщина. Это не будет иметь успеха.

Ученый (оборачивается). Простите!

Женщина. Нет, не будет. В том, что вы бормотали, нет и тени остроумия. Это новая ваша статья? Где же вы? Что это сегодня с вами? Вы не узнаете меня, что ли?

Ученый. Простите, нет.

Женщина. Довольно подшучивать над моей близорукостью. Это неэлегантно. Где вы там?

Ученый. Я здесь.

Женщина. Подойдите поближе.

Ученый. Вот я. *(Подходит к незнакомке.)*

Женщина *(она искренне удивлена)*. Кто вы?

Ученый. Я приезжий человек, живу здесь в гостинице. Вот кто я.

Женщина. Простите... Мои глаза опять подвели меня. Это не пятнадцатый номер?

Ученый. Нет, к сожалению.

Женщина. Какое у вас доброе и славное лицо! Почему вы до сих пор не в нашем кругу, не в кругу настоящих людей?

Ученый. А что это за круг?

Женщина. О, это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем все. Вы знамениты?

Ученый. Нет.

Женщина. Какая жалость! У нас это не принято. Но... Но я, кажется, готова простить вам это — до того вы мне вдруг понравились. Вы сердитесь на меня?

Ученый. Нет, что вы!

Женщина. Я немного посижу у вас. Можно?

Ученый. Конечно.

Женщина. Мне вдруг показалось, что вы как раз тот человек, которого я ищу всю жизнь. Бывало, покажется — по голосу и по речам — вот он, такой человек, а подойдет он поближе, и видишь — это совсем не то. А отступить уже поздно, слишком близко он подошел. Ужасная вещь быть красивой и близорукой. Я надоела вам?

Ученый. Нет, что вы!

Женщина. Как просто и спокойно вы отвечаете мне! А он раздражает меня.

Ученый. Кто?

Женщина. Тот, к которому я пришла. Он ужасно беспокойный человек. Он хочет нравиться всем на свете. Он раб моды. Вот, например, когда в моде было загорать, он загорел до того, что стал черен, как негр. А тут загар вдруг вышел из моды. И он решился на операцию. Кожу из-под трусов — это было единственное белое место на его теле — врачи пересадили ему на лицо.

Ученый. Надеюсь, это не повредило ему?

Женщина. Нет. Он только стал чрезвычайно бесстыден, и пощечину он теперь называет просто — шлепок.

Ученый. Почему же вы ходите к нему в гости?

Женщина. Ну, все-таки это человек из нашего круга, из круга настоящих людей. А кроме того, он работает в газете. Вы знаете, кто я?

Ученый. Нет.

Женщина. Я певица. Меня зовут Юлия Джули.

Ученый. Вы очень знамениты в этой стране!

Юлия. Да. Все знают мои песни «Мама, что такое любовь?», «Девы, спешите счастье найти», «Но к тоске его любовной остаюсь я хладнокровной» и «Ах, зачем я не лужайка». Вы доктор?

Ученый. Нет, я историк.

Юлия. Вы отдыхаете здесь?

Ученый. Я изучаю историю вашей страны.

Юлия. Наша страна — маленькая.

Ученый. Да, но история ее похожа на все другие. И это меня радует.

Юлия. Почему?

Ученый. Значит, есть на свете законы, общие для всех. Когда долго живешь на одном месте, в одной и той же комнате, и видишь одних и тех же людей, которых сам выбрал себе в друзья, то мир кажется очень простым. Но едва выедешь из дому — все делается чересчур уж разнообразным. И это...

За дверью кто-то испуганно вскрикивает. Звон разбитого стекла.

Кто там?

Входит, отряхиваясь, изящный молодой человек. За ним растерянная Аннунциата.

Молодой человек. Здравствуйте! Я стоял тут у вашей двери, и Аннунциата испугалась меня. Разве я так уж страшен?

Аннунциата (ученому). Простите, я разбила стакан с молоком, которое несла вам.

Молодой человек. А у меня вы не просите прощения?

Аннунциата. Но вы сами виноваты, сударь! За чем вы притаились у чужой двери и стояли не двигаясь?

Молодой человек. Я подслушивал. (Ученому.) Вам нравится моя откровенность? Все ученые — прямые люди. Вам должно это нравиться. Да? Ну скажите же, вам нравится моя откровенность? А я вам нравлюсь?

Юлия. Не отвечайте. Если вы скажете «да» — он вас будет презирать, а если скажете «нет» — он вас возненавидит.

Молодой человек. Юлия, Юлия, злая Юлия! (Ученому.) Разрешите представиться: Цезарь Борджиа. Слышали?

Ученый. Да.

Цезарь Борджиа. Ну? Правда? А что именно вы слышали?

Ученый. Многое.

Цезарь Борджиа. Меня хвалили? Или ругали? А кто именно?

Ученый. Просто я сам читал ваши критические и политические статьи в здешней газете.

Цезарь Борджиа. Они имеют успех. Но всегда кто-нибудь недоволен. Выругаешь человека, а он недоволен. Мне бы хотелось найти секрет полного успеха. Ради этого секрета я готов на все. Нравится вам моя откровенность?

Юлия. Идемте. Мы пришли к ученому, а ученые вечно заняты.

Цезарь Борджиа. Я предупредил господина ученого. Наш хозяин говорил ему, что я приду. А вы, блистательная Юлия, ошиблись комнатой?

Юлия. Нет, мне кажется, что я пришла как раз туда, куда следует.

Цезарь Борджиа. Но ведь вы шли ко мне! Я как раз кончаю статью о вас. Она понравится вам, но — уввы! — не понравится вашим подругам. (Ученому.) Вы разрешите еще раз зайти к вам сегодня?

Ученый. Пожалуйста.

Цезарь Борджиа. Я хочу написать статью о вас.

Ученый. Спасибо. Мне пригодится это для работы в ваших архивах. Меня там больше будут уважать.

Цезарь Борджиа. Хитрец! Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам. Здесь дело не в архиве.

Ученый. А в чем же?

Цезарь Борджиа. Хитрец! Вы всё глядите на соседний балкон.

Ученый. Разве я гляжу туда?

Цезарь Борджиа. Да. Вы думаете, там живет она.

Ученый. Кто?

Цезарь Борджиа. Не надо быть таким скрытным. Ведь вы историк, изучаете нашу страну, стало быть, вы знаете завещание нашего последнего короля, Людовика Девятого Мечтательного.

Ученый. Простите, но я дошел только до конца шестнадцатого века.

Цезарь Борджиа. Вот как? И вы ничего не слышали о завещании?

Ученый. Уверяю вас, нет.

Цезарь Борджиа. Странно. Почему же вы просили у хозяина отвести вам как раз эту комнату?

Ученый. Потому что здесь жил мой друг Ганс-Христиан Андерсен.

Цезарь Борджиа. Только поэтому?

Ученый. Даю вам слово, что это так. А какое отношение имеет моя комната к завещанию покойного короля?

Цезарь Борджиа. О, очень большое. До свидания! Позвольте проводить вас, блистательная Юлия.

Ученый. Разрешите спросить, что именно было написано в этом таинственном завещании?

Цезарь Борджиа. О нет, я не скажу. Я сам заинтересован в нем. Я хочу власти, почета, и мне ужасно не хватает денег. Ведь я, Цезарь Борджиа, имя которого известно всей стране, должен еще служить простым оценщиком в городском ломбарде. Нравится вам моя откровенность?

Юлия. Идемте! Идемте же! Вы тут всем понравились. Он никогда не уходит сразу. (Ученому.) Мы еще увидимся с вами.

Ученый. Я буду очень рад.

Цезарь Борджиа. Не радуйтесь прежде времени.

Цезарь Борджиа и Юлия Джули уходят.

Ученый. Аннунциата, сколько оценщиков в вашем городском ломбарде?

Аннунциата. Много.

Ученый. И все они бывшие людоеды?

Аннунциата. Почти все.

Ученый. Что с вами? Почему вы такая грустная?

Аннунциата. Ах, ведь я просила вас быть осторожным! Говорят, что эта певица Юлия Джули и есть та самая девочка, которая наступила на хлеб, чтобы сохранить свои новые башмачки.

Ученый. Но ведь та девочка, насколько я помню, была наказана за это.

Аннунциата. Да, она провалилась сквозь землю, но потом выкарабкалась обратно и с тех пор опять наступает и наступает на хороших людей, на лучших подруг, даже на

самое себя — и все это для того, чтобы сохранить свои новые башмачки, чулочки и платица. Сейчас я принесу вам другой стакан молока.

Ученый. Погодите! Я не хочу пить, мне хочется поговорить с вами.

Аннунциата. Спасибо вам за это.

Ученый. Скажите, пожалуйста, какое завещание оставил ваш покойный король Людовик Девятый Мечтательный?

Аннунциата. О, это тайна, страшная тайна! Завещание было запечатано в семи конвертах семью сургучными печатями и скреплено подписями семи тайных советников. Вскрывала и читала завещание принцесса в полном одиночестве. У окон и дверей стояла стража, заткнув уши на всякий случай, хотя принцесса читала завещание про себя. Что сказано в этом таинственном документе, знает только принцесса и весь город.

Ученый. Весь город?

Аннунциата. Да.

Ученый. Каким же это образом?

Аннунциата. Никто не может объяснить этого. Уж, кажется, все предосторожности были соблюдены. Это просто чудо. Завещание знают все. Даже уличные мальчишки.

Ученый. Что же в нем сказано?

Аннунциата. Ах, не спрашивайте меня.

Ученый. Почему?

Аннунциата. Я очень боюсь, что завещание это — начало новой сказки, которая кончится печально.

Ученый. Аннунциата, ведь я приезжий. Завещание вашего короля меня никак не касается. Расскажите. А то получается нехорошо: я ученый, историк — и вдруг не знаю того, что известно каждому уличному мальчишке! Расскажите, пожалуйста.

Аннунциата *(вздыхая)*. Ладно, расскажу. Когда хороший человек меня просит, я не могу ему отказать. Наша кухарка говорит, что это доведет меня до большой беды. Но пусть беда эта падет на мою голову, а не на вашу. Итак... Вы не слушаете меня?

Ученый. Что вы!

Аннунциата. А почему вы смотрите на балкон противоположного дома?

Ученый. Нет, нет... Вот видите, я уселся поудобнее, закурил трубку и глаз не свожу с вашего лица.

Аннунциата. Спасибо. Итак, пять лет назад умер наш король Людовик Девятый Мечтательный. Уличные

мальчишки называли его не мечтательным, а дурачком, но это неверно. Покойный, правда, часто показывал им язык, высунувшись в форточку, но ребята сами были виноваты. Зачем они дразнили его? Покойный был умный человек, но такая уж должность королевская, что характер от нее портится. В самом начале его царствования первый министр, которому государь верил больше, чем родному отцу, отравил любимую сестру короля. Король казнил первого министра. Вторым первым министром не был отравителем, но он так лгал королю, что тот перестал верить всем, даже самому себе. Третьим первым министром не был лжецом, но он был ужасно хитер. Он плел, и плел, и плел тончайшие паутины вокруг самых простых дел. Король во время его последнего доклада хотел сказать: «утверждаю» и вдруг зажужжал тоненько, как муха, попавшая в паутину. И министр слетел по требованию королевского лейб-медика. Четвертым первым министром не был хитер. Он был прям и прост. Он украл у короля золотую табакерку и бежал. И государь махнул рукой на дела управления. Первые министры с тех пор стали сами сменять друг друга. А государь занялся театром. Но говорят, что это еще хуже, чем управлять государством. После года работы в театре король стал цепенеть.

**Ученый.** Как цепенеть?

**Аннунциата.** А очень просто. Идет — и вдруг застынет, подняв одну ногу. И лицо его при этом выражает отчаяние. Лейб-медик объяснял это тем, что король неизлечимо запутался, пытаясь понять отношения работников театра друг к другу. Ведь их так много!

**Ученый.** Лейб-медик был прав.

**Аннунциата.** Он предлагал простое лекарство, которое несомненно вылечило бы бедного короля. Он предлагал казнить половину труппы, но король не согласился.

**Ученый.** Почему?

**Аннунциата.** Он никак не мог решить, какая именно половина труппы заслуживает казни. И наконец король махнул рукой на все и стал увлекаться плохими женщинами, и только они не обманули его.

**Ученый.** Неужели?

**Аннунциата.** Да, да! Уж они-то оказались воистину плохими женщинами. То есть в точности такими, как о них говорили. И это очень утешило короля, но вконец расстроило его здоровье. И у него отнялись ноги. И с тех пор его стали возить в кресле по дворцу, а он все молчал и думал,

думал, думал. О чем он думал, он не говорил никому. Изредка государь приказывал подвезти себя к окну и, открывши форточку, показывал язык уличным мальчишкам, которые прыгали и кричали: «Дурачок, дурачок, дурачок!» А потом король составил завещание. А потом умер.

**Ученый.** Наконец-то мы подошли к самой сути дела.

**Аннунциата.** Когда король умер, его единственной дочери, принцессе, было тринадцать лет. «Дорогая, — писал он ей в завещании, — я прожил свою жизнь плохо, ничего не сделал. Ты тоже ничего не сделаешь — ты отравлена дворцовым воздухом. Я не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца. Я знаю наперечет всех принцев мира. Все они слишком большие дураки для такой маленькой страны, как наша. Когда тебе исполнится восемнадцать лет, поселись где-нибудь в городе и ищи, ищи, ищи. Найди себе доброго, честного, образованного и умного мужа. Пусть это будет незнатный человек. А вдруг ему удастся сделать то, что не удавалось ни одному из знатнейших? Вдруг он сумеет управлять, и хорошо управлять? А? Вот будет здорово! Так постарайся, пожалуйста. Папа».

**Ученый.** Так он и написал?

**Аннунциата.** В точности. На кухне столько раз повторяли завещание, что я запомнила его слово в слово.

**Ученый.** И принцесса теперь живет в городе?

**Аннунциата.** Да. Но ее не так просто найти.

**Ученый.** Почему?

**Аннунциата.** Масса плохих женщин сняли целые этажи домов и притворяются принцессами.

**Ученый.** А разве вы не знаете свою принцессу в лицо?

**Аннунциата.** Нет. Прочтя завещание, принцесса стала носить маску, чтобы ее не узнали, когда она отправится искать мужа.

**Ученый.** Скажите, она... *(Замолкает.)*

На балкон противоположного дома выходит девушка с белокурыми волосами, в темном и скромном наряде.

А скажите, она... О чем это я вас хотел спросить?.. Впрочем... нет, ни о чем.

**Аннунциата.** Вы опять не смотрите на меня?

**Ученый.** Как не смотрю?.. А куда же я смотрю?

**Аннунциата.** Вон туда... Ах! Разрешите, я закрою дверь на балкон.

**Ученый.** Зачем же? Не надо! Ведь только сейчас стало по-настоящему прохладно.

**А н н у н ц и а т а.** После заката солнца следует закрывать окна и двери. Иначе можно заболеть малярией. Нет, не в малярии здесь дело! Не надо смотреть туда. Пожалуйста... Вы сердитесь на меня? Не сердитесь... Не смотрите на эту девушку. Позвольте мне закрыть дверь на балкон. Вы ведь все равно что маленький ребенок. Вы вот не любите супа, а без супа что за обед! Вы отдаете белье в стирку без записи. И с таким же добродушным, веселым лицом пойдете вы прямо на смерть. Я говорю так смело, что сама перестаю понимать, что говорю: это дерзость, но нельзя же не предупредить вас. Об этой девушке говорят, что она нехорошая женщина... Стойте, стойте... Это, по-моему, не так страшно... Я боюсь, что тут дело похуже.

**У ч е н ы й.** Вы думаете?

**А н н у н ц и а т а.** Да. А вдруг эта девушка принцесса? Тогда что? Что вы будете делать тогда?

**У ч е н ы й.** Конечно, конечно.

**А н н у н ц и а т а.** Вы не слышали, что я вам сказала?

**У ч е н ы й.** Вот как!

**А н н у н ц и а т а.** Ведь если она действительно принцесса, все захотят жениться на ней и вас растопчут в давке.

**У ч е н ы й.** Да, да, конечно.

**А н н у н ц и а т а.** Нет, я вижу, что мне тут ничего не поделать. Какая я несчастная девушка, сударь.

**У ч е н ы й.** Не правда ли?

Аннунциата идет к выходной двери. Ученый — к двери, ведущей на балкон. Аннунциата оглядывается. Останавливается.

**А н н у н ц и а т а.** До свидания, сударь. (*Тихо, с неожиданной энергией.*) Никому не позволю тебя обижать. Ни за что. Никогда. (*Уходит.*)

Ученый смотрит на девушку, стоящую на противоположном балконе, она глядит вниз, на улицу. Ученый начинает говорить тихо, потом все громче.

К концу его монолога девушка смотрит на него не отрываясь.

**У ч е н ы й.** Конечно, мир устроен разумнее, чем кажется. Еще немножко — дня два-три работы — и я пойму, как сделать всех людей счастливыми. Все будут счастливы, но не так, как я. Я только здесь, вечерами, когда вы стоите на балконе, стал понимать, что могу быть счастлив, как ни один человек. Я знаю вас, — вас нельзя не знать. Я понимаю вас, как понимаю хорошую погоду, луну, дорожку в горах. Ведь это так просто. Я не могу точно сказать, о чем вы

думаете, но зато знаю точно, что мысли ваши обрадовали бы меня, как ваше лицо, ваши косы и ресницы. Спасибо вам за все: за то, что вы выбрали себе этот дом, за то, что родились и живете тогда же, когда живу я. Что бы я стал делать, если бы вдруг не встретил вас! Страшно подумать!

Девушка. Вы говорите это наизусть?

Ученый. Я... я...

Девушка. Продолжайте.

Ученый. Вы заговорили со мной.

Девушка. Вы сами сочинили все это или заказали кому-нибудь?

Ученый. Простите, но голос ваш так поразил меня, что я ничего не понимаю.

Девушка. Вы довольно ловко увильваете от прямого ответа. Пожалуй, вы сами сочинили то, что говорили мне. А может быть, и нет. Ну хорошо, оставим это. Мне скучно сегодня. Как это у вас хватает терпения целый день сидеть в одной комнате? Это кабинет?

Ученый. Простите?

Девушка. Это кабинет, или гардеробная, или гостиная, или одна из зал?

Ученый. Это просто моя комната. Моя единственная комната.

Девушка. Вы нищий?

Ученый. Нет, я ученый.

Девушка. Ну пусть. У вас очень странное лицо.

Ученый. Чем же?

Девушка. Когда вы говорите, то кажется, будто вы не лжете.

Ученый. Я и в самом деле не лгу.

Девушка. Все люди — лжецы.

Ученый. Неправда.

Девушка. Нет, правда. Может быть, вам и не лгут — у вас всего одна комната, — а мне вечно лгут. Мне жалко себя.

Ученый. Да что вы говорите? Вас обижают? Кто?

Девушка. Вы так ловко притворяетесь внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам.

Ученый. Вы так несчастны?

Девушка. Не знаю. Да.

Ученый. Почему?

Девушка. Так. Все люди — негодяи.

Ученый. Не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал себе самую ужасную дорогу в жизни. Они безжа-

лостно душат, давят, грабят, клеветают: кого жалеть, — ведь все люди негодяи!

Девушка. Так, значит, не все?

Ученый. Нет.

Девушка. Хорошо, если бы это было так. Я ужасно боюсь превратиться в лягушку.

Ученый. Как в лягушку?

Девушка. Вы слышали сказку про царевну-лягушку? Ее неверно рассказывают. На самом деле все было иначе. Я это знаю точно. Царевна-лягушка — моя тетя.

Ученый. Тетя?

Девушка. Да. Двоюродная. Рассказывают, что царевну-лягушку поцеловал человек, который полюбил ее, несмотря на безобразную наружность. И лягушка от этого превратилась в прекрасную женщину. Так?

Ученый. Да, насколько я помню.

Девушка. А на самом деле тетя моя была прекрасная девушка, и она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были холодны и так отвратительны, что прекрасная девушка превратилась в скором времени в холодную и отвратительную лягушку. Нам, родственникам, это было очень неприятно. Говорят, что такие вещи случаются гораздо чаще, чем можно предположить. Только тетя моя не сумела скрыть своего превращения. Она была крайне несдержанна. Это ужасно. Не правда ли?

Ученый. Да, это очень грустно.

Девушка. Вот видите! А вдруг и мне суждено это? Мне ведь придется выйти замуж. Вы наверное знаете, что не все люди негодяи?

Ученый. Совершенно точно знаю. Ведь я историк.

Девушка. Вот было бы хорошо! Впрочем, я не верю вам.

Ученый. Почему?

Девушка. Вообще я никому и ничему не верю.

Ученый. Нет, не может этого быть. У вас такой здоровый цвет лица, такие живые глаза. Не верить ничему — да ведь это смерть!

Девушка. Ах, я все понимаю.

Ученый. Все понимать — это тоже смерть.

Девушка. Все на свете одинаково. И те правы, и эти правы, и, в конце концов, мне все безразлично.

Ученый. Все безразлично, — да ведь это еще хуже смерти! Вы не можете так думать. Нет! Как вы огорчили меня!

Девушка. Мне все равно... Нет, мне не все равно, оказывается. Теперь вы не будете больше каждый вечер смотреть на меня?

Ученый. Буду. Все не так просто, как кажется. Мне казалось, что ваши мысли гармоничны, как вы... Но вот они передо мной... Они вовсе не похожи на те, которые я ждал... И все-таки... все-таки я люблю вас...

Девушка. Любите?

Ученый. Я люблю вас...

Девушка. Ну вот... я все понимала, ни во что не верила, мне все было безразлично, а теперь все перепуталось...

Ученый. Я люблю вас...

Девушка. Уйдите... Или нет... Нет, уйдите и закройте дверь... Нет, я уйду... Но... если вы завтра вечером осмелитесь... осмелитесь не прийти сюда на балкон, я... я... прикажу... нет... я просто огорчусь. (*Идет к двери, оборачивается.*) Я даже не знаю, как вас зовут.

Ученый. Меня зовут Христиан-Теодор.

Девушка. До свидания, Христиан-Теодор, милый. Не улыбайтесь! Не думайте, что вы ловко обманули меня. Нет, не огорчайтесь... Я говорю это просто так... Когда вы сказали так вот, вдруг, прямо, что любите меня, мне стало тепло, хотя я вышла на балкон в кисейном платье. Не смейте говорить со мной! Довольно! Если я услышу еще хоть слово, я заплачу. До свидания! Какая я несчастная девушка, сударь. (*Уходит.*)

Ученый. Ну вот... Мне казалось, что еще миг — и я все пойму, а теперь мне кажется, еще миг — и я запутаюсь совсем. Боюсь, что эта девушка действительно принцесса. «Все люди негодяи, всё на свете одинаково, мне всё безразлично, я ни во что не верю» — какие явственные признаки злокачественного малокровия, обычного у изнеженных людей, выросших в тепличном воздухе! Ее... Она... Но ведь все-таки ей вдруг стало тепло, когда я признался, что люблю ее! Значит, крови-то у нее в жилах все-таки достаточно? (*Смеется.*) Я уверен, я уверен, что все кончится прекрасно. Тень, моя добрая, послушная тень! Ты так покорно лежишь у моих ног. Голова твоя глядит в дверь, в которую ушла незнакомая девушка. Взяла бы ты, тень, да пошла туда к ней. Что тебе стоит! Взяла бы да сказала ей: «Всё это глупости. Мой господин любит вас, так любит, что всё будет прекрасно. Если вы царевна-лягушка, то он оживит вас и превратит в прекрасную женщину». Словом, ты знаешь, что надо говорить, ведь мы выросли вместе. (*Смеется.*) Иди.

Ученый отходит от двери. Тень ученого вдруг отделяется от него. Вытягивается в полный рост на противоположном балконе. Нырнет в дверь, которую девушка, уходя, оставила полуоткрытой.

Что это?.. У меня какое-то странное чувство в ногах... и во всем теле... Я... я заболел? Я... (*Шатается, падает в кресло, звонит.*)

Вбегает Аннунциата.

Аннунциата! Вы, кажется, были правы.

Аннунциата. Это была принцесса?

Ученый. Нет! Я заболел. (*Закрывает глаза.*)

Аннунциата (*бежит к двери*). Отец!

Входит Пьетро.

Пьетро. Не ори. Не знаешь, что ли, что отец подслушивает тут под дверью.

Аннунциата. Я не заметила.

Пьетро. Родного отца не замечает... Дожили! Ну? Чего ты мигаешь? Вздумала реветь?

Аннунциата. Он заболел.

Пьетро. Разрешите, сударь, я помогу вам лечь в постель.

Ученый (*встает.*) Нет. Я сам. Не прикасайтесь, пожалуйста, ко мне...

Пьетро. Чего вы боитесь? Я вас не съем!

Ученый. Не знаю. Ведь я так ослабел вдруг. (*Идет к ширмам, за которыми стоит кровать.*)

Аннунциата (*тихо, с ужасом*). Смотри!

Пьетро. Что еще?

Аннунциата. У него нет тени.

Пьетро. Да ну? Действительно нет... Проклятый климат! И как его угораздило? Пойдут слухи. Подумают, что это эпидемия...

Ученый скрывается за ширмами.

Никому ни слова. Слышишь ты?

Аннунциата (*у ширмы*). Он в обмороке.

Пьетро. Тем лучше. Беги за доктором. Доктор уложит дурака в кровать недели на две, а тем временем у него вырастет новая тень. И никто ничего не узнает.

Аннунциата. Человек без тени — ведь это одна из самых печальных сказок на свете.

Пь е т р о. Говорят тебе, у него вырастет новая тень!  
Выкрутится... Беги!

А н н у н ц и а т а убегает.

Черт... Хорошо еще, что этот газетчик занят с дамой и ничего не пронюхал.

Входит Цезарь Борджиа.

Цезарь Борджиа. Добрый вечер!

Пь е т р о. Ах, вы тут как тут... Дьявол... Где ваша баба?

Цезарь Борджиа. Ушла на концерт.

Пь е т р о. К дьяволу все концерты!

Цезарь Борджиа. Ученый в обмороке?

Пь е т р о. Да, будь он проклят.

Цезарь Борджиа. Слышали?

Пь е т р о. Что именно?

Цезарь Борджиа. Его разговор с принцессой.

Пь е т р о. Да.

Цезарь Борджиа. Короткий ответ. Что же вы не проклинаете всё и вся, не палите из пистолета, не кричите?

Пь е т р о. В серьезных делах я тих.

Цезарь Борджиа. Похоже на то, что это настоящая принцесса.

Пь е т р о. Да. Это она.

Цезарь Борджиа. Я вижу, вам хочется, чтобы он женился на принцессе.

Пь е т р о. Мне? Я съем его при первой возможности.

Цезарь Борджиа. Надо будет его съесть. Да, надо, надо. По-моему, сейчас самый подходящий момент. Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения.

Пь е т р о. Тень.

Цезарь Борджиа. Что тень?

Пь е т р о. Надо будет найти его тень.

Цезарь Борджиа. Зачем же?

Пь е т р о. Она поможет нам. Она не простит ему никогда в жизни, что когда-то была его тенью.

Цезарь Борджиа. Да, она поможет нам съесть его.

Пь е т р о. Тень — полная противоположность ученому.

Цезарь Борджиа. Но... Но ведь тогда она может оказаться сильнее, чем следует.

Петро. Пусть. Тень не забудет, что мы помогли ей выйти в люди. И мы съедем его.

Цезарь Борджиа. Да, надо будет съесть его. Надо, надо!

Петро. Тише!

Вбегает Аннунциата.

Аннунциата. Уходите отсюда! Что вам тут нужно?

Петро. Дочь! *(Достает пистолет.)* А впрочем, идемте ко мне. Там поговорим. Доктор идет?

Аннунциата. Да, бежит бегом. Он говорит, что это серьезный случай.

Петро. Ладно.

Уходит вместе с Цезарем Борджиа.

Аннунциата *(заглядывая за ширму)*. Так я и знала! Лицо спокойное, доброе, как будто он видит во сне, что гуляет в лесу под деревьями. Нет, не простят ему, что он такой хороший человек! Что-то будет, что-то будет!

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Парк. Усыпанная песком площадка, окруженная подстриженными деревьями. В глубине павильон. Мажордом и помощник его возятся на авансцене.

Мажордом. Стол ставь сюда. А сюда кресла. Поставь на стол шахматы. Вот. Теперь все готово для заседания.

Помощник. А скажите, господин мажордом, почему господа министры заседают тут, в парке, а не во дворце?

Мажордом. Потому что во дворце есть стены. Понял?

Помощник. Никак нет.

Мажордом. А у стен есть уши. Понял?

Помощник. Да, теперь понял.

Мажордом. То-то. Положи подушки на это кресло.

Помощник. Это для господина первого министра?

М а ж о р д о м. Нет, для господина министра финансов. Он тяжело болен.

П о м о щ н и к. А что с ним?

М а ж о р д о м. Он самый богатый делец в стране. Соперники страшно ненавидят его. И вот один из них в прошлом году пошел на преступление. Он решился отравить господина министра финансов.

П о м о щ н и к. Какой ужас!

М а ж о р д о м. Не огорчайся прежде времени. Господин министр финансов вовремя узнал об этом и скупил все яды, какие есть в стране.

П о м о щ н и к. Какое счастье!

М а ж о р д о м. Не радуйся прежде времени. Тогда преступник пришел к господину министру финансов и дал необычайно высокую цену за яды. И господин министр поступил вполне естественно. Министр ведь реальный политик. Он подсчитал прибыль и продал негодяю весь запас своих зелий. И негодяй отравил министра. Вся семья его превосходительства изволила скончаться в страшных мучениях. И сам он с тех пор еле жив, но заработал он на этом двести процентов чистых. Дело есть дело. Понял?

П о м о щ н и к. Да, теперь понял.

М а ж о р д о м. Ну, то-то. Итак, все готово? Кресла. Шахматы. Сегодня тут состоится особенно важное совещание.

П о м о щ н и к. Почему вы думаете?

М а ж о р д о м. Во-первых, встретятся всего два главных министра — первый и финансов, а во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. Всем известно, что это значит. Кусты, наверное, так и кишат любопытными.

П о м о щ н и к. А вдруг любопытные подслушают то, что говорят господа министры?

М а ж о р д о м. Любопытные ничего не узнают.

П о м о щ н и к. Почему?

М а ж о р д о м. Потому что господа министры понимают друг друга с полуслова. Много ты поймешь из полуслов! *(Внезапно склоняется в низком поклоне.)* Они идут. Я так давно служу при дворе, что моя поясница сгибается сама собой при приближении высоких особ. Я их еще не вижу и не слышу, а уже кланяюсь. Поэтому-то я и главный. Понял? Кланяйся же!.. Ниже.

Мажордом сгибается до земли. Помощник за ним. С двух сторон сцены, справа и слева, одновременно выходят два министра — первый министр и министр финансов. Первый — небольшого роста

человек с брюшком, плешью, румяный, ему за пятьдесят. Министр финансов — иссохший, длинный, с ужасом озирающийся, хромот на обе ноги. Его ведут под руки два рослых лакея. Министры одновременно подходят к столу, одновременно садятся и сразу принимаются играть в шахматы. Лакеи, приведшие министра финансов, усадив его, бесшумно удаляются. Мажордом и его помощник остаются на сцене. Стоят навтытяжку.

Первый министр. Здоровье?

Министр финансов. Отвраща.

Первый министр. Дела?

Министр финансов. Очень пло.

Первый министр. Почему?

Министр финансов. Конкуре.

Играют молча в шахматы.

Мажордом (*шепотом*). Видишь, я говорил тебе, что они понимают друг друга с полуслова.

Первый министр. Слыхали о принцессе?

Министр финансов. Да, мне докла.

Первый министр. Этот приезжий ученый похитил ее сердце.

Министр финансов. Похитил?! Подождите... Лакей! Нет, не вы... Мой лакей!

Входит один из лакеев, приведших министра.

Лакей! Вы все двери заперли, когда мы уходили?

Лакей. Все, ваше превосходительство.

Министр финансов. И железную?

Лакей. Так точно.

Министр финансов. И медную?

Лакей. Так точно.

Министр финансов. И чугунную?

Лакей. Так точно.

Министр финансов. И капканы расставили? Помните, вы отвечаете жизнью за самую ничтожную пропажу.

Лакей. Помню, ваше превосходительство.

Министр финансов. Ступайте...

Лакей уходит.

Я слушаю.

Первый министр. По сведениям дежурных тайных советников, принцесса третьего дня долго глядела в

зеркало, потом заплакала и сказала (*достает записную книжку, читает*): «Ах, почему я пропадаю напрасно?» — и в пятый раз послала спросить о здоровье ученого. Узнав, что особых изменений не произошло, принцесса топнула ногой и прошептала (*читает*): «Черт побери!» А сегодня она ему назначила свидание в парке. Вот. Как вам это нра?

Министр финансов. Совсем мне это не нра! Кто он, этот ученый?

Первый министр. Ах, он изучен мною до тонкости.

Министр финансов. Шантажист?

Первый министр. Хуже...

Министр финансов. Вор?

Первый министр. Еще хуже.

Министр финансов. Авантюрист, хитрец, ловкач?

Первый министр. О, если бы...

Министр финансов. Так что же он, наконец?

Первый министр. Простой, наивный человек.

Министр финансов. Шах королю.

Первый министр. Рокируюсь...

Министр финансов. Шах королеве.

Первый министр. Бедная принцесса! Шантажиста мы разоблачили бы, вора поймали бы, ловкача и хитреца перехитрили бы, а этот... Поступки простых и честных людей иногда так загадочны!

Министр финансов. Надо его или ку, или у.

Первый министр. Да, другого выхода нет.

Министр финансов. В городе обо всем этом уже проню?

Первый министр. Еще бы не проню!

Министр финансов. Так и знал. Вот отчего благоразумные люди переводят золото за границу в таком количестве. Один банкир третьего дня перевел за границу даже свои золотые зубы. И теперь он все время ездит за границу туда и обратно. На родине ему теперь нечем пережевывать пищу.

Первый министр. По-моему, ваш банкир проявил излишнюю нервность.

Министр финансов. Это чуткость! Нет на свете более чувствительного организма, чем деловые круги. Одно завещание короля вызвало семь банкротств, семь са-

моубийств, и все ценности упали на семь пунктов. А сейчас... О, что будет сейчас! Никаких перемен, господин первый министр! Жизнь должна идти ровно, как часы.

Первый министр. Кстати, который час?

Министр финансов. Мои золотые часы переправлены за границу. А если я буду носить серебряные, то пойдут слухи, что я разорился, и это вызовет панику в деловых кругах.

Первый министр. Неужели в нашей стране совсем не осталось золота?

Министр финансов. Его больше, чем нужно.

Первый министр. Откуда?

Министр финансов. Из-за границы. Заграничные деловые круги волнуются по своим заграничным причинам и переводят золото к нам. Так мы и живем. Подведем итог. Следовательно, ученого мы купим.

Первый министр. Или убьем.

Министр финансов. Каким образом мы это сделаем?

Первый министр. Самым деликатным! Ведь в дело замешано такое чувство, как любовь! Я намерен расправиться с ученым при помощи дружбы.

Министр финансов. Дружбы?

Первый министр. Да. Для этого необходимо найти человека, с которым дружен наш ученый. Друг знает, что он любит, чем его можно купить. Друг знает, что он ненавидит, что для него чистая смерть. Я приказал в канцелярии добыть друга.

Министр финансов. Это ужасно.

Первый министр. Почему?

Министр финансов. Ведь ученый — приезжий, следовательно, друга ему придется выписывать из-за границы. А по какой графе я проведу этот расход? Каждое нарушение сметы вызывает у моего главного бухгалтера горькие слезы. Он будет рыдать как ребенок, а потом впадет в бредовое состояние. На некоторое время он прекратит выдачу денег вообще. Всем. Даже мне. Даже вам.

Первый министр. Да ну? Это неприятно. Ведь судьба всего королевства поставлена на карту. Как же быть?

Министр финансов. Не знаю.

Первый министр. А кто же знает?

Помощник (*выступая вперед*). Я.

Министр финансов (*вскакивая*). Что это? Начинается?

Первый министр. Успокойтесь, пожалуйста. Если это и начнется когда-нибудь, то не с дворцовых лакеев.

Министр финансов. Так это не бунт?

Первый министр. Нет. Это просто дерзость. Кто вы?

Помощник. Я тот, кого вы ищете. Я друг ученого, ближайший друг его. Мы не расставались с колыбели до последних дней.

Первый министр. Послушайте, любезный друг, вы знаете, с кем вы говорите?

Помощник. Да.

Первый министр. Почему же вы не называете меня «ваше превосходительство»?

Помощник (*с глубоким поклоном*). Простите, ваше превосходительство.

Первый министр. Вы приезжий?

Помощник. Я появился на свет в этом городе, ваше превосходительство.

Первый министр. И тем не менее вы друг приезжего ученого?

Помощник. Я как раз тот, кто вам нужен, ваше превосходительство. Я знаю его как никто, а он меня совсем не знает, ваше превосходительство.

Первый министр. Странно.

Помощник. Если вам угодно, я скажу, кто я, ваше превосходительство.

Первый министр. Говорите. Чего вы озираетесь?

Помощник. Разрешите мне написать на песке, кто я, ваше превосходительство.

Первый министр. Пишите.

Помощник чертит что-то на песке. Министры читают и переглядываются.

Что вы ска?

Министр финансов (*подходя*). Но будьте осторо! А то он заломит це.

Первый министр. Так. Кто устроил вас на службу во дворец?

Помощник. Господин Цезарь Борджиа и господин Пьетро, ваше превосходительство.

**Первый министр** (*министру финансов*). Вам знакомы эти имена?

**Министр финансов**. Да, вполне надежные людоеды.

**Первый министр**. Хорошо, любезный, мы подумаем.

**Помощник**. Осмелюсь напомнить вам, что мы на юге, ваше превосходительство.

**Первый министр**. Ну так что?

**Помощник**. На юге все так быстро растет, ваше превосходительство. Ученый и принцесса заговорили друг с другом всего две недели назад и не виделись с тех пор ни разу, а смотрите, как выросла их любовь, ваше превосходительство! Как бы нам не опоздать, ваше превосходительство!

**Первый министр**. Я ведь сказал вам, что мы подумаем. Станьте в сторону.

Министры задумываются.

Подойдите сюда, любезный.

Помощник выполняет приказ.

Мы подумали и решили взять вас на службу в канцелярию первого министра.

**Помощник**. Спасибо, ваше превосходительство. По-моему, с ученым надо действовать так...

**Первый министр**. Что с вами, любезный? Вы собираетесь действовать, пока вас еще не оформили? Да вы сошли с ума! Вы не знаете, что ли, что такое канцелярия?

**Помощник**. Простите, ваше превосходительство.

Взрыв хохота за кулисами.

**Первый министр**. Сюда идут курортники. Они помешают нам. Пройдемте в канцелярию, и там я оформлю ваше назначение. После этого мы, так и быть, выслушаем вас.

**Помощник**. Спасибо, ваше превосходительство.

**Министр финансов**. Лакеи!

Появляются лакеи.

Уведите меня.

Уходят. Распахиваются двери павильона, и оттуда появляется доктор — молодой человек, в высшей степени угрюмый и сосредоточенный. Его окружают курортники, легко, но роскошно одетые.

1 - я курортница. Доктор, а отчего у меня под коленкой бывает чувство, похожее на задумчивость?

Доктор. Под которой коленкой?

1 - я курортница. Под правой.

Доктор. Пройдет.

2 - я курортница. А почему у меня за едой, между восьмым и девятым блюдом, появляются меланхолические мысли?

Доктор. Какие, например?

2 - я курортница. Ну, мне вдруг хочется удалиться в пустыню и там предаться молитвам и посту.

Доктор. Пройдет.

1 - й курортник. Доктор, а почему после сороковой ванны мне вдруг перестали нравиться шатенки?

Доктор. А кто вам нравится теперь?

1 - й курортник. Одна блондинка.

Доктор. Пройдет. Господа, позвольте вам напомнить, что целебный час кончился. Сестра милосердия, вы свободны. Сестра развлечения, приступайте к своим обязанностям.

Сестра развлечения. Кому дать мячик? Кому скакалку? Обручи, обручи, господа! Кто хочет играть в пятнашки? В палочку-выручалочку? В кошки-мышки? Время идет, господа, ликуйте, господа, играйте!

Курортники расходятся, играя. Входят ученый и Аннунциата.

Аннунциата. Доктор, он сейчас купил целый лоток леденцов.

Ученый. Но ведь я роздал леденцы уличным мальчишкам.

Аннунциата. Все равно! Разве больному можно покупать сладости?

Доктор (ученому). Станьте против солнца. Так. Тень ваша выросла до нормальных размеров. Этого и следовало ожидать — на юге все так быстро растет. Как вы себя чувствуете?

Ученый. Я чувствую, что совершенно здоров.

Доктор. Все-таки я выслушаю вас. Нет, не надо снимать сюртук: у меня очень чуткие уши. (Берет со стола в павильоне стетоскоп.) Так. Вздохните. Вздохните глубоко.

Тяжело вздохните. Еще раз. Вздохните с облегчением. Еще раз. Посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на все рукой. Еще раз. Пожмите плечами. Так. (*Садится и задумывается.*)

Ученый достает из бокового кармана сюртука пачку писем. Роется в них.

А н н у н ц и а т а. Ну, что вы скажете, доктор? Как идут его дела?

Д о к т о р. Плохо.

А н н у н ц и а т а. Ну вот видите, а он говорит, что совершенно здоров.

Д о к т о р. Да, он здоров. Но дела его идут плохо. И пойдут еще хуже, пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока он не махнет на все рукой, пока он не овладеет искусством пожимать плечами.

А н н у н ц и а т а. Как же быть, доктор? Как его научить всему этому?

Доктор молча пожимает плечами.

Ответьте мне, доктор. Ну, пожалуйста. Ведь я все равно не отстану, вы знаете, какая я упрямая. Что ему надо делать?

Д о к т о р. Беречься!

А н н у н ц и а т а. А он улыбается.

Д о к т о р. Да, это бывает.

А н н у н ц и а т а. Он ученый, он умный, он старше меня, но иногда мне хочется его просто отшлепать. Ну поговорите же с ним!

Доктор машет рукой.

Доктор!

Д о к т о р. Вы же видите, он не слушает меня. Он уткнулся носом в какие-то записки.

А н н у н ц и а т а. Это письма от принцессы. Сударь! Доктор хочет поговорить с вами, а вы не слушаете.

У ч е н ы й. Как не слушаю! Я все слышал.

А н н у н ц и а т а. И что вы скажете на это?

У ч е н ы й. Скажу, скажу...

А н н у н ц и а т а. Сударь!

У ч е н ы й. Сейчас! Я не могу найти тут... (*Бормочет.*) Как написала она — «всегда с вами» или «навсегда с вами»?

А н н у н ц и а т а (*жалобно*). Я застрелю вас!

Ученый. Да, да, пожалуйста.

Доктор. Христиан-Теодор! Ведь вы ученый... Выслушайте же меня наконец. Я все-таки ваш товарищ.

Ученый (*пряча письма*). Да, да. Простите меня.

Доктор. В народных преданиях о человеке, который потерял тень, в монографиях Шамиссо и вашего друга Ганса Христиана Андерсена говорится, что...

Ученый. Не будем вспоминать о том, что там говорится. У меня все кончится иначе.

Доктор. Ответьте мне как врачу — вы собираетесь жениться на принцессе?

Ученый. Конечно.

Доктор. А я слышал, что вы мечтаете как можно больше людей сделать счастливыми.

Ученый. И это верно.

Доктор. И то и другое не может быть верно.

Ученый. Почему?

Доктор. Женившись на принцессе, вы станете королем.

Ученый. В том-то и сила, что я не буду королем! Принцесса любит меня, и она уедет со мной. А корону мы отвергнем — видите, как хорошо! И я объясню всякому, кто спросит, и втолкую самым нелюбопытным: королевская власть бессмысленна и ничтожна. Поэтому-то я и отказался от престола.

Доктор. И люди поймут вас?

Ученый. Конечно! Ведь я докажу им это живым примером.

Доктор молча машет рукой.

Человеку можно объяснить все. Ведь азбуку он понимает, а это еще проще, чем азбука, и, главное, так близко касается его самого!

Через сцену, играя, пробегают курортники.

Доктор (*указывая на них*). И эти тоже поймут вас?

Ученый. Конечно! В каждом человеке есть что-то живое. Надо его за живое задеть — и все тут.

Доктор. Ребенок! Я их лучше знаю. Ведь они у меня лечатся.

Ученый. А чем они больны?

Доктор. Сытостью в острой форме.

Ученый. Это опасно?

Д о к т о р. Да, для окружающих.

У ч е н ы й. Чем?

Д о к т о р. Сытость в острой форме внезапно овладевает даже достойными людьми. Человек честным путем заработал много денег. И вдруг у него появляется зловещий симптом: особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека. Тут ему и конец. Отныне он бесплоден, слеп и жесток.

У ч е н ы й. А вы не пробовали объяснить им все?

Д о к т о р. Вот от этого я и хотел вас предостеречь. Горе тому, кто попробует заставить их думать о чем-нибудь, кроме денег. Это их приводит в настоящее бешенство.

Пробегают курортники.

У ч е н ы й. Посмотрите, они веселы!

Д о к т о р. Отдыхают!

Быстро входит Юлия Джули.

Ю л и я (доктору). Вот вы наконец. Вы совсем здоровы?

Д о к т о р. Да, Юлия.

Ю л и я. Ах, это доктор.

Д о к т о р. Да, это я, Юлия.

Ю л и я. Зачем вы смотрите на меня, как влюбленный заяц? Убирайтесь!

Доктор хочет ответить, но уходит в павильон, молча махнув рукой.

Где вы, Христиан-Теодор?

У ч е н ы й. Вот я.

Ю л и я (подходит к нему). Да, это вы. (Улыбается.) Как я рада видеть вас! Ну, что вам сказал этот ничтожный доктор?

У ч е н ы й. Он сказал мне, что я здоров. Почему вы называете его ничтожным?

Ю л и я. Ах, я любила его когда-то, а таких людей я потом ужасно ненавижу.

У ч е н ы й. Это была несчастная любовь?

Ю л и я. Хуже. У этого самого доктора безобразная и злая жена, которой он смертельно боится. Целовать его можно было только в затылок.

У ч е н ы й. Почему?

Ю л и я. Он все время оборачивался и глядел, не идет

ли жена. Но довольно о нем. Я пришла сюда, чтобы... предостеречь вас, Христиан-Теодор. Вам грозит беда.

Ученый. Не может быть. Ведь я так счастлив!

Юлия. И все-таки вам грозит беда.

Аннунциата. Не улыбайтесь, сударыня, умоляю вас. Иначе мы не поймем, серьезно вы говорите или шутите, и, может быть, даже погибнем из-за этого.

Юлия. Не обращайтесь внимания на то, что я улыбаюсь. В нашем кругу, в кругу настоящих людей, всегда улыбаются на всякий случай. Ведь тогда, что бы ты ни сказал, можно повернуть и так и этак. Я говорю серьезно, Христиан-Теодор. Вам грозит беда.

Ученый. Какая?

Юлия. Я говорила вам, что в нашем кругу бывает один министр?

Ученый. Да.

Юлия. Это министр финансов. Он бывает в нашем кругу из-за меня. Он ухаживает за мной и все время собирается сделать мне предложение.

Аннунциата. Он? Да он и ходить-то не умеет!

Юлия. Его водят прекрасно одетые лакеи. Ведь он так богат. И я сейчас встретила его. И он спросил, куда я иду. Услышав ваше имя, он поморщился, Христиан-Теодор.

Аннунциата. Какой ужас!

Юлия. В нашем кругу мы все владеем одним искусством — мы изумительно умеем читать по лицам сановников. И даже я, при моей близорукости, прочла сейчас на лице министра, что против вас что-то затевается, Христиан-Теодор.

Ученый. Ну и пусть затевается.

Юлия. Ах, вы меня испортили за эти две недели. Зачем только я навещала вас! Я превратилась в сентиментальную мещанку. Это так хлопотливо. Аннунциата, уведите его.

Ученый. Зачем?

Юлия. Сейчас сюда придет министр финансов, и я пушу в ход все свои чары и узнаю, что они затевают. Я даже попробую спасти вас, Христиан-Теодор.

Аннунциата. Как мне отблагодарить вас, сударыня?

Юлия. Никому ни слова, если вы мне действительно благодарны. Уходите.

Аннунциата. Идемте, сударь.

Ученый. Аннунциата, вы ведь знаете, что я должен здесь встретиться с принцессой.

Ю л и я. У вас еще час времени. Уходите, если вы любите принцессу и жалеете меня.

У ч е н ы й. До свидания, бедная Юлия. Как вы озабочены обе! И только я один знаю — все будет прекрасно.

А н н у н ц и а т а. Он идет. Сударыня, умоляю вас...

Ю л и я. Тише! Я же сказала вам, что попробую.

Ученый и Аннунциата уходят. Появляется министр финансов, его ведут лакеи.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Лакеи! Усадите меня возле этой обворожительной женщины. Придайте мне позу, располагающую к легкой, остроумной болтовне.

Лакеи повинуются.

Так, теперь уходите.

Лакеи уходят.

Юлия, я хочу обрадовать вас.

Ю л и я. Вам это легко сделать.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Очаровательница! Цирцея! Афродита! Мы сейчас беседовали о вас в канцелярии первого министра.

Ю л и я. Шалуны!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Уверяю вас! И мы все сошлись на одном: вы умная, практичная нимфа!

Ю л и я. О куртизаны!

М и н и с т р ф и н а н с о в. И мы решили, что именно вы поможете нам в одном деле.

Ю л и я. Говорите, в каком. Если оно нетрудное, то я готова для вас на все.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Пустяк! Вы должны будете помочь нам уничтожить приезжего ученого, по имени Теодор-Христиан. Ведь вы знакомы с ним, не так ли? Вы поможете нам?

Юлия не отвечает.

Лакеи!

Появляются лакеи.

Позу крайнего удивления!

Лакеи повинуются.

Юлия, я крайне удивлен. Почему вы смотрите на меня так, будто не знаете, что мне ответить?

Ю л и я. Я и в самом деле не знаю, что сказать вам. Эти две недели просто губят меня.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Я не понял.

Ю л и я. Я сама себя не понимаю.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Это отказ?

Ю л и я. Не знаю.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Лакеи!

Вбегают лакеи.

Позу крайнего возмущения!

Лакеи повинуются.

Я крайне возмущен, госпожа Юлия Джули! Что это значит? Да уж не влюбились ли вы в нищего мальчишку? Молчать! Встать! Руки по швам! Перед вами не мужчина, а министр финансов. Ваш отказ показывает, что вы недостаточно уважаете всю нашу государственную систему. Тихо! Молчать! Под суд!

Ю л и я. Подождите!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Не подожду! «Ах, зачем я не лужайка!» Только теперь я понял, что вы этим хотите сказать. Вы намекаете на то, что у фермеров мало земли. А? Что? Да я вас... Да я вам... Завтра же газеты разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петть, вашу частную жизнь. Лакеи! Топнуть ногой!

Лакеи топают ногой.

Да не своей, болваны, а моей!

Лакеи повинуются.

До свидания, бывшая знаменитость!

Ю л и я. Подождите же!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Не подожду!

Ю л и я. Взгляните на меня!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Потрудитесь называть меня «ваше превосходительство»!

Ю л и я. Взгляните на меня, ваше превосходительство.

Министр финансов. Ну?

Юлия. Неужели вы не понимаете, что для меня вы всегда больше мужчина, чем министр финансов?

Министр финансов (*польщенно*). Да ну, бросьте!

Юлия. Даю вам слово. А разве мужчине можно сразу сказать «да»?

Министр финансов. Афродита! Уточним, вы согласны?

Юлия. Теперь я отвечу — да.

Министр финансов. Лакеи! Обнять ее!

Лакеи обнимают Юлию.

Болваны! Я хочу обнять ее. Так. Дорогая Юлия, спасибо. Завтра же приказом по канцелярии я объявлю себя вашим главным покровителем. Лакеи! Усадите меня возле этой Афродиты. Придайте мне позу крайней беззаботности. И вы, Юлия, примите беззаботную позу, но слушайте меня в оба уха. Итак, через некоторое время вы застанете здесь ученого, оживленно разговаривающего с чиновником особо важных дел. И вы под любым предлогом уведете отсюда ученого минут на двадцать. Вот и все.

Юлия. И все?

Министр финансов. Видите, как просто! А как раз эти двадцать минут его и погубят окончательно. Пойдемте к ювелиру, я куплю вам кольцо несметной ценности. Идемте. Лакеи! Унесите нас.

Удаляются.

Входят помощники Пьетро с Цезарем Борджиа.

Помощник. Здравствуйтесь, господа!

Пьетро. Да ведь мы уже виделись сегодня утром.

Помощник. Советую вам забыть, что мы виделись сегодня утром. Я не забуду, что вы в свое время нашли меня, устроили меня во дворец, помогли мне выйти в люди. Но вы, господа, раз и навсегда забудьте, кем я был, и помните, кем я стал.

Цезарь Борджиа. Кто же вы теперь?

Помощник. Я теперь чиновник особо важных дел канцелярии его превосходительства первого министра.

Цезарь Борджиа. Как это удалось вам? Вот это успех! Прямо черт знает что такое! Вечная история!

**Помощник.** Я добился этого успеха собственными усилиями. Поэтому я вторично напоминаю вам: забудьте о том, кем я был.

**Пьетро.** Забыть можно. Если не поспоримся, чего там вспоминать!

**Цезарь Борджиа.** Трудно забыть об этом. Но молчать до поры до времени можно. Вы поняли мой намек?

**Помощник.** Я понял вас, господа. Мы не поспоримся, пока вы будете молчать о том, кем я был. Теперь слушайте внимательно. Мне поручено дело № 8989. (*Показывает папку.*) Вот оно.

**Пьетро** (*читает*). Дело о замужестве принцессы.

**Помощник.** Да. Здесь, в этой папке, всё: и принцесса, и он, и вы, и настоящее, и будущее.

**Цезарь Борджиа.** Кто намечен в женихи этой высокой особе — меня это мало волнует, как и всё в этой, как говорится, земной жизни, но все-таки...

**Помощник.** В женихи принцессы намечены вы оба.

**Пьетро.** Дьявол! Как так оба?

**Цезарь Борджиа.** Я и он?

**Помощник.** Да. Надо же все-таки, чтобы у принцессы был выбор...

**Цезарь Борджиа.** Но вы сами должны видеть!

**Пьетро.** Какого дьявола ей нужно, когда есть я!

**Помощник.** Тихо! Решение окончательное. Предлагаю я — выбирает принцесса. Пьетро, уведите домой вашу дочь. Мне нужно говорить с ученым, а она охраняет его, как целый полк гвардии.

**Цезарь Борджиа.** Она влюбилась в него. А Пьетро слеп, как полагается отцу!

**Пьетро.** Дьявол! Я убью их обоих!

**Цезарь Борджиа.** Давно пора.

**Пьетро.** Сатана! Вы нарочно искушаете меня! Меня арестуют за убийство, а вы останетесь единственным женихом? Этого вы хотите?

**Цезарь Борджиа.** Да, хочу. И это вполне естественное желание. До свидания.

**Пьетро.** Нет уж, вы не уйдете. Я знаю, куда вы собрались.

**Цезарь Борджиа.** Куда?

**Пьетро.** Вы хотите так или иначе съесть меня. Не выйдет. Я не отойду от вас ни на шаг.

**Помощник.** Тише. Он идет сюда. Договоримся так: тот из вас, кто будет королем, заплатит другому хороший

выкуп. Назначит, например, пострадавшего первым королевским секретарем или начальником стражи. Смотрите: он идет. Ему весело.

**Цезарь Борджиа.** А как вы с ним будете говорить?

**Помощник.** Я с каждым говорю на его языке.

Входят ученый и Аннунциата.

**Ученый.** Какой прекрасный день, господа!

**Петро.** Да, ничего себе денек, будь он проклят. Аннунциата, домой!

**Аннунциата.** Папа...

**Петро.** Домой! Иначе будет плохо тебе и кое-кому другому. Ты даже не сказала кухарке, что сегодня готовить на ужин.

**Аннунциата.** Мне все равно.

**Петро.** Что вы говорите, чудовище? Господин Цезарь Борджиа, идемте с нами домой, друг, или, клянусь честью, я вас тихонечко прикончу кинжалом.

Уходят. Помощник, державшийся во время предыдущего разговора в стороне, подходит к ученому.

**Помощник.** Вы не узнаете меня?

**Ученый.** Простите, нет.

**Помощник.** Посмотрите внимательней.

**Ученый.** Что такое? Я чувствую, что знаю вас, и знаю хорошо, но...

**Помощник.** А мы столько лет прожили вместе.

**Ученый.** Да что вы говорите?

**Помощник.** Уверяю вас. Я следовал за вами неотступно, но вы только изредка бросали на меня небрежный взгляд. А ведь я часто бывал выше вас, подымался до крыш самых высоких домов. Обыкновенно это случалось в лунные ночи.

**Ученый.** Так, значит, вы...

**Помощник.** Тише! Да, я ваша тень... Почему вы недоверчиво смотрите на меня? Ведь я всю жизнь со дня вашего рождения был так привязан к вам.

**Ученый.** Да нет, я просто...

**Тень.** Вы сердитесь на меня за то, что я покинул вас. Но вы сами просили меня пойти к принцессе, и я немедленно исполнил вашу просьбу. Ведь мы выросли вместе среди одних и тех же людей. Когда вы говорили «мама», я беззвучно повторял то же слово. Я любил тех, кого вы

любили, а ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали — и я не мог поднять головы от подушки. Вы поправлялись — поправлялся и я. Неужели после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, я мог бы вдруг стать вашим врагом!

Ученый. Да нет, что вы! Садитесь, старый приятель. Я болел без вас, а теперь вот поправился... Я чувствую себя хорошо. Сегодня такой прекрасный день. Я счастлив, у меня сегодня душа открыта — вот что я вам скажу, хотя, вы знаете, я не люблю таких слов. Но вы просто тронули меня... Ну а вы, что вы делали это время?.. Или нет, подождите, давайте сначала перейдем на «ты».

Тень (*протягивая ученому руку*). Спасибо. Я оставался твоей тенью, вот что я делал все эти дни.

Ученый. Я не понимаю тебя.

Тень. Ты послал меня к принцессе. Я сначала устроился помощником главного лакея во дворце, потом поднимался все выше и выше, и с сегодняшнего дня я чиновник особо важных дел при первом министре:

Ученый. Бедняга! Воображаю, как трудно среди этих людей! Но зачем ты это сделал?

Тень. Ради тебя.

Ученый. Ради меня?

Тень. Ты сам не знаешь, какой страшной ненавистью окружен с тех пор, как полюбил принцессу, а принцесса тебя. Все они готовы съесть тебя, и съели бы сегодня же, если бы не я.

Ученый. Что ты!

Тень. Я среди них, чтобы спасти тебя. Они доверяют мне. Они мне поручили дело № 8989.

Ученый. Что же это за дело?

Тень. Это дело о замужестве принцессы.

Ученый. Не может быть.

Тень. И счастье наше, что это дело находится в верных руках. Меня направил к тебе сам первый министр. Мне поручено купить тебя.

Ученый. Купить? (*Смеется.*) За сколько?

Тень. Пустяки. Они обещают тебе славу, почет и богатство, если ты откажешься от принцессы.

Ученый. А если я не продамся?

Тень. Тебя убьют сегодня же.

Ученый. Никогда в жизни не поверю, что я могу умереть, особенно сегодня.

Тень. Христиан, друг мой, брат, они убьют тебя, поверь мне. Разве они знают дорожки, по которым мы бегали

в детстве, мельницу, где мы болтали с водяным, лес, где мы встретили дочку учителя и влюбились — ты в нее, а я в ее тень. Они и представить себе не могут, что ты живой человек. Для них ты — препятствие, вроде пня или колоды. Поверь мне, еще и солнце не зайдет, как ты будешь мертв.

У ч е н ы й. Что же ты мне посоветуешь сделать?

Т е н ь (*достает из папки бумагу*). Подпиши это.

У ч е н ы й (*читает*). «Я, нижеподписавшийся, решительно, бесповоротно и окончательно отказываюсь вступить в брак с наследной принцессой королевства, если взамен этого мне обеспечены будут слава, почет и богатство». Ты серьезно предлагаешь мне подписать это?

Т е н ь. Подпиши, если ты не мальчик, если ты настоящий человек.

У ч е н ы й. Да что с тобой?

Т е н ь. Пойми ты, у нас нет другого выхода. С одной стороны — мы трое, а с другой — министры, тайные советники, все чиновники королевства, полиция и армия. В прямом бою нам не победить. Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты. Слушай меня: эта бумажка их успокоит. Сегодня же вечером ты наймешь карету, за тобой не будут следить. А в лесу к тебе в карету сядем мы — принцесса и я. И через несколько часов мы свободны. Пойми ты — свободны. Вот походная чернильница, вот перо. Подпиши.

У ч е н ы й. Ну хорошо. Сейчас сюда придет принцесса, я посоветуюсь с ней и, если нет другого выхода, подпишу.

Т е н ь. Нельзя ждать! Первый министр дал мне всего двадцать минут сроку. Он не верит, что тебя можно купить, он считает наш разговор простой формальностью. У него уже сидят дежурные убийцы и ждут приказания. Подпиши.

У ч е н ы й. Ужасно не хочется.

Т е н ь. Ты тоже убийца! Отказываясь подписать эту жалкую бумажонку, ты убиваешь меня, лучшего своего друга, и бедную, беспомощную принцессу. Разве мы переживем твою смерть!

У ч е н ы й. Ну хорошо, хорошо. Давай, я подпишу. Но только... я никогда в жизни больше не буду подходить так близко к дворцам... (*Подписывает бумагу.*)

Т е н ь. А вот и королевская печать. (*Ставит печать.*)

Вбегает Ю л и я. Тень скромно отходит в сторону.

Ю л и я. Христиан! Я погибла.

У ч е н ы й. Что случилось?

Ю л и я. Помогите мне.

У ч е н ы й. Я готов... Но как? Вы не шутите?

Ю л и я. Нет! Разве я улыбаюсь? Это по привычке. Идемте со мной немедленно. Идемте!

У ч е н ы й. Честное слово, я не могу уйти отсюда. Сейчас сюда придет принцесса.

Ю л и я. Дело идет о жизни и смерти!

У ч е н ы й. Ах, я догадываюсь, в чем дело... Вы узнали у министра финансов, какая беда мне грозит, и хотите предупредить меня. Спасибо вам, Юлия, но...

Ю л и я. Ах, вы не понимаете... Ну, оставайтесь. Нет! Я не хочу быть добродетельной, сентиментальной мешанкой. Я вовсе не собираюсь предупреждать вас. Дело касается меня! Христиан, простите... Идемте со мной, иначе я погибну. Ну хотите, я стану перед вами на колени? Идемте же!

У ч е н ы й. Хорошо. Я скажу только два слова моему другу. (*Подходит к Тени.*) Слушай, сейчас сюда придет принцесса.

Т е н ь. Да.

У ч е н ы й. Скажи ей, что я прибегу через несколько минут. Я не могу отказать этой женщине. Произошло какое-то несчастье.

Т е н ь. Иди спокойно. Я все объясню принцессе.

У ч е н ы й. Спасибо.

Уходят.

Т е н ь. Проклятая привычка! У меня болят руки, ноги, шея. Мне все время хотелось повторять каждое его движение. Это просто опасно... (*Открывает папку.*) Так... Пункт четвертый — выполнен... (*Углубляется в чтение.*)

Входят принцесса и тайный советник. Тень выпрямляется во весь рост, смотрит пристально на принцессу.

П р и н ц е с с а. Тайный советник, где же он? Почему его нет здесь?

Т а й н ы й с о в е т н и к (*шепотом*). Он сейчас придет, принцесса, и все будет прекрасно.

П р и н ц е с с а. Нет, это ужасное несчастье! Молчите, вы ничего не понимаете. Вы не влюблены, вам легко говорить, что все идет прекрасно! И кроме того, я принцесса, я не умею ждать. Что это за музыка?

Т а й н ы й с о в е т н и к. Это в ресторане, принцесса.

П р и н ц е с с а. Зачем у нас в ресторане всегда играет музыка?

Т а й н ы й с о в е т н и к. Чтобы не было слышно, как жуют, принцесса.

П р и н ц е с с а. Оставьте меня в покое... Ну что же это такое? (Тени.) Эй, вы, зачем вы смотрите на меня во все глаза?

Т е н ь. Я должен заговорить с вами и не смею, принцесса.

П р и н ц е с с а. Кто вы такой?

Т е н ь. Я его лучший друг.

П р и н ц е с с а. Чей?

Т е н ь. Я лучший друг того, кого вы ждете, принцесса.

П р и н ц е с с а. Правда? Что же вы молчите?

Т е н ь. Мой ответ покажется вам дерзким, принцесса.

П р и н ц е с с а. Ничего, говорите.

Т е н ь. Я молчал потому, что ваша красота поразила меня.

П р и н ц е с с а. Но это вовсе не дерзость. Он вас послал ко мне?

Т е н ь. Да. Он просил сказать, что сейчас придет, принцесса. Очень важное дело задержало его. Все благополучно, принцесса.

П р и н ц е с с а. Но он скоро придет?

Т е н ь. Да.

П р и н ц е с с а. Ну, вот мне опять стало весело. Вы будете меня занимать до его прихода. Ну?

Тень молчит.

Ну же! Мне неловко напоминать вам об этом, но ведь я принцесса. Я привыкла, чтобы меня занимали...

Т е н ь. Хорошо, я исполню ваше приказание. Я буду рассказывать вам сны, принцесса.

П р и н ц е с с а. А ваши сны интересны?

Т е н ь. Я буду рассказывать вам ваши сны, принцесса.

П р и н ц е с с а. Мои?

Т е н ь. Да. Третьего дня ночью вам приснилось, что стены дворца вдруг превратились в морские волны. Вы крикнули: «Христиан!» — и он появился в лодке и протянул вам руку...

П р и н ц е с с а. Но ведь я никому не рассказывала этот сон!..

Т е н ь. И вы очутились в лесу... И волк вдруг поднялся в кустах. А Христиан сказал: «Не бойся, это добрый

волк» — и погладил его. А вот еще один сон. Вы скакали на коне по полю. Трава на вашем пути становилась все выше и выше и наконец стеной стала вокруг. Вам показалось, что это красиво, удивительно красиво, до того красиво, что вы стали плакать, и проснулись в слезах.

П р и н ц е с с а. Но откуда вы это знаете?

Т е н ь. Любовь творит чудеса, принцесса.

П р и н ц е с с а. Любовь?

Т е н ь. Да. Ведь я очень несчастный человек, принцесса. Я люблю вас.

П р и н ц е с с а. Вот как... Советник!

Т а й н ы й с о в е т н и к. Да, принцесса.

П р и н ц е с с а. Позовите... Нет, отойдите на пять шагов.

Советник отсчитывает шаги.

Я...

Т е н ь. Вы хотели, чтобы он позвал стражу, принцесса, и, сами не понимая, как это вышло, приказали ему отойти на пять шагов.

П р и н ц е с с а. Вы...

Т е н ь. Я люблю вас, принцесса. И вы сами чувствуете это. Я до того полон вами, что ваша душа понятна мне, как моя собственная. Я рассказал вам только два ваших сна, а ведь я помню их все. Я знаю и страшные ваши сны, и смешные, и такие, которые можно рассказывать только на ухо.

П р и н ц е с с а. Нет...

Т е н ь. Хотите, я расскажу вам тот сон, который поразила вас? Помните? В том сне с вами был не он, не Христиан, а какой-то совсем другой человек с незнакомым лицом, и вам именно это и нравилось, принцесса. И вы с ним...

П р и н ц е с с а. Советник! Позовите стражу.

Т а й н ы й с о в е т н и к. Слушаюсь, принцесса.

П р и н ц е с с а. Но пусть стража пока стоит там, за кустами. Говорите еще. Я слушаю, потому что... потому что мне просто скучно ждать его.

Т е н ь. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам. В глубине вашей души — я.

П р и н ц е с с а. Довольно. Я вдруг очнулась. Сейчас стража возьмет вас, и ночью вы будете обезглавлены.

Т е н ь. Прочтите это!

Достает из папки бумагу, которую подписал ученый. Принцесса читает ее.

Он милый человек, славный человек, но он мелок. Он уговаривал вас бежать с ним, потому что боялся стать королем — ведь это опасно. И он продал вас. Трус!

П р и н ц е с с а. Я не верю этой бумаге.

Т е н ь. Но тут королевская печать. Я подкупил вашего ничтожного жениха, я взял вас с бою. Прикажите отрубить мне голову.

П р и н ц е с с а. Вы не даете мне опомниться. Почему я знаю, может быть, вы тоже не любите меня. Какая я несчастная девушка!

Т е н ь. А сны! Вы забыли сны, принцесса. Как я узнал ваши сны? Ведь только любовь может творить такие чудеса.

П р и н ц е с с а. Ах да, верно...

Т е н ь. Прощайте, принцесса.

П р и н ц е с с а. Вы... вы уходите?.. Как вы смее! Подойдите ко мне, дайте мне руку... Это... Все это... так... так интересно... *(Поцелуй.)* Я... я даже не знаю, как вас зовут.

Т е н ь. Теодор-Христиан.

П р и н ц е с с а. Как хорошо! Это почти... почти то же самое. *(Поцелуй.)*

Вбегает ученый и останавливается как вкопанный.

Т а й н ы й с о в е т н и к. Советую вам уйти отсюда, здесь принцесса дает аудиенцию одному из своих подданных.

У ч е н ы й. Луиза!

П р и н ц е с с а. Уходите прочь, вы мелкий человек.

У ч е н ы й. Что ты говоришь, Луиза?

П р и н ц е с с а. Вы подписали бумагу, в которой отказываетесь от меня?

У ч е н ы й. Да... но...

П р и н ц е с с а. Достаточно. Вы милый человек, но вы ничтожество! Идем, Теодор-Христиан, дорогой.

У ч е н ы й. Негодяй! *(Бросается к Тени.)*

П р и н ц е с с а. Стража!

Из кустов выбегает стража.

Проводите нас во дворец.

Уходят. Ученый опускается на скамью. Из павильона быстро выходит доктор.

Д о к т о р. Махните на все это рукой. Сейчас же махните рукой, иначе вы сойдете с ума.

У ч е н ы й. А вы знаете, что произошло?

Д о к т о р. Да, у меня чуткие уши. Я все слышал.

У ч е н ы й. Каким образом он добился того, что она поцеловала его?

Д о к т о р. Он ее ошеломил. Он рассказал ей все ее сны.

У ч е н ы й. Как он узнал ее сны?

Д о к т о р. Да ведь сны и тени в близком родстве. Они, кажется, двоюродные.

У ч е н ы й. Вы все слышали и не вмешались?

Д о к т о р. Что вы! Ведь он чиновник особо важных дел. Вы разве не знаете, какая это страшная сила?.. Я знал человека необычайной храбрости. Он ходил с ножом на медведей, один раз даже пошел на льва с голыми руками, — правда, с этой последней охоты он так и не вернулся. И вот этот человек упал в обморок, толкнув нечаянно тайного советника. Это особый страх. Разве удивительно, что и я боюсь его? Нет, я не вмешался в это дело, и вы махните рукой на все.

У ч е н ы й. Не хочу.

Д о к т о р. Ну что вы можете сделать?

У ч е н ы й. Я уничтожу его.

Д о к т о р. Нет. Послушайте меня, вы ведь не знаете, и никто на свете не знает, что я сделал великое открытие. Я нашел источник живой углекислой воды. Недалеко. Возле самого дворца. Вода эта излечивает все болезни, какие есть на земле, и даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди. И что из этого вышло? Министр финансов приказал мне закрыть источник. Если мы вылечим всех больных, кто к нам будет ездить? Я боролся с министром как бешеный — и вот на меня двинулись чиновники. Им все безразлично. И жизнь, и смерть, и великие открытия. Именно поэтому они победили. И я махнул на все рукой. И мне сразу стало легче жить на свете. И вы махните на все рукой и живите, как я.

У ч е н ы й. Чем вы живете? Ради чего?

Д о к т о р. Ах, мало ли... Вот поправился больной. Вот жена уехала на два дня. Вот написали в газете, что я все-таки подаю надежды.

У ч е н ы й. И только?

Д о к т о р. А вы хотите жить для того, чтобы как можно больше людей сделать счастливыми? Так и дадут вам чиновники жить! Да и сами люди этого терпеть не могут.

Махните на них рукой. Смотрите сквозь пальцы на этот безумный, несчастный мир.

Ученый. Не могу.

За сценой барабан и трубы.

Доктор. Он возвращается. (*Торопливо уходит в павильон.*)

Появляется большой отряд стражи с трубами и барабанищиками. Во главе отряда Тень, в черном фраке и ослепительном белье. Шествие останавливается посреди сцены.

Тень. Христиан! Я отдам два-три приказания, а потом займусь тобой!

Вбегает, запыхавшись, первый министр. Бегут бегом лакеи, несут министра финансов. Появляются под руку Пьетро и Цезарь Борджиа.

Первый министр. Что все это значит? Ведь мы решили.

Тень. А я перерешил по-своему.

Первый министр. Но послушайте...

Тень. Нет, вы послушайте, любезный. Вы знаете, с кем вы говорите?

Первый министр. Да.

Тень. Так почему же вы не называете меня «ваше превосходительство»? Вы еще не были в канцелярии?

Первый министр. Нет, я обедал, ваше превосходительство.

Тень. Пройдите туда. Дело № 8989 окончено. В конце подшито волеизъявление принцессы и мой приказ за № 0001. Там приказано именовать меня «ваше превосходительство», пока мы не примем новый, подобающий нам титул.

Первый министр. Так, значит, все оформлено?

Тень. Да.

Первый министр. Тогда ничего не поделаешь. Поздравляю вас, ваше превосходительство.

Тень. Что вы хмуритесь, министр финансов?

Министр финансов. Не знаю, как это будет принято в деловых кругах. Вы все-таки из компании ученых. Начнутся всякие перемены, а мы этого терпеть не можем.

Тень. Никаких перемен. Как было, так будет. Никаких планов. Никаких мечтаний. Вот вам последние выводы моей науки.

**Министр финансов.** В таком случае поздравляю вас, ваше превосходительство.

**Тень.** Пьетро! Принцесса выбрала жениха, но это не вы.

**Пьетро.** Черт с ним, ваше превосходительство, заплатите мне только.

**Тень.** Цезарь Борджиа! И вам не быть королем.

**Цезарь Борджиа.** Мне останется одно — писать мемуары, ваше превосходительство.

**Тень.** Не огорчайтесь. Я ценю старых друзей, которые знали меня, когда я был еще простым чиновником особо важных дел. Вы — назначены королевским секретарем. Вы — начальником королевской стражи.

Пьетро и Цезарь Борджиа кланяются.

Господа, вы свободны.

Все уходят с поклонами. Тень подходит к ученому.

Видал?

**Ученый.** Да.

**Тень.** Что скажешь?

**Ученый.** Скажу: откажись немедленно от принцессы и от престола — или я тебя заставлю это сделать.

**Тень.** Слушай, ничтожный человек. Завтра же я отдам ряд приказов — и ты окажешься один против целого мира. Друзья с отвращением отвернутся от тебя. Враги будут смеяться над тобой. И ты приползешь ко мне и попросишь пощады.

**Ученый.** Нет.

**Тень.** Увидим. В двенадцать часов ночи со вторника на среду ты придешь во дворец и пришлешь мне записку: «Сдаюсь. Христиан-Теодор». И я, так и быть, дам тебе место при моей особе. Стража, за мной!

Барабаны и трубы. Тень уходит со свитой.

**Ученый.** Аннунциата! Аннунциата!

Аннунциата вбегает.

**Аннунциата.** Я здесь. Сударь! Может быть... может быть, вы послушаетесь доктора? Может быть, вы махнете на все рукой? Простите... Не сердитесь на меня. Я буду вам помогать. Я пригожусь вам. Я очень верная девушка, сударь.

**Ученый.** Аннунциата, какая печальная сказка!

Занавес.

# ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

## Картина первая

Ночь. Горят факелы. Горят плашки на карнизах, колоннах, балконах дворца. Толпа, оживленная и шумная.

Очень длинный человек. А вот кому рассказать, что я вижу? Всего за два грошика. А вот кому рассказать? Ох, интересно!

Маленький человек. Не слушайте его. Слушайте меня, я везде проскочу, я все знаю. А вот кому новости, всего за два грошика? Как они встретились, как познакомились, как первый жених получил отставку.

1 - я женщина. А у нас говорят, что первый жених был очень хороший человек!

2 - я женщина. Как же! Очень хороший! Отказался от нее за миллион.

1 - я женщина. Ну? Да что ты?

2 - я женщина. Это все знают! Она ему говорит: «Чудак, ты бы королем бы не меньше бы заработал бы!» А он говорит: «Еще и работать!»

1 - я женщина. Таких людей топить надо!

2 - я женщина. Еще бы! Королем ему трудно быть. А попробовал бы он по хозяйству!

Длинный человек. А кому рассказать, что я вижу в окне: идет по коридору главный королевский лакей и... ну, кто хочет знать, что дальше? Всего за два грошика.

Маленький человек. А вот кому портрет нового короля? Во весь рост! С короной на голове! С доброю улыбкою на устах! С благоволением в очах!

1 - й человек из толпы. Король есть, теперь жить будет гораздо лучше.

2 - й человек из толпы. Это почему же?

1 - й человек из толпы. Сейчас объясню. Видишь?

2 - й человек из толпы. Чего?

1 - й человек из толпы. Видишь, кто стоит?

2 - й человек из толпы. Никак, начальник стражи?

1 - й человек из толпы. Ну да, он переодетый.

2 - й человек из толпы. Ага, вижу. *(Во весь голос.)* Король у нас есть, теперь поживем. *(Тихо.)* Сам-то переоделся, а на ногах военные сапоги со шпорами. *(Громко.)* Ох, как на душе хорошо!

1 - й человек из толпы *(во весь голос)*. Да уж, что это за жизнь была без короля! Мы просто истосковались!

Т о л п а. Да здравствует наш новый король Теодор Первый! Ура!

Расходятся понемногу, с опаской поглядывая на Пьетро. Он остается один.  
От стены отделяется фигура человека в плаще.

П ь е т р о. Ну, что нового, капрал?

К а п р а л. Ничего, все тихо. Двоих задержали.

П ь е т р о. За что?

К а п р а л. Один вместо «да здравствует король» кричал «да здравствует корова».

П ь е т р о. А второй?

К а п р а л. Второй — мой сосед.

П ь е т р о. А что он сделал?

К а п р а л. Да ничего, собственно. Характер у него поганый. Мою жену прозвал «дыней». Я до него давно добираюсь. А у вас как, господин начальник?

П ь е т р о. Все тихо. Народ ликует.

К а п р а л. Разрешите вам заметить, господин начальник. Сапоги.

П ь е т р о. Что сапоги?

К а п р а л. Вы опять забыли переменить сапоги. Шпоры так и звенят!

П ь е т р о. Да ну? Вот okazия!

К а п р а л. Народ догадывается, кто вы. Видите, как стало пусто вокруг?

П ь е т р о. Да... А впрочем... Ты свой человек, тебе я могу признаться: я нарочно вышел в сапогах со шпорами.

К а п р а л. Быть этого не может!

П ь е т р о. Да. Пусть уж лучше узнают меня, а то слушаешься такого, что потом три ночи не спишь.

К а п р а л. Да, это бывает.

П ь е т р о. В сапогах куда спокойнее. Ходишь, позваниваешь шпорами — и слышишь кругом только то, что полагается.

К а п р а л. Да, уж это так.

П ь е т р о. Им легко там, в канцелярии. Они имеют дело только с бумажками. А мне каково с народом?

К а п р а л. Да уж, народ...

П ь е т р о (*шепотом*). Знаешь, что я тебе скажу: народ живет сам по себе!

К а п р а л. Да что вы!

П ь е т р о. Можешь мне поверить. Тут государь празднует коронавание, предстоит торжественная свадьба высочайших особ, а народ что себе позволяет? Многие парни и девки целуются в двух шагах от дворца, выбрав уголки

потемнее. В доме номер восемь жена портного задумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, а она как ни в чем не бывало орет себе! Старый кузнец в доме номер три взял да и помер. Во дворце праздник, а он лежит в гробу и ухом не ведет. Это непорядок!

**Капрал.** В котором номере рождает? Я оштрафую.

**Пьетро.** Не в том дело, капрал. Меня пугает, как это они осмеливаются так вести себя. Что это за упрямство, а, капрал? А вдруг они так же спокойненько, упрямо, все разом... Ты это что?

**Капрал.** Я ничего...

**Пьетро.** Смотри, брат... Ты как стоишь?

Капрал вытягивается.

**Я т-т-тебе!** Старый черт... Разболтался! Рассуждаешь! Скажите пожалуйста, Жан-Жак Руссо! Который час?

**Капрал.** Без четверти двенадцать, господин начальник.

**Пьетро.** Ты помнишь, о чем надо крикнуть ровно в полночь?

**Капрал.** Так точно, господин начальник.

**Пьетро.** Я пойду в канцелярию, отдохну, успокоюсь, почитаю разные бумажки, а ты тут объяви что полагается, не забудь! *(Уходит.)*

Появляется ученый.

**Ученый.** Мне очень нравится, как горят эти фонарики. Кажется, никогда в жизни голова моя не работала так ясно. Я вижу и все фонарики разом, и каждый фонарик в отдельности. И я люблю все фонарики разом и каждый фонарик в отдельности. Я знаю, что к утру вы погаснете, друзья мои, но вы не жалеете об этом. Все-таки вы горели, и горели весело, — этого у вас никто не может отнять.

**Человек, закутанный с головы до ног.** Христиан!

**Ученый.** Кто это? Да ведь это доктор.

**Доктор.** Вы меня так легко узнали... *(Оглядывается.)* Отойдите в сторону. Отвернитесь от меня! Нет, это звенит у меня в ушах, а мне показалось, что шпоры. Не сердитесь. Ведь у меня такая большая семья.

**Ученый.** Я не сержусь.

Выходят на авансцену.

**Доктор.** Скажите мне как врачу, вы решили сдатьсь?

**Ученый.** Нет. Я человек добросовестный, я должен пойти и сказать им то, что я знаю.

Доктор. Но ведь это самоубийство.

Ученый. Возможно.

Доктор. Умоляю вас, сдайтесь.

Ученый. Не могу.

Доктор. Вам отрубят голову!

Ученый. Не верю. С одной стороны — живая жизнь, а с другой — тень. Все мои знания говорят, что тень может победить только на время. Ведь мир-то держится на нас, на людях, которые работают! Прощайте!

Доктор. Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе.

Ученый. Это вы мне и хотели сказать?

Доктор. Нет! Может быть, я сошел с ума, но я не могу видеть, как вы идете туда безоружным. Тише. Запомните эти слова: «Тень, знай свое место».

Ученый. Я не понимаю вас!

Доктор. Все эти дни я рылся в старинных трудах о людях, потерявших тень. В одном исследовании автор, солидный профессор, рекомендует такое средство: хозяин тени должен крикнуть ей: «Тень, знай свое место», и тогда она опять на время превращается в тень.

Ученый. Что вы говорите! Да ведь это замечательно! Все увидят, что он тень. Вот! Я ведь вам говорил, что ему придется плохо! Жизнь — против него. Мы...

Доктор. Ни слова обо мне... Прощайте... *(Быстро уходит.)*

Ученый. Очень хорошо. Я думал погибнуть с честью, но победить — это куда лучше. Они увидят, что он тень, и поймут... Ну, словом, всё поймут... Я...

Толпой бегут люди.

Ученый. Что случилось?

1-й человек. Сюда идет капрал с трубой.

Ученый. Зачем?

1-й человек. Будет что-то объявлять... Вот он. Тише...

Капрал. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

Ученый. Что такое? Я, кажется, испугался!

Капрал. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

Ученый *(громко)*. Я здесь.

Капрал. У вас есть письмо к королю?

Ученый. Вот оно.

Капрал. Следуйте за мной!

Занавес.

## Картина вторая

Зал королевского дворца. Группами сидят придворные. Негромкие разговоры. Мажордом и помощники разносят угощение на подносах.

1 - й придворный (*седой, прекрасное, грустное лицо*). Прежде мороженое подавали в виде очаровательных барашков, или в виде зайчиков, или котятков. Кровь стыла в жилах, когда приходилось откусывать голову кроткому, невинному созданию.

1 - я дама. Ах да, да! У меня тоже стыла кровь в жилах, ведь мороженое такое холодное!

1 - й придворный. Теперь подают мороженое в виде прекрасных плодов, — это гораздо гуманнее.

1 - я дама. Вы правы! Какое у вас доброе сердце. Как поживают ваши милые канарейки?

1 - й придворный. Ах, одна из них, по имени Золотая Капелька, простудилась и кашляла так, что я едва сам не заболел от сострадания. Теперь ей лучше. Она даже пробует петь, но я не позволяю ей.

Входит Пьетро.

Пьетро. Здравствуйте! Вы что там едите, господа?

2 - й придворный. Мороженое, господин начальник королевской стражи.

Пьетро. Эй! Дай мне порцию. Живее, черт! Побольше клади, дьявол!

2 - й придворный. Вы так любите мороженое, господин начальник?

Пьетро. Ненавижу. Но раз дают, надо брать, будь оно проклято.

Мажордом. Булочки с розовым кремом! Кому угодно, господа придворные? (*Тихо лакеям.*) В первую очередь герцогам, потом графам, потом баронам. Герцогам по шесть булочек, графам по четыре, баронам по две, остальным — что останется. Не перепутайте.

Один из лакеев. А по сколько булочек давать новым королевским секретарям?

Мажордом. По шесть с половиной...

Входит Цезарь Борджиа.

Цезарь Борджиа. Здравствуйте, господа. Смотрите на меня. Ну? Что? Как вам нравится мой галстук,

господа? Это галстук более чем модный. Он войдет в моду только через две недели.

3 - й п р и д в о р н ы й. Но как вам удалось достать это произведение искусства?

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. О, очень просто. Мой поставщик галстуков — адмирал королевского флота. Он привозит мне галстуки из-за границы и выносит их на берег, запрятав в свою треуголку.

3 - й п р и д в о р н ы й. Как это гениально просто!

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Я вам, как королевский секретарь, устрою дюжину галстуков. Господа, я хочу порадовать вас. Хотите? Тогда идите за мной, я покажу вам мои апартаменты. Красное дерево, китайский фарфор. Хотите взглянуть?

П р и д в о р н ы е. Конечно! Мы умираем от нетерпения! Как вы любезны, господин королевский секретарь!

Цезарь Борджиа уходит, придворные за ним. Входит А н н у н ц и а т а, за ней Ю л и я Д ж у л и.

Ю л и я. Аннунциата! Вы сердитесь на меня? Не отрицайте! Теперь, когда вы дочь сановника, я совершенно ясно читаю на вашем лице — вы сердитесь на меня. Ведь так?

А н н у н ц и а т а. Ах, право, мне не до этого, сударыня.

Ю л и я. Вы все думаете о нем? Об ученом?

А н н у н ц и а т а. Да.

Ю л и я. Неужели вы думаете, что он может победить?

А н н у н ц и а т а. Мне все равно.

Ю л и я. Вы неправы. Вы девочка еще. Вы не знаете, что настоящий человек — это тот, кто побеждает... Ужасно только, что никогда не узнать наверняка, кто победит в конце концов. Христиан-Теодор такой странный! Вы знаете о нем что-нибудь?

А н н у н ц и а т а. Ах, это такое несчастье! Мы переехали во дворец, и папа приказал лакеям не выпускать меня. Я даже письма не могу послать господину ученому. А он думает, наверное, что и я отвернулась от него. Цезарь Борджиа каждый день уничтожает его в газете, папа читает и облизывается, а я читаю и чуть не плачу. Я сейчас в коридоре толкнула этого Цезаря Борджиа и даже не извинилась.

Ю л и я. Он этого не заметил, поверьте мне.

А н н у н ц и а т а. Может быть. Вы знаете что-нибудь о господине ученом, сударыня?

Ю л и я. Да. Знаю. Мои друзья министры рассказывают мне все. Христиан-Теодор очутился в полном одиночестве. И, несмотря на все это, он ходит и улыбается.

А н н у н ц и а т а. Ужасно!

Ю л и я. Конечно. Кто так ведет себя при таких тяжелых обстоятельствах? Это непонятно. Я устроила свою жизнь так легко, так изящно, а теперь вдруг — почти страдаю. Страдать — ведь это не принято! (*Хохочет громко и кокетливо.*)

А н н у н ц и а т а. Что с вами, сударыня?

Ю л и я. Придворные возвращаются сюда. Господин министр, вот вы наконец! Я, право, соскучилась без вас. Здравствуйте!

Лакеи вводят министра финансов.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Раз, два, три, четыре... Так. Все бриллианты на месте. Раз, два, три... И жемчуга. И рубины. Здравствуйте, Юлия! Куда же вы?..

Ю л и я. Ах, ваша близость слишком волнует меня... Свет может заметить...

М и н и с т р ф и н а н с о в. Но ведь отношения наши оформлены в приказе...

Ю л и я. Все равно... Я отойду. Это будет гораздо элегантнее. (*Отходит.*)

М и н и с т р ф и н а н с о в. Она настоящая богиня... Лакеи! Посадите меня у стены. Придайте мне позу полного удовлетворения происходящими событиями. Поживее!

Лакеи исполняют приказание.

Прочь!

Лакеи уходят. Первый министр, как бы гуляя, приближается к министру финансов.

(*Улыбаясь, тихо.*) Как дела, господин первый министр?

П е р в ы й м и н и с т р. Все как будто в порядке. (*Улыбается.*)

М и н и с т р ф и н а н с о в. Почему — как будто?

П е р в ы й м и н и с т р. За долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон. Как раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг поднимает голову.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Поднимает голову?.. Вы вызвали королевского палача?

П е р в ы й м и н и с т р. Да, он здесь. Улыбайтесь, за нами следят.

М и н и с т р ф и н а н с о в (*улыбается*). А топор и плаха?

Первый министр. Привезены. Плаха установлена в розовой гостиной, возле статуи купидона, и замаскирована незабудками.

Министр финансов. Что ученый может сделать?

Первый министр. Ничего. Он одинок и бессилён. Но эти честные, наивные люди иногда поступают так неожиданно!

Министр финансов. Почему его не казнили сразу?

Первый министр. Король против этого. Улыбайтесь! *(Отходит, улыбаясь.)*

Входит тайный советник.

Тайный советник. Господа придворные, поздравляю вас! Его величество со своею августейшею невестою направляют стопы свои в этот зал. Вот радость-то.

Все встают. Дверь настежь распахивается. Входят под руку Тень и принцесса.

Тень *(с изящным и величавым мановением руки)*. Садитесь!

Придворные *(хором)*. Не сядем.

Тень. Садитесь!

Придворные. Не смеем.

Тень. Садитесь.

Придворные. Ну, так уж и быть. *(Усаживаются.)*

Тень. Первый министр!

Первый министр. Я здесь, ваше величество!

Тень. Который час?

Первый министр. Без четверти двенадцать, ваше величество!

Тень. Можете идти.

Принцесса. Мы где, в каком зале?

Тень. В малом тронном, принцесса. Видите?

Принцесса. Я ничего не вижу, кроме тебя. Я не узнаю комнат, в которых выросла, людей, с которыми прожила столько лет. Мне хочется их всех выгнать вон и остаться с тобою.

Тень. Мне тоже.

Принцесса. Ты чем-то озабочен?

Тень. Да. Я обещал простить Христиана, если он сам придет сюда сегодня в полночь. Он неудачник, но я много лет был с ним дружен...

Принцесса. Как ты можешь думать о ком-нибудь, кроме меня? Ведь через час наша свадьба.

Т е н ь. Но познакомились мы благодаря Христиану! Принцесса. Ах, да. Какой ты хороший человек, Теодор! Да, мы простим его. Он неудачник, но ты много лет был с ним дружен.

Т е н ь. Тайный советник!

Т а й н ы й с о в е т н и к. Я здесь, ваше величество!

Т е н ь. Сейчас сюда придет человек, с которым я хочу говорить наедине.

Т а й н ы й с о в е т н и к. Слушаю-с, ваше величество! Господа придворные! Его величество изволил назначить в этом зале аудиенцию одному из своих подданных. Вот счастливец-то!

Придворные поднимаются и уходят с поклонами.

П р и н ц е с с а. Ты думаешь, он придет?

Т е н ь. А что же еще ему делать? (*Целует принцессе руку.*) Я позову тебя, как только утешу и успокою его.

П р и н ц е с с а. Я уйду, дорогой. Какой ты необыкновенный человек! (*Уходит вслед за придворными.*)

Тень открывает окно. Прислушивается. В комнате рядом бьют часы.

Т е н ь. Полночь. Сейчас он придет.

Далеко-далеко внизу кричит капрал.

К а п р а л. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

Т е н ь. Что такое? Кажется, я испугался...

К а п р а л. Христиан-Теодор! Христиан-Теодор!

Г о л о с у ч е н о г о. Я здесь.

К а п р а л. У вас есть письмо к королю?

У ч е н ы й. Вот оно.

К а п р а л. Следуйте за мной!

Т е н ь (*захлопывает окно, идет к трону, садится*). Я мог тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время, — способен он на такую гибкость? Я мог лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта коней не причиняли мне ни малейшего вреда, — а он мог бы так приспособиться к местности? За две недели я узнал жизнь в тысячу раз лучше, чем он. Неслышно, как тень, я проникал всюду и поглядывал, и подслушивал, и читал чужие письма. Я знаю всю теневую сторону вещей. И вот теперь я сижу на троне, а он лежит у моих ног.

Распахивается дверь, входит начальник стражи.

Пь е т р о. Письмо, ваше величество.

Т е н ь. Дай сюда. (*Читает.*) «Я пришел. Христиан-Теодор». Где он?

Пь е т р о. За дверью, ваше величество.

Т е н ь. Пусть войдет.

Начальник стражи уходит. Появляется ученый. Останавливается против трона.

Ну, как твои дела, Христиан-Теодор?

У ч е н ы й. Мои дела плохи, Теодор-Христиан.

Т е н ь. Чем же они плохи?

У ч е н ы й. Я очутился вдруг в полном одиночестве.

Т е н ь. А что же твои друзья?

У ч е н ы й. Им наклеветали на меня.

Т е н ь. А где же та девушка, которую ты любил?

У ч е н ы й. Она теперь твоя невеста.

Т е н ь. Кто же виноват во всем этом, Христиан-Теодор?

У ч е н ы й. Ты в этом виноват, Теодор-Христиан.

Т е н ь. Вот это настоящий разговор человека с тенью. Тайный советник!

Вбегает тайный советник.

Всех сюда! Поскорей!

Входит принцесса, садится с Тенью. Придворные входят и становятся полукругом. Среди них доктор.

Садитесь!

П р и д в о р н ы е. Не сядем!

Т е н ь. Садитесь!

П р и д в о р н ы е. Не смеем!

Т е н ь. Садитесь!

П р и д в о р н ы е. Ну, так уж и быть. (*Усаживаются.*)

Т е н ь. Господа, перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю жизнь он был неудачником. Наконец, на его счастье, я взошел на престол. Я назначаю его своей тенью. Поздравьте его, господа придворные!

Придворные встают и кланяются.

Я приравниваю его по рангу и почестям к королевским секретарям.

М а ж о р д о м (*громким шепотом*). Приготовьте ему шесть с половиной булочек!

**Тень.** Не смущайся, Христиан-Теодор! Если вначале тебе будет трудновато, я дам тебе несколько хороших уроков, вроде тех, что ты получил за эти дни. И ты скоро превратишься в настоящую тень, Христиан-Теодор. Займи свое место у наших ног.

**Первый министр.** Ваше величество, его назначение еще не оформлено. Разрешите, я прикажу начальнику стражи увести его до завтра.

**Тень.** Нет! Христиан-Теодор! Займи свое место у наших ног.

**Ученый.** Да ни за что! Господа! Слушайте так же серьезно, как я говорю! Вот настоящая тень. Моя тень! Тень захватила престол. Слышите?

**Первый министр.** Так я и знал. Государь!

**Тень (спокойно).** Первый министр, тише! Говори, неудачник! Я полюбуюсь на последнюю неудачу в твоей жизни.

**Ученый.** Принцесса, я никогда не отказывался от вас. Он обманул и запутал и вас и меня.

**Принцесса.** Не буду разговаривать!

**Ученый.** А ведь вы писали мне, что готовы уйти из дворца и уехать со мной, куда я захочу.

**Принцесса.** Не буду, не буду, не буду разговаривать!

**Ученый.** Но я пришел за вами, принцесса. Дайте мне руку — и бежим. Быть женой тени — это значит превратиться в безобразную, злую лягушку.

**Принцесса.** То, что вы говорите, неприятно. Зачем же мне слушать вас?

**Ученый.** Луиза!

**Принцесса.** Молчу!

**Ученый.** Господа!

**Тайный советник.** Советую вам не слушать его. Настоящие воспитанные люди просто не замечают поступков невоспитанных людей.

**Ученый.** Господа! Это жестокое существо погубит вас всех. Он у вершины власти, но он пуст. Он уже теперь томится и не знает, что ему делать. И он начнет мучить вас всех от тоски и безделья.

**1-й придворный.** Мой маленький жаворонок ест у меня из рук. А мой маленький скворец называет меня «папа».

**Ученый.** Юлия! Ведь мы так подружились с вами, вы ведь знаете, кто я. Скажите им.

**Министр финансов.** Юлия, я обожаю вас, но если вы позволите себе лишнее, я вас в порошок сотру.

**Ученый.** Юлия, скажите же им.

Ю л и я (*показывает на ученого*). Тень — это вы!

У ч е н ы й. Да неужели же я говорю в пустыне!

А н н у н ц и а т а. Нет, нет! Отец все время грозил, что убьет вас, поэтому я молчала. Господа, послушайте меня! (*Показывает на Тень.*) Вот тень! Честное слово!

Легкое движение среди придворных.

Я сама видела, как он ушел от господина ученого. Я не лгу. Весь город знает, что я честная девушка.

П ь е т р о. Она не может быть свидетельницей!

У ч е н ы й. Почему?

П ь е т р о. Она влюблена в вас.

У ч е н ы й. Это правда, Аннунциата?

А н н у н ц и а т а. Да, простите меня за это. И все-таки послушайте меня, господа.

У ч е н ы й. Довольно, Аннунциата. Спасибо. Эй, вы! Не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень! Знай свое место.

Тень встает с трудом, борясь с собой, подходит к ученому.

П е р в ы й м и н и с т р. Смотрите! Он повторяет все его движения. Караул!

У ч е н ы й. Тень! Это просто тень. Ты тень, Теодор-Христиан?

Т е н ь. Да, я тень, Христиан-Теодор! Не верьте! Это ложь! Я прикажу казнить тебя!

У ч е н ы й. Не посмеешь, Теодор-Христиан!

Т е н ь (*падает*). Не посмею, Христиан-Теодор!

П е р в ы й м и н и с т р. Довольно! Мне все ясно! Этот ученый — сумасшедший! И болезнь его заразительна. Государь заболел, но он поправится. Лакеи, унести государя.

Лакеи выполняют приказ. Принцесса бежит за ними.

Стража!

Входит капрал с отрядом солдат.

Взять его!

Ученого окружают.

Доктор!

Из толпы придворных выходит доктор. Министр показывает на ученого.

Это помешанный?

Д о к т о р (*машет рукой*). Я давно говорил ему, что это безумие.

П е р в ы й м и н и с т р. Безумие его заразительно?

Д о к т о р. Да. Я сам едва не заразился этим безумием.

П е р в ы й м и н и с т р. Излечимо оно?

Д о к т о р. Нет.

П е р в ы й м и н и с т р. Значит, надо отрубить ему голову.

Т а й н ы й с о в е т н и к. Позвольте, господин первый министр, ведь я, как церемониймейстер, отвечаю за праздник.

П е р в ы й м и н и с т р. Ну, ну!

Т а й н ы й с о в е т н и к. Было бы грубо, было бы негуманно рубить голову бедному безумцу. Против казни я протестую, но маленькую медицинскую операцию над головой бедняги необходимо произвести немедленно. Медицинская операция не омрачит праздника.

П е р в ы й м и н и с т р. Прекрасно сказано.

Т а й н ы й с о в е т н и к. Наш уважаемый доктор, как известно, терапевт, а не хирург. Поэтому в данном случае, чтобы ампутировать больной орган, я советую воспользоваться услугами господина королевского палача.

П е р в ы й м и н и с т р. Господин королевский палач!

1 - й п р и д в о р н ы й. Сию минуту. (*Встает. Говорит своей собеседнице, надевая белые перчатки.*) Прошу простить меня. Я скоро вернусь и расскажу вам, как я спас жизнь моим бедным кроликам. (*Первому министру.*) Я готов.

А н н у н ц и а т а. Дайте же мне проститься с ним! Прощай, Христиан-Теодор!

У ч е н ы й. Прощай, Аннунциата!

А н н у н ц и а т а. Тебе страшно, Христиан-Теодор?

У ч е н ы й. Да. Но я не прошу пощады. Я...

П е р в ы й м и н и с т р. Барабаны!

П ь е т р о. Барабаны!

Барабанщик бьет в барабан.

П е р в ы й м и н и с т р. Шагом марш!

П ь е т р о. Шагом марш!

К а п р а л. Шагом марш!

Караул уходит и уводит ученого. Палач идет следом.

П е р в ы й м и н и с т р. Господа, прошу вас на балкон — посмотреть фейерверк. А здесь тем временем готовят прохладительные и успокоительные напитки.

Все встают, двигаются к выходу. На сцене остаются Аннунциата и Юлия.

Ю л и я. Аннунциата, я не могла поступить иначе. Простите.

А н н у н ц и а т а. Он совершенно здоров — и вдруг должен умереть!

Ю л и я. Мне это тоже ужасно, ужасно неприятно, поверьте мне. Но какой негодяй этот доктор! Так предать своего хорошего знакомого!

А н н у н ц и а т а. А вы?

Ю л и я. Разве можно сравнивать! Этот ничтожный доктор ничего не терял. А я так люблю сцену. Вы плачете?

А н н у н ц и а т а. Нет. Я буду плакать у себя в комнате.

Ю л и я. Надо учиться выбрасывать из головы все, что заставляет страдать. Легкое движение головой — и все. Вот так. Попробуйте.

А н н у н ц и а т а. Не хочу.

Ю л и я. Напрасно. Не отворачивайтесь от меня. Клянусь вам, я готова убить себя, так мне жалко его. Но это между нами.

А н н у н ц и а т а. Он еще жив?

Ю л и я. Конечно, конечно! Когда все будет кончено, они ударят в барабаны.

А н н у н ц и а т а. Я не верю, что ничего нельзя сделать. Умоляю вас, Юлия, давайте остановим все это. Надо идти туда... Скорей!

Ю л и я. Тише!

Быстро входит доктор.

Д о к т о р. Вина!

М а ж о р д о м. Вина доктору!

Ю л и я. Аннунциата, если вы мне дадите слово, что будете молчать, то я попробую помочь вам...

А н н у н ц и а т а. Никому не скажу! Честное слово! Только скорее!

Ю л и я. Вовсе не надо спешить. Мое средство может помочь, только когда все будет кончено. Молчите. Слушайте внимательно. (*Подходит к доктору.*) Доктор!

Д о к т о р. Да, Юлия.

Ю л и я. А ведь я знаю, о чем вы думаете.

Д о к т о р. О вине.

Ю л и я. Нет, о воде...

Д о к т о р. Мне не до шуток сейчас, Юлия.

Ю л и я. Вы знаете, что я не шучу.

Доктор. Дайте мне хоть на миг успокоиться.

Юлия. К сожалению, это невозможно. Сейчас одному нашему общему знакомому... ну, словом, вы понимаете меня.

Доктор. Что я могу сделать?

Юлия. А вода?

Доктор. Какая?

Юлия. Вспомните время, когда мы были так дружны... Однажды светила луна, сияли звезды, и вы рассказали мне, что открыли живую воду, которая излечивает все болезни и даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди.

Аннунциата. Доктор, это правда? Есть такая вода?

Доктор. Юлия шутит, как всегда.

Аннунциата. Вы лжете, я вижу. Я сейчас убью вас!

Доктор. Я буду этому очень рад.

Аннунциата. Доктор, вы проснетесь завтра, а он никогда не проснется. Он называл вас: друг, товарищ!

Доктор. Глупая, несчастная девочка! Что я могу сделать? Вся вода у них за семью дверями, за семью замками, а ключи у министра финансов.

Юлия. Не верю, что вы не оставили себе бутылочку на черный день.

Доктор. Нет, Юлия! Уж настолько-то я честен. Я не оставил ни капли себе, раз не могу лечить всех.

Юлия. Ничтожный человек.

Доктор. Ведь министр любит вас, попросите у него ключи, Юлия!

Юлия. Я? Эгоист! Он хочет все свалить на меня.

Аннунциата. Сударыня!

Юлия. Ни слова больше! Я сделала все, что могла.

Аннунциата. Доктор!

Доктор. Что я могу сделать?

Мажордом. Его величество!

Зал наполняется придворными. Медленно входят Тень и принцесса. Они садятся на трон. Первый министр подает знак мажордому.

Сейчас солистка его величества, находящаяся под покровительством его высокопревосходительства господина министра финансов, госпожа Юлия Джули исполнит прохладительную и успокоительную песенку «Не стоит голову терять».

Тень. Не стоит голову терять... Прекрасно!

Юлия (*делает глубокий реверанс королю. Кланяется придворным. Поет*).

Жила на свете стрекоза,  
Она была кокетка.  
Ее прелестные глаза  
Губили мух нередко.  
Она любила повторять:  
— Не стоит голову терять...

Гром барабанов обрывает песенку.

**Т е н ь** (*вскакивает, шатаясь*). Воды!

Мажордом бросается к Тени и останавливается пораженный. Голова Тени вдруг слетает с плеч. Обезглавленная тень неподвижно сидит на троне.

**А н н у н ц и а т а**. Смотрите!

**М и н и с т р ф и н а н с о в**. Почему это?

**П е р в ы й м и н и с т р**. Боже мой! Не рассчитали. Ведь это же его собственная тень. Господа, вы на рауте в королевском дворце. Вам должно быть весело, весело во что бы то ни стало!

**П р и н ц е с с а** (*подбегает к министрам*). Сейчас же! Сейчас же! Сейчас же!

**П е р в ы й м и н и с т р**. Что, ваше высочество?

**П р и н ц е с с а**. Сейчас же исправить его! Я не хочу! Не хочу! Не хочу!

**П е р в ы й м и н и с т р**. Принцесса, умоляю вас, перестаньте.

**П р и н ц е с с а**. А что сказали бы вы, если бы жених ваш потерял голову?

**Т а й н ы й с о в е т н и к**. Это он от любви, принцесса.

**П р и н ц е с с а**. Если вы не исправите его, я прикажу сейчас же вас обезглавить. У всех принцесс на свете целые мужья, а у меня вон что! Свинство какое!..

**П е р в ы й м и н и с т р**. Живую воду, живо, живо, живо!

**М и н и с т р ф и н а н с о в**. Кому? Этому? Но она воскрешает только хороших людей.

**П е р в ы й м и н и с т р**. Придется воскресить хорошего. Ах, как не хочется.

**М и н и с т р ф и н а н с о в**. Другого выхода нет. Доктор! Следуйте за мной. Лакеи! Ведите меня. (*Уходит.*)

**П е р в ы й м и н и с т р**. Успокойтесь, принцесса, все будет сделано.

1 - й придворный входит, снимает на ходу перчатки. Заметив обезглавленного короля, он замирает на месте.

1 - й п р и д в о р н ы й. Позвольте... А это кто сделал? Довольно уйти на полчаса из комнаты — и у тебя перебивают работу... Интриганы!

Распахивается дверь, и через сцену проходит целое шествие. Впереди лакеи ведут министра финансов. За ним четыре солдата несут большую бочку. Бочка светится сама собою. Из щелей вырываются языки пламени. На паркет капают светящиеся капли. За бочкой шагает доктор. Шествие проходит через сцену и скрывается.

Ю л и я. Аннунциата, вы были правы.

А н н у н ц и а т а. В чем?

Ю л и я. Он победит! Сейчас он победит. Они понесли живую воду. Она воскресит его.

А н н у н ц и а т а. Зачем им воскрешать хорошего человека?

Ю л и я. Чтобы плохой мог жить. Вы счастливица, Аннунциата.

А н н у н ц и а т а. Не верю, что-нибудь еще случится, ведь мы во дворце.

Ю л и я. Ах, я боюсь, что больше ничего не случится. Неужели войдет в моду — быть хорошим человеком? Ведь это так хлопотливо!

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Господин начальник королевской стражи!

П ь е т р о. Что еще?

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Придворные что-то косятся на нас. Не удрать ли?

П ь е т р о. А черт его знает. Еще поймают!

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Мы связались с неудачником.

П ь е т р о. Никогда ему не прощу, будь я проклят.

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Потерять голову в такой важный момент!

П ь е т р о. Болван! И еще при всех! Пошел бы к себе в кабинет и там терял бы что угодно, скотина!

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Бестактное существо.

П ь е т р о. Осел!

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Нет, надо будет его съесть. Надо, надо.

П ь е т р о. Да уж, придется.

Гром барабанов. На плечах Тени внезапно появляется голова.

Ц е з а р ь Б о р д ж и а. Поздравляю, ваше величество!

П ь е т р о. Ура, ваше величество!

М а ж о р д о м. Воды, ваше величество!

Т е н ь. Почему так пусто в зале? Где все? Луиза?

Вбегает п р и н ц е с с а. За нею придворные.

П р и н ц е с с а. Как тебе идет голова, милый!

Т е н ь. Луиза, где он?

П р и н ц е с с а. Не знаю. Как ты себя чувствуешь, дорогой?

Т е н ь. Мне больно глотать.

П р и н ц е с с а. Я сделаю тебе компресс на ночь.

Т е н ь. Спасибо. Но где же он? Зовите его сюда.

Вбегают п е р в ы й м и н и с т р и м и н и с т р ф и н а н с о в.

П е р в ы й м и н и с т р. Отлично. Все на месте.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Никаких перемен!

П е р в ы й м и н и с т р. Ваше величество, сделайте милость, кивните головой.

Т е н ь. Где он?

П е р в ы й м и н и с т р. Прекрасно! Голова работает! Ура! Все в порядке.

Т е н ь. Я вас спрашиваю: где он?

П е р в ы й м и н и с т р. А я отвечаю: все в порядке, ваше величество. Сейчас он будет заключен в темницу.

Т е н ь. Да вы с ума сошли! Как вы посмели даже подумать об этом! Почетный караул!

П ь е т р о. Почетный караул!

Т е н ь. Идите, просите, умоляйте его прийти сюда.

П ь е т р о. Просить и умолять его — шагом марш!

Уходит с караулом.

П р и н ц е с с а. Зачем вы зовете его, Теодор-Христиан?

Т е н ь. Я хочу жить.

П р и н ц е с с а. Но вы говорили, что он неудачник.

Т е н ь. Все это так, но я жить без него не могу!

Вбегает д о к т о р.

Д о к т о р. Он поправился. Слышите вы все: он поступал как безумец, шел прямо, не сворачивая, он был казнен — и вот он жив, как никто из вас.

М а ж о р д о м. Его светлость господин ученый.

Входит у ч е н ы й. Тень вскакивает и протягивает ему руки. Ученый не обращает на него внимания.

Ученый. Аннунциата!

Аннунциата. Я здесь.

Ученый. Аннунциата, они не дали мне договорить. Да, Аннунциата. Мне страшно было умирать. Ведь я так молод!

Тень. Христиан!

Ученый. Замолчи. Но я пошел на смерть.

Аннунциата. Ведь, чтобы победить, надо идти и на смерть. И вот — я победил. Идемте отсюда, Аннунциата.

Тень. Нет! Остайся со мной, Христиан. Живи во дворце. Ни один волос не упадет с твоей головы. Хочешь, я назначу тебя первым министром?

Первый министр. Но почему же именно первым? Вот министр финансов нездоров.

Министр финансов. Я нездоров? Смотрите. *(Легко прыгает по залу.)*

Первый министр. Поправился!

Министр финансов. У нас, у деловых людей, в минуту настоящей опасности на ногах вырастают крылья.

Тень. Хочешь — я прогоню их всех, Христиан? Я дам управлять тебе — в разумных, конечно, пределах. Я помогу тебе некоторое количество людей сделать счастливыми. Ты не хочешь мне отвечать? Луиза! Прикажи ему.

Принцесса. Замолчи ты, трус! Что вы наделали, господа? Раз в жизни встретила я хорошего человека, а вы набросились на него, как псы. Прочь, уйди отсюда, тень!

Тень медленно спускается с трона, прижимается к стене, закутавшись в мантию.

Можете стоять в любой самой жалкой позе. Меня вы не разжалобите. Господа! Он не жених мне больше. Я найду себе нового жениха.

Тайный советник. Вот радость-то!

Принцесса. Я все поняла, Христиан, милый. Эй! Начальник стражи, взять его! *(Указывает на Тень.)*

Петро. Пожалуйста. Взять его! *(Идет к Тени.)*

Первый министр. Я помогу вам.

Министр финансов. И я, и я.

Цезарь Борджиа. Долой тень!

Хватают Тень, но Тени нет, пустая мантия повисает на их руках.

Принцесса. Он убежал...

Ученый. Он скрылся, чтобы еще раз и еще раз стать

у меня на дороге. Но я узнаю его, я всюду узнаю его. Аннунциата, дайте мне руку, идемте отсюда.

**Аннунциата.** Как ты себя чувствуешь, Христиан-Теодор, милый?

**Ученый.** Мне больно глотать. Прощайте, господа!

**Принцесса.** Христиан-Теодор, простите меня, ведь я ошиблась всего один раз. Ну, я наказана уж — и будет. Остаься или возьми меня с собой. Я буду вести себя очень хорошо. Вот увидишь.

**Ученый.** Нет, принцесса.

**Принцесса.** Не уходи. Какая я несчастная девушка! Господа, просите его.

**Придворные.** Ну куда же вы?

— Остаьтесь...

— Посидите, пожалуйста...

— Куда вам так спешить? Еще детское время.

**Ученый.** Простите, господа, но я так занят. *(Идет с Аннунциатой, взяв ее за руку.)*

**Принцесса.** Христиан-Теодор! На улице идет дождь. Темно. А во дворце тепло, уютно. Я прикажу затопить все печки. Остаься.

**Ученый.** Нет. Мы оденемся потеплее и уедем. Не задерживайте нас, господа.

**Цезарь Борджиа.** Пропустите, пропустите! Вот ваши галоши, господин профессор!

**Пьетро.** Вот плащ. *(Аннунциате.)* Похлопочи за отца, чудовище!

**Капрал.** Карета у ворот.

**Ученый.** Аннунциата, в путь!

Занавес.



## С о д е р ж а н и е



<b>А. Н. Афанасьев.</b> СКАЗКИ ИЗ СБОРНИКА «РУССКИЕ ЗАВЕТНЫЕ СКАЗКИ» И РУКОПИСИ «НАРОДНЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ» . . . . .	3
<b>А. С. Пушкин.</b> ЦАРЬ НИКИТА И СОРОК ЕГО ДОЧЕРЕЙ . . . . .	43
<b>М. Ю. Лермонтов.</b> СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ . . . . .	51
<b>Н. С. Лесков.</b> ЛЕВША . . . . .	61
<b>М. Е. Салтыков-Щедрин.</b> МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ . . . . .	93
ОБМАНЩИК-ГАЗЕТЧИК И ЛЕГКОВЕРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ . . . . .	104
БАРАН-НЕПОМНЯЩИЙ . . . . .	107
<b>П. П. Бажов.</b> ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ . . . . .	113
ДЕМИДОВСКИЕ КАФТАНЫ . . . . .	132
<b>А. М. Горький.</b> РУССКИЕ СКАЗКИ . . . . .	139
<b>Саша Черный.</b> СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ . . . . .	191
<b>А. П. Платонов.</b> ИВАН-ЧУДО . . . . .	267
БЕЗРУЧКА . . . . .	282
ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ . . . . .	292
<b>Е. И. Замятин.</b> СКАЗКИ . . . . .	307
<b>А. М. Светлов.</b> ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ . . . . .	345
<b>Е. Л. Шварц.</b> ТЕНЬ. Сказка в 3-х действиях . . . . .	361

Литературно-художественное издание

**СКАЗКИ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

*I том*

*(Великие сказочники мира)*

**Составитель А. Старовойтов**

**Редактор О. Ханжина**

**Художник Е. Шелонников**

**Художественный редактор В. Остапенко**

**Технический редактор Г. Пантелеева**

**Корректор И. Тетерина**



Сдано в набор 18.09.91. Подписано в печать 15.01.92.  
Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. офсетная. Гарнитура № 1. Печать  
офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 47,7. Уч.-изд. л.  
25,731. Тираж 100 000 экз. Заказ № 6142. Сб.

Издательство «КАПИК». 614000, г. Пермь, ул. 9-го Мая, 21 а.  
Ордена Трудового Красного Знамени типография  
издательства «Звезда». 614600, г. Пермь, ГСП-131,  
ул. Дружбы, 34.

**С 421 Сказки для взрослых. I том. /Сост.  
А. Старовойтов. Оформл. Е. Шелонникова. —  
Пермь: Издательство «КАПИК», 1992. — 432 с.  
(Великие сказочники мира.)**



